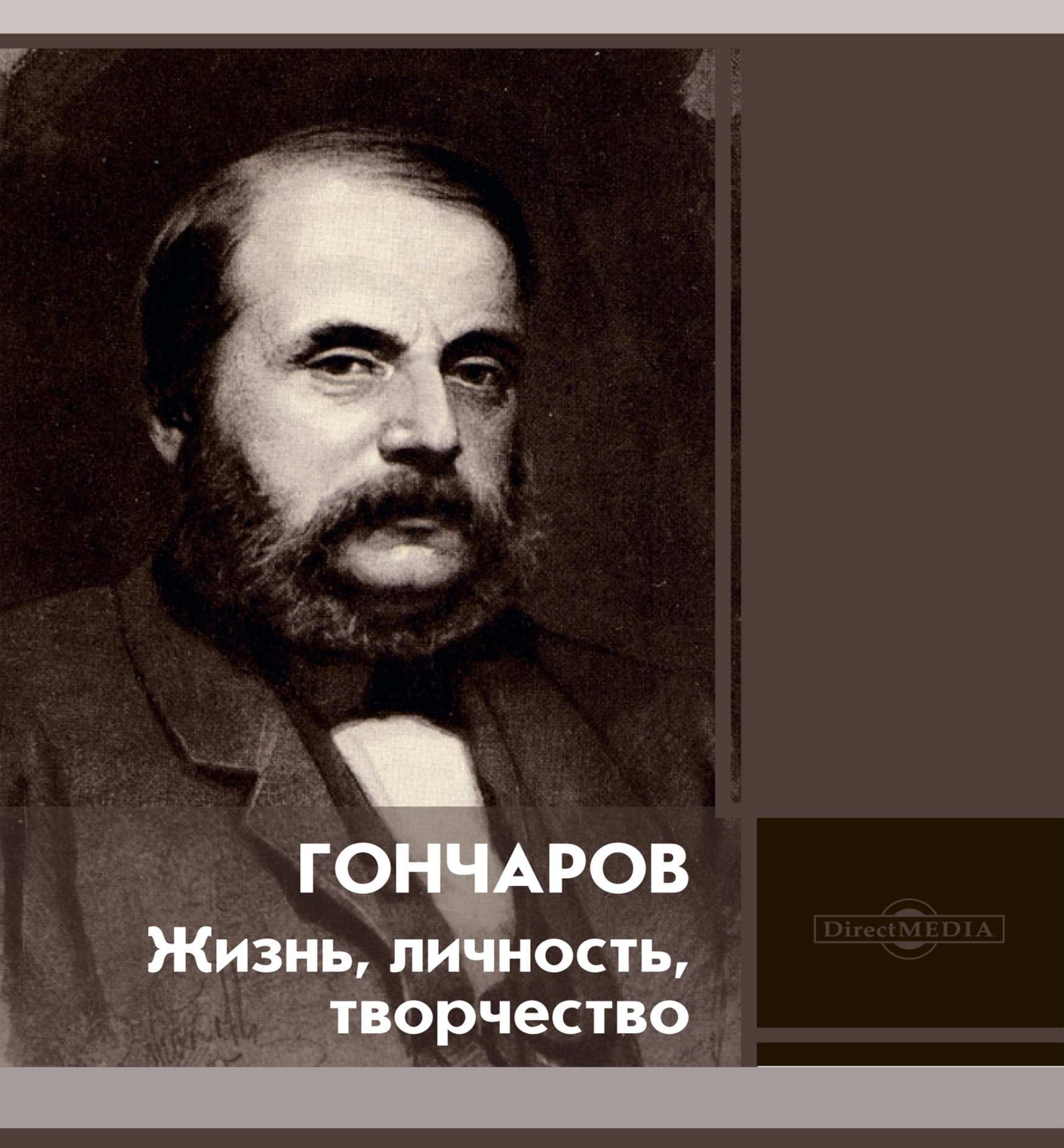
МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Е. А. ЛЯЦКИЙ



ГОНЧАРОВ

Жизнь, личность, творчество

Е. А. *Ляцкий*

Гончаров

Жизнь, личность, творчество



Москва
Берлин
2020

УДК 821.161.1.091
ББК 83.3(2=411.2)52-8
Л98

Ляцкий, Е. А.
Л98 Гончаров. Жизнь, личность, творчество / Е. А. Ляцкий. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 440 с.

ISBN 978-5-4499-0664-9

В конце 1890-х годов автор ряда научных этнографических работ Евгений Александрович Ляцкий (1868–1942 гг.) обрел широкую известность как литературный критик. Его статьи печатались во многих периодических изданиях. Так, в начале 1900-х годов в «Вестнике Европы» вышла большая статья о русском писателе Иване Александровиче Гончарове. Она стала точкой отсчета для последующих книг Ляцкого о творчестве И. А. Гончарова.

Вниманию читателей представлено третье издание книги критико-биографических очерков, посвященных жизни и творчеству автора знаменитого романа «Обломов». Свое внимание Е. А. Ляцкий акцентирует на роли личного элемента в произведениях Гончарова и преобладании субъективного элемента в творчестве писателя.

УДК 821.161.1.091
ББК 83.3(2=411.2)52-8

ISBN 978-5-4499-0664-9

Предисловие к третьему изданию

При настоящем издании мне приходится отчасти повторить то же, что было сказано мной при втором издании моей книги.

За последние восемь лет литература о Гончарове значительно развилась и еще более раздвинула рамки биографического и историко-литературного изучения Гончарова. Предпринятая мною несколько лет назад попытка проследить активную роль личного элемента в произведениях художника, объективность которого считалась бесспорным и типичнейшим признаком его творчества, к настоящему времени получила блестящий материал для своего обоснования. В целом ряде опубликованных семейных документов, в характеристиках родных, в воспоминаниях о Гончарове лиц, близко знавших писателя в разные годы его жизни, раскрылась сложная картина общественных взаимоотношений и моральных условий, среди которых развивался и жил писатель. Новые данные пролили яркий свет на поставленную тему о таком преобладании субъективного элемента в творчестве Гончарова, при котором признание его исключительно объективным художником теряло под собой почву; в зависимости от этого явилась возможность придать характер доказанных, до очевидности ясных положений многим соображениям, не выходившим, при прежней скудости материала, из пределов гипотез.

Научная литература направилась прежде всего на изучение биографической стороны Гончарова по фактическим и документальным данным. Был опубликован обширный ряд материалов, устанавливающих точные хронологические данные и большое количество важных и второстепенных фактов из жизни писателя, прежде совершенно неизвестных. В этом отношении неоценимые услуги оказал русскому обществу А. А. Мазон, осветивший в своих любопытных статьях

многие фактические стороны жизни писателя и переработавший их затем в известное исследование, о котором я счел полезным дать общее понятие в конце книги на основании моей рецензии, напечатанной в свое время в «Известиях Имп. Академии Наук». После выхода книги Мазона, в мое распоряжение поступило новое собрание рукописей и писем Гончарова. Результаты моего изучения их сведены в особое исследование, первый том которого уже готов для печати. Это исследование является в свою очередь опытом научной биографии Гончарова.

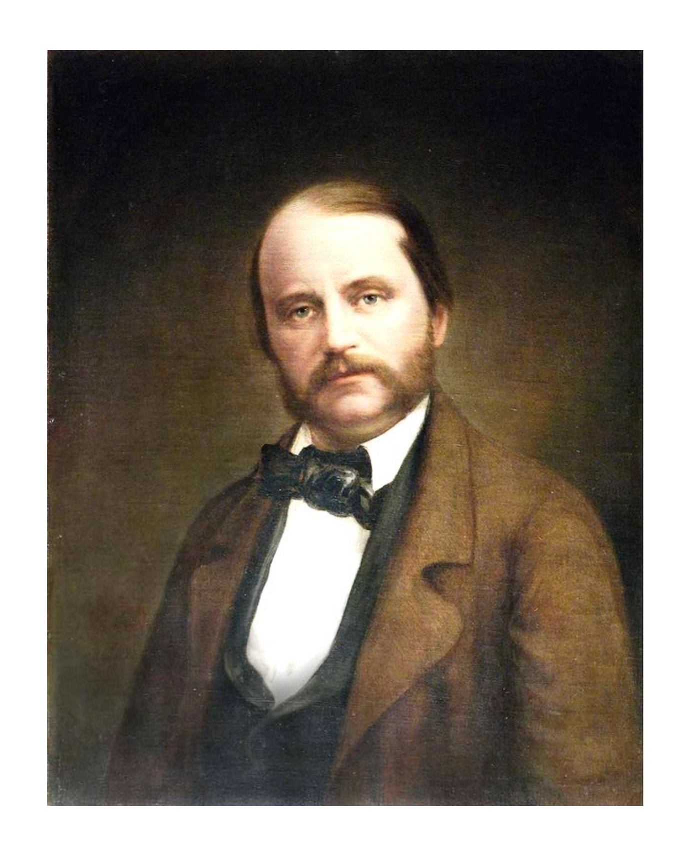
Но мои критико-биографические очерки, второе издание которых вышло в 1912 г., выдвинули целый ряд вопросов, еще далеко не нашедших себе разрешения в научной литературе. Была принята моя основная точка зрения на «субъективность» гончаровского таланта, но точные границы между «субъективным» и «объективным» не пошли далее тех определений, которые были даны мною. Критика, в принципе соглашаясь и развивая мою точку зрения, указывала на необходимость психологической и философской разработки этого, независимо от всего, глубоко интересного вопроса. Однако, новых работ в этом направлении не появилось, в мою же задачу подобная разработка входить не могла. Не вызвало работ и намеченное мною психологическое изучение творческой интуиции Гончарова в связи с фактами его реальных переживаний. Не получил дальнейшего развития и сделанный мною подбор внешних биографических данных, отражение которых в творчестве не подлежало сомнению. По всем этим соображениям я счел полезным ответить на запросы, с которыми обращались ко мне и некоторые исследователи и, в особенности, молодые читатели, изданием настоящей книги.

Лишенный возможности пользоваться необходимыми справками, я не прилагаю здесь подробной библиографии Гончарова. Такую библиографию я надеюсь приложить к моей другой, упомянутой выше книге.

Приношу мою искреннюю признательность В. А. Майкову за разрешение напечатать текст «Счастливой ошибки» из принадлежащего ему альбома «Лунные Ночи» (1839 г.). Несомненно, русские читатели и исследователи прочтут с глубоким интересом наиболее раннее произведение Гончарова, где автор впервые обнаружил отличительные особенности своего дарования, уже тогда обращенного на художественную характеристику «обыкновенных историй» русской жизни.

Считаю своим долгом также выразить глубокую благодарность А. В. Белобородовой, оказавшей мне свою помощь при печатании как второго, так и настоящего издания моих «очерков».

Стокгольм. Май, 1920.



И. А. Гончаров
(С портрета, принадлежащего семье Майковых)

I

Общие замечания. — Постановка вопроса о Гончарове. — Романы Гончарова, как отражение единой исторической эпохи русской жизни.

Есть писатели, творческий облик которых определяется уже в первых произведениях, в самом начале их литературного поприща. По мере той смелости, с какой их мысль идет в глубь изображаемого явления, по характеру и степени законченности художнического штриха, критика может или сразу указать место писателя в современном течении литературы и этим заранее определить его историческое значение, или же отметить признаки богатых залежей творческих сил в его душе и открыть широкий горизонт надеждам на будущее. И в том, и в другом случае писатель не оставляет обыкновенно сомнений в направлении своего пути; если не ясна конечная черта, за которую он не перешагнет, то в общем может быть намечен жизненный кругозор, какой откроет ему высшая точка его творческого подъема, — она же вместе с тем определит и угол зрения художника на явления жизни.

Но есть писатели и другого рода. При своем появлении на литературном поприще, они, бессознательно и невольно, вводят в заблуждение современную им критику, представители которой попадают в положение людей, рассуждающих о громадной картине, стоя вблизи ее, — только особенно чуткий и талантливый критик может душой угадать то, чего не увидит глазом. Но для цельности, а главное — правдивости впечатления нужно отойти подальше. Резкость в очертаниях смягчится сама собою, режущая глаз яркость красок побледнеет, пятна исчезнут, а вместо них мягко выступят неожиданные тоны и полутоны, просветы и полутени, откроется перспективная даль, и картина выступит в полной красоте,

отражая действительность во всю широту художественного замысла. Так и для суждения о широких эпохах и исторических деятелях необходимо известное отдаление, чтобы дать возможность всему суетно-преходящему, личному и мелкому отойти в вечность и вечному заявить свои права...

При мысли о том замечательном периоде в истории нашей общественности, когда совершался сложный и болезненный процесс перехода в новые условия жизни после отмены крепостного права, на память невольно приходит несколько поистине великих деятелей и борцов мысли. Нужно ли называть и можно ли перечислить всех, кто отдал силы своего ума и таланта освободительным идеалам, служение которым было для них не только делом гражданского подвига, но единственным и непреложным условием жизни на родине, без сделки с совестью и честью? Их общий подвиг органически вошел в сознание образованнейшей части русского общества, считающейся с заветами исторического развития, не только как с безжизненной схемой преемственности явлений, но и с тем, чтобы подготовить возможное торжество завтрашнему дню. В этом — залог надежды на лучшее будущее и источник веры.

Но художественная летопись эпохи 50-х и 60-х гг. была бы неполна, если бы за именами Чернышевского, Герцена, Некрасова, Добролюбова, Салтыкова, Тургенева не стояло еще одно имя — имя Ивана Александровича Гончарова. Он с полным правом может занять место с ними в пантеоне русской мысли — не только по качеству таланта, но и по самому существу своих произведений, по характеру изображения и их внутреннему смыслу. Именно его сочинения таковы, что от них нужно отойти на некоторое расстояние, чтобы разглядеть все особенности изображаемых в них широких картин, притом с наиболее положительной и выгодной для них стороны.

Для этой цели Гончарова нужно было забыть... и потом снова вспомнить, чтобы непредубежденным глазом всмотреться в черты его творческого облика и представить его в натуральную величину...

Нам хотелось бы дать общую историко-литературную оценку творчества Гончарова, в связи с теми условиями, среди которых оно развилось и приобрело общественное значение. Многое в этом направлении уже подготовлено, иное намечено, и пересмотр сделанного по изучению Гончарова сам по себе представляет весьма достаточный повод к научному исследованию, тем более интересному, что оно далеко выходит за пределы только литературных фактов, ставя исследователя в непосредственную связь с самоважнейшими вопросами общественного свойства. Считается неизменно установленным фактом, что картины Гончарова чрезвычайно широки по захвату жизненных явлений, но размеры их содержания далеко еще не выяснены. Сам автор видел в своих романах отражение трех эпох русской жизни, из которых первая знаменовала собою Русь дремлющую, вторая — готовую проснуться, третья — пробужденную и потягивающуюся от сна. Но краями своими они заходят одна за другую, — и не правильнее ли слить их в одну общую картину, увековечившую один из любопытнейших моментов истории нашего общества, момент его перегорания и обновления? Тогда развернется грандиозное полотно, потянется бесконечная вереница типов и фигур, пестрая смесь меланхолических Обломовых, растерянных Райских, аккуратных Штольцев, сановных Адуевых, хищников темного царства, коптителей неба, домовитых бабушек, Марфинек и Наденек, Захаров и Егорок, вечных Антон Иванычей и мелькающих Волоховых ... Все они равно озарены лучами гончаровского гения. Но скоро зоркий глаз Тургенева выделит из толпы всех «лишних» и «новых» людей, одних задавленных, других объявивших

непримиримую борьбу всероссийской рутине и косности, и скажет свое «новое» слово, которое подхватят тысячи радостных голосов... Необходимость параллельного изучения Гончарова, с одной стороны, и Тургенева, Островского, Писемского — с другой, вытекает сама собой для мало-мальски полного художественного освещения эпохи.

Но предварительно вопрос о Гончарове предстоит решить особо. Что он представляет собою, как художник и человек своего времени, как оба они отразились в его творчестве, благодаря которому за Гончаровым записана великая заслуга в истории нашей литературы? Эта заслуга осознана уже давно; она создалась на основании целого ряда суждений, принадлежавших людям самых разнообразных взглядов и убеждений. Многие из них знали писателя при жизни, и это обстоятельство придает их впечатлениям особую, если можно так выразиться — непосредственно-жизненную колоритность. Но, ставя суждения предшествовавших нам критиков и публицистов исходной точкой нашего изложения, мы будем интересоваться в них лишь основными взглядами на сущность гончаровского творчества, — независимо от того угла зрения, которым обусловливалась принадлежность писавшего к тому или другому направлению.

II

Отзывы критики. — Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Дружинин. — Их оценка деятельности Гончарова и определение основной черты его таланта.

Критическая литература о Гончарове долгое время была очень скудна. Но ее приходится начинать славным именем доброго гения нашей литературы — Белинского, и крайне любопытно отметить здесь же для характеристики Гончарова, в каком направлении совершилось влияние знаменитого

критика на автора «Обыкновенной истории», и никто не сказал об этом влиянии лучше, чем сам Гончаров.

Гончаров познакомился с Белинским в половине сороковых годов (1846); знакомство это продолжалось, с различными оттенками во взаимных отношениях, до последних дней Белинского. С теплым чувством воспоминал Гончаров время своих встреч с Белинским. Тогда Белинский был уже исстрадавшимся и усталым человеком, который «истощился» на Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского. С юношеской восторженностью встретил Белинский «Обыкновенную историю», и широко распахнул перед ее автором заповедную дверь в мир литературной известности. В лице Белинского он приобрел горячего поклонника своему таланту, но сам не подчинился идейным увлечениям людей, группировавшихся вокруг знаменитого критика. По своему темпераменту Гончаров был не из увлекающихся, и менее всего можно было бы ожидать от него увлечения социалистическими идеями в духе Луи Блана и Ледрю Роллена, имена которых возбуждали страстную тревогу в умах, жадно следивших за бурными европейскими событиями конца 40-х годов. Не подошел Гончаров к кружку и в более смягченной сфере идейного общения, создававшегося вокруг имени Жорж Занд и сочувствовавшего тому страстному волнению общественной мысли, которое характеризовало Белинского и его друзей в те годы. Для всего этого Гончаров был слишком трезвой и спокойной натурой. Но влияние Белинского на общие представления Гончарова об искусстве, о роли литературы в общественном развитии, о критике не подлежит сомнению. Оно сказалось в романах в тех местах, где заходит речь о том, чем должна быть литература и как искусство, и как орудие общественного прогресса. Признаки влияния Белинского можно усматривать и в характеристике одного из второстепенных лиц «Обрыва» — художника Кириллова, и в либе-

ральных речах Райского, и в неожиданной горячей беседе Обломова с Пенкиным. До Белинского Гончаров едва ли вложил бы в уста Обломова эти для его времени замечательные слова: «Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову»... Литературные суждения подобного рода не явились случайно, как бы навеянные извне, они были восприняты Гончаровым при самом начале его сознательной творческой деятельности, совпавшей с расцветом ранней эстетической теории Белинского. Эти идеи прочно вошли в умственную природу Гончарова, словно вросли в него, и он остался им верен на всю последующую жизнь. Они одни и те же и в «Обыкновенной истории», и в сценах писательства Александра Адуева, и в художественных вспышках Обломова, и в порывах Райского, — такими же остаются они и в «Литературном вечере» и в «Миллионе терзаний». Они проходят через всю историю творчества Гончарова, где он остается верен основному принципу отыскивать в человеке, прежде всего, человека, а уже потом изображать его, как общественное явление.

И вот сложившимся, уже прошедшим долгий искус уединенной творческой работы, явился Гончаров к Белинскому с «Обыкновенной историей». Белинский с первого же взгляда распознал в нем крупную художественную силу, родственную талантам Гоголя и Пушкина, и тогда же предсказал блестящий литературный успех. В отзыве его было высказано много похвал писателю, который один в современной ему литературной среде «приближался к идеалу чистого искусства», но в то же время критик досадовал, что Гончаров — «поэт, художник и больше ничего... у него нет ни

любви, ни ненависти к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю...» — «А это и хорошо, — сказал он однажды с какою-то «доброю злостью», — это и нужно, это признак художника». «Критик как будто боялся, — рассказывает Гончаров, — что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю».

«Все нынешние писатели, — говорил Белинский в той же статье, — имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у Гончарова нет ничего, кроме таланта; он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный. К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все, как портреты, превосходны».

«Роман Гончарова останется одним из замечательных произведений русской литературы, — писал Белинский в другом своем отзыве; — к особенным его достоинствам принадлежит, между прочим, язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся. Рассказ Гончарова в этом отношении — не печатная книга, а живая импровизация. Некоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоров между дядей и племянником. Но для нас эти разговоры принадлежат к лучшим сторонам романа. В них нет ничего отвлеченного, не идущего к делу; это — не диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каждое действующее лицо высказывает себя, как человека и характер, отстаивает, так сказать, свое нравственное существование. Правда, в такого рода разговорах, особенно при легком, дидактическом колорите, наброшенном на роман, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тем больше чести Гончарову, что он так счастливо решил трудную саму по себе задачу и остался поэтом там, где легко было сбиться на тон резонера».

Итак, отсутствие тенденции, способность быть художником «и только» — вот что отметил Белинский у Гончарова[1]. Притом, будучи художником объективным и непосредственным по существу, он «рисует свои фигуры, характеры, сцены, прежде всего, для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать». Так выразил Белинский наиболее характерную, по его мнению, черту гончаровского творчества.

«Повесть Гончарова произвела в Питере фурор, — писал Белинский В. П. Боткину 17 марта 1847 г. по поводу той же «Обыкновенной истории», — успех неслыханный![2]

«Все мнения сошлись в его пользу. Даже светлейший князь Волхонский, через дядю Панаева, изъявил ему, Панаеву, свое удовольствие, доставляемое ему вообще Современником и повестью Гончарова в особенности. Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ. Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!»

Если отсутствие «литературщины» и «признаков труда» и было в данном случае дорого Белинскому, то не само по себе, а как оборотная сторона реализма, который явился в конце

---

[1] Белинский, В. «Взгляд на русскую литературу в 1847 г.», гл. II. Сочинения. Изд. 4-ое, М., 1891, т. XI, стр. 386 и след.

[2] Письмо Белинского см. Пыпин, А. Н. «Белинский, его жизнь и переписка», Спб. 1908, стр. 525.

сороковых годов воинствующей силой против литературно-общественного застоя. И тем удивительнее казалось Белинскому действие «Обыкновенной истории» на читателей, что оно представлялось ему далеким от какой бы то ни было авторской преднамеренности. В этом смысле произведение Гончарова являлось в глазах Белинского идеально-объективным.

Оценил Гончарова и автор «Очерков гоголевского периода» — Н. Г. Чернышевский; Гончаров в его отзывах являлся неизменно «хорошим писателем», рядом с Григоровичем, и особенно с Тургеневым и Л. Н. Толстым[3]. Характеризуя благожелательную широту взглядов Белинского на произведения писателей, не бывших его единомышленниками в узком смысле, Чернышевский следующим образом определил основной мотив увлечения Белинского «Обыкновенной историей»: «Он (Белинский) с полною готовностью признавал все достоинства произведений словесности, которые были написаны не в том духе, какой казался ему сообразнейшим с потребностью нашей литературы, лишь бы только эти произведения имели положительное достоинство. Для примера, напомним его отзыв о романе Гончарова «Обыкновенная история»... Белинский не признавал «чистого искусства» и поставлял обязанностью искусства служение интересам жизни. А, между тем, он в том же самом разборе с равным благорасположением говорил о романе Гончарова, в котором видит исключительное стремление к так называемому чистому искусству, и о другом романе, явившемся около того времени, написанном в духе, который наиболее нравился Белинскому»... Вслед за Белинским, и Чернышевский признавал за «Обыкновенной историей» «положительное до-

---

[3] Чернышевский, Н. Г. «Очерки гоголевского периода», гл. VII. Полн. собр. соч., т. II, стр. 291.

стоинство», причем для Чернышевского особую цену имела еще и ярко определившаяся писательская индивидуальность Гончарова, который был «самим собой» и не имел двойника. Иначе говоря, Чернышевский всецело присоединялся к мнению о Гончарове, высказанному Белинским.

Объективность, в связи с уменьем «охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его», представлялась и Н. А. Добролюбову сильнейшей стороной таланта Гончарова[4]. «Изображение их (явлений жизни в их полноте), — писал Добролюбов, — составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно. Составляет ли это высший идеал художнической деятельности, или, может быть это даже недостаток, обнаруживающий в художнике слабость восприимчивости?» — спрашивал критик и, с отличавшим его величайшим критическим тактом, останавливался и ставил здесь точку, довольствуясь одной постановкой вопроса и боясь решать его сплеча. «Категорический ответ затруднителен и, во всяком случае, был бы несправедлив без ограничений и пояснений, — замечает далее Добролюбов. — Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность такого приговора и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, посильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это несколько обломовское, происходящее от наклонности иметь постоянно руководителей — даже в чувствах...

---

[4] Добролюбов, Н. А. «Что такое обломовщина?» Сочинения. Изд. пятое, т. II, стр. 496.

«Приписывать автору слабую степень восприимчивости потому только, что впечатления не вызывают у него лирических восторгов, а молчаливо кроются в его душевной глубине, — несправедливо. Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным. Примеров мы видим множество на каждом шагу в людях, одаренных неистощимым запасом словесного и мимического пафоса. Если человек умеет выдержать, взлелеять в душе своей образ предмета и потом ярко и полно представить его, — это значит, что у него чуткая восприимчивость соединяется с глубиною чувства. Он до времени не высказывается, но для него ничто не пропадает в мире. Все, что живет и движется вокруг него, все, чем богаты природа и людское общество, у него все это —

как-то чудно
Живет в душевной глубине.

«В нем, как в магическом зеркале, отражаются и по воле его останавливаются, застывают, отливаются в твердые недвижные формы все явления жизни во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить самую жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг ее, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь.

«Такое могущество, в высшем своем развитии, стоит, разумеется, всего, что мы называем симпатичностью, прелестью, свежестью или энергией таланта. Но и это могущество имеет свои степени, и кроме того, оно может быть обращено на предметы различного рода, что тоже очень важно. Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого искусства для искусства, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например,

превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни. Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается художник, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, в отвлечении, в возможности.

«Как же выразился, на что потратился талант Гончарова? Ответом на этот вопрос должен послужить разбор содержания романа»...

Как мы видели выше, Добролюбов уклонился от категорического ответа на вопрос о свойствах гончаровского таланта, перешел к суждению о том, на что потратился талант художника, и занялся разбором содержания «Обломова». К каким выводам привел Добролюбова этот разбор, вообще известно: статья его о том, — «Что такое обломовщина?» — навсегда утвердила характер и размеры общественного значения созданного Гончаровым обломовского типа и сама по себе явилась одною из самых блестящих статей нашей критической литературы. «Кто же, наконец, сдвинет их (благонамеренных ленивцев) с места этим всемогущим словом: «вперед», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно ожидает Русь? — писал Добролюбов в этой статье. — До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей

похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», говорит он устами Штольца и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочтет Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово».

Статья эта не потеряла своего значения до настоящего времени, хотя страницы журнала, впервые напечатавшего ее, давно уже выцвели и поблекли. Но старинные, побледневшие портреты близких людей говорят душе иногда больше, чем позднейшие воспроизведения, выполненные со всем мастерством современной фотографической и художественной техники. Тихая и грустная поэзия отжившего чаще находит приют в старинной условности воспроизведения, в пожелтевшей от времени бумаге, помутневших узорах рамы, чем в нашей донага раздетой «правде» внешнего изображения, зеркальных стеклах и золотых багетах. Так, есть особенная прелесть в перечитывании любимого автора по старой книжке журнала, где его произведение появилось впервые. Впечатление кажется более непосредственным, более близким к духу былой эпохи, и позднейшему читателю легче стать на точку зрения современников автора, перед которыми произведение открывалось во всей свежести и новизне своего первого появления в печати. Из непосредственности впечатления вытекает и непосредственность суждения, не зависящая ни от сопоставления с творчеством автора в его целом, ни от требований научного исторического анализа.

Попытка представить себе положение читателя лет шестьдесят назад может иметь особое значение при изучении отношений Добролюбова и Гончарова. Эти отношения становятся понятны, если взять не полные собрания их сочине-

ний, а книжки Отечественных Записок и Современника за 1859 г. В первом из этих журналов, в четырех начальных книжках, был напечатан «Обломов», а уже в пятой книжке второго появилась добролюбовская статья. Критик говорил о Гончарове, зная его главным образом по двум романам, так как «Обрыв» появился десять лет спустя, уже после смерти Добролюбова, а мелкие статьи — и того позже. И тем замечательнее осторожность Добролюбова относительно Гончарова, отсутствие всякой категоричности в отзывах о нем.

Эту категоричность суждений о нашем писателе внесли с собой чреватые категоричностями всякого рода шестидесятые годы. Вслед за Добролюбовым, но с гораздо меньшей проницательностью, остановился на общественном значении тех же романов Д. И. Писарев. В статье «Гончаров, Писемский и Тургенев» он привлек к суду Гончарова, доказал по пунктам его виновность и объявил не заслуживающим ни малейшего снисхождения[5].

Исходная мысль Писарева уже a priori намечала тот путь, на котором Гончаров должен будет неминуемо оказаться далеко позади своих сверстников. «Писемский, Тургенев и Гончаров принадлежат к одному поколению, — так начинает Писарев свою статью. — Это поколение уже давно созрело и теперь клонится к старости; дети этого поколения уже способны решать по-своему вопросы жизни, и потому отцы постепенно становятся деятелями прошедшего времени, и для них наступает суд ближайшего потомства. Пора проверить результаты их работ, не для того, чтобы выразить им свою признательность или неудовольствие, а просто для того, чтобы пересчитать умственный капитал, достающийся нам от прошедшего, узнать сильные и слабые стороны нашего

---

[5] Писарев, Д. И. «Писемский, Тургенев и Гончаров». Полн. собр. соч. Изд. Павленкова, Спб., 1894, т. I, стр. 437 и след.

наследства и сообразить, что в нем можно оставить на старом основании и что надо фундаментально переделать. Всего этого наследства разом не оглядишь: оно, как и все русское, велико и обильно. Посмотрим на первый раз, что оставили нам наши первоклассные романисты, лучшие представители русской поэзии сороковых и пятидесятых годов. Вопрос, поставленный мною, шире, чем может подумать читатель. Романы Писемского, Гончарова и Тургенева имеют для нас не только эстетический, но и общественный интерес».

Писарев отводит здесь Гончарову видное место. В зависимости от его общей мысли оценивавшей художественную литературу с точки зрения разрешаемых ею «вопросов жизни» решал Писарев и вопрос о «художнике» и искусстве. Решение это было вполне последовательно и резко очерчено, но грешило чересчур уж большой упрощенностью. «Кто по природе и по воспитанию впечатлителен, да кто усвоил себе умение передавать свои впечатления другим так, чтобы они могли перечувствовать то, что он сам чувствует, тот и художник. Уменье передавать составляет техническую сторону искусства и приобретается навыком и упражнением. Способность воспринимать, или впечатлительность, составляет принадлежность человеческого характера художника; эта способность кроется в строении нервов, рождается вместе с нами, и, конечно, развивается или притупляется обстоятельствами жизни. Уменье передавать или виртуозность формы сама по себе не может сильно и обаятельно подействовать на читателя; не угодно ли вам, например, описать самым ярким и подробным образом лицо вашего героя так, чтобы читатель видел каждую морщинку на его лбу, каждый волосок на его бровях, каждую бородавку на лбу или на щеке? На каждой академической выставке есть несколько подобных картин; тут, положим, художник нарисовал палитру, карандаш и куски красок; в другом месте — корзину с цветами или

разрезанный арбуз, в третьем — портрет какого-нибудь господина, у которого бобровый воротник и пуговицы на шинели выделаны так тщательно, что не знаешь, портрет ли это, или вывеска меховщика. — «Ах, как натурально!», скажете вы, но представить себе, чтобы художник, рисуя все эти прелести, что-нибудь думал или чувствовал, вы решительно не будете в состоянии. Вы увидите, что такой-то господин хорошо составляет краски и ловко владеет кистью, но человеческого характера этого господина вы не увидите; ни мысли его, ни чувства вы не увидите; отходя от картины, вы будете вправе сказать, что такой-то NN тратит свое замечательное уменье на совершеннейшие пустяки; почему это происходит — на это могут быть многие причины: или г. NN не настолько умен, чтобы составить в голове своей план картины, или не настолько развит, чтобы уметь обставить свою идею, или не настолько впечатлителен, чтобы нечаянно не наткнуться на сюжет и, почти мимо собственной воли, выносить и взлелеять его в груди. Во всяком случае этот NN — художник только наполовину, настолько же, насколько может быть назван художником повар, отлично изготовивший кулебяку. NN совершенно волен рисовать палитры, арбузы и меховые воротники всех цветов и достоинств, но мы, зрители, также совершенно вольны восхищаться или не восхищаться его малеваниями».

Отметив ту особенную радость, с какою общество встречало каждое произведение Гончарова, Писарев объяснял успех последнего невысоким уровнем читательского круга. «Мне кажется, — писал он, — причины этого замечательного явления (т. е. успеха) заключаются преимущественно в том, что Гончаров по плечу всякому читателю, т. е. для всякого ясен и понятен. Он везде стоит на почве чистой современной практичности, и притом практичности не западной, не европейской, а той практичности, которой отличаются обра-

зованные петербургские чиновники, читающие помещики, рассуждающие о современных предметах барыни и т. п. Прочтите Гончарова от начала до конца, — вы, по всей вероятности, ничем не увлечетесь, ни над чем не замечтаетесь, ни о чем горячо не заспорите с автором, не назовете его ни обскурантом, ни рьяным прогрессистом и, закрывая последнюю страницу, скажете очень хладнокровно, что Гончаров — очень умный и основательно рассуждающий господин».

Вполне последовательный во всех своих рассуждениях о разумном эгоизме критически мыслящей личности, Писарев не вполне, однако последовательно, с большим неодобрением зачисляет Гончарова в разряд эгоистов, игнорирующих, где возможно, область человеческих и гражданских интересов. «У Гончарова, — продолжает он, — нет никакого конька, никакой любимой идеи; утопия всякого рода ему совершенно враждебна; ко всякому увлечению он относится с легким и вежливым оттенком иронии; он — скептик, не доводящий своего скептицизма до крайности; он — практик и материалист, способный ужиться с фантазером и идеалистом; он — эгоист, не решающийся взять на себя крайних выводов своего миросозерцания и выражающий свой эгоизм в тепловатом отношении к общим идеям, или даже, где возможно, в игнорировании человеческих и гражданских интересов. Этот эгоизм проглядывает во всех его произведениях; кто читал «Фрегат Палладу» и «Обломова», тот не найдет удивительным мое мнение».

Таким образом, с одной стороны, Гончарову вменяется в вину, что он — эгоист, не доводящий своего эгоизма до крайности, а с другой, — что он игнорирует человеческие и гражданские интересы... В этом противоречии Писарев запутывался не менее, чем любой средний представитель своей «утилитарной» эпохи, который запротестовал сердцем, но еще не выработал принципов отречения от всяких личных

благ во имя осуществления «правды-справедливости» путем служения широким народным массам. В применении к Гончарову противоречие это объяснить нетрудно: Писарев искал и не находил термина, которым можно было бы одним взмахом пера, сразу определить то, что ему не нравилось в Гончарове, — и ему понадобился длинный описательный подход. А не нравилось ему в Гончарове больше всего, как увидим, отсутствие темперамента, его бесстрастие, холодность, словом, то что делало Гончарова, в понятиях той эпохи, писателем объективным.

И объективность была объявлена самой тяжелой виной Гончарова. «Постоянно спокойный, ничем не увлекающийся, — говорит Писарев, — романист наш развязно подходит к запутанным вопросам общественной и частной жизни своих героев и героинь; бесстрастно и беспристрастно осматривает он положение, отдавая себе и читателю самый ясный и подробный отчет в мелких его особенностях, становясь поочередно на точку зрения каждого из действующих лиц, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всех. Он обсуживает положение и свойства своих действующих лиц, но всегда воздерживается от окончательного приговора»...

Писарев предвидел возражение в том смысле, что нельзя же требовать, как общего правила, отражения личности рассказчика в его произведении, что «объективность — высшее достоинство эпического поэта». У критика есть готовый ответ на подобное возражение: он скажет, что это — одна из тех неверных, а — главное — устарелых фраз, от которых не могут отстать робкие люди, что рассказывать что-нибудь без особенной цели читающей публике — недобросовестно и невежливо, что обаятельное действие поэзии заключается в соприкосновении между мыслью автора и мыслью читателя... «На вас действует часто сила мысли, а мысль и чувство всегда

бывают *личные*; следовательно, что же останется от поэтического произведения, если вы из него вытравите *личность* автора? Вполне объективная картина — фотография; вполне объективный рассказ — показание свидетеля, записанное стенографом; вполне объективная музыка — шарманка; добиться этой объективности значит уничтожить в поэзии патетический элемент и вместе с тем убить поэзию, убить искусство, даже науку, даже всякое движение мысли»...

Неудивительно что, став на эту точку зрения, Писарев лишил тип Обломова всякого общественного значения — последний оказался поставленным только в зависимость от своего неправильно сложившегося темперамента, притом же, он не оригинален, он — повторение Бельтова, Рудина и Бешметева. И весь роман оказался ничем иным, как «клеветою» на русскую жизнь, а несчастный автор его, напрасно прикинувшийся прогрессистом в «Обыкновенной истории», с одной стороны — умный и рассудительный человек, а с другой — скептик и материалист, способный ужиться с фантазером и идеалистом, эгоист, свойство которого проявляется в тепловатом отношении к общим идеям и даже, как мы видели, более — в игнорировании человеческих и гражданских интересов. «Обращаясь к нашему потомству, Гончаров будет иметь полное право сказать: не поминай лихом, а добром нечем!»

Однако, некоторые стороны характеристики, данной Писаревым, замечательны по тем соображениям, которые должны составить интересную страницу не только в истории нашего общественно-литературного самосознания, но и в теории творчества, которая будет обоснована когда-нибудь на началах историко-философского прагматизма, и мы остановимся на них теперь же, чтобы не возвращаться потом. «Конечно, — признавал и Писарев, — таланту Гончарова должно отдать полную дань удивления: он умеет удерживать нас на

этом крошечном уголке в продолжение целых сотен страниц, не давая нам ни на минуту почувствовать скуку или утомление; он чарует нас простотой своего языка и свежей полнотой своих картин, но если вы по прочтении романа захотите отдать себе отчет в том, что вы вместе с автором пережили, передумали и перечувствовали, то у вас в итоге получится очень немного. Гончаров открывает вам целый мир, но мир микроскопический; как вы приняли от глаза микроскоп, так этот мир исчез, и капля воды, на которую вы смотрели, представляется вам снова простой каплей. Если бы эта сила анализа, невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ее широте, во всем ее пестром разнообразии, — какие бы чудеса она могла произвести! — Эта мысль ошибочна: кто останавливается на анализе мелочей, тот, стало быть, и не способен идти дальше и подниматься выше. Гончаров останется на анализе мелочей потому, что у него нет побудительной причины перейти к чему-либо другому; он холоден, его не волнуют и не возмущают крупные нелепости жизни: микроскопический анализ удовлетворяет его потребности мыслить и творить; на этом поприще он пожинает обильные лавры — стало быть, о чем же еще хлопотать, к чему еще стремиться?»

В другом месте этой статьи, по поводу «Обыкновенной истории», Писарев говорил: «Оба Адуевы, дядя и племянник, не обратились никогда и не обратятся в полунарицательные имена, подобные Онегину, Фамусову, Молчалину, Ноздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Федоровича Адуева, племянника? Только и сказать, что у него нет личности, а, между тем, даже и безличность или бесхарактерность не может быть поставлена в число его свойств. Он молод, приезжает в Петербург с большими надеждами и с сильной дозой мечтательности: петербургская жизнь понемногу разбивает его надежды и заставляет его быть скромнее

и смотреть под ноги, вместо того, чтобы носиться в пространствах эфира. Он влюбился — ему изменяет любимая девушка; он напускает на себя хандру — и понемногу от нее вылечивается; потом он влюбляется в другую, и на этот раз уже сам изменяет своей Дульцинее; с годами он становится рассудительнее; при этом он постоянно спорит с своим дядей и мало-по-малу начинает с ним сходиться во взгляде на жизнь; роман кончается тем, что оба Адуева сходятся между собою совершенно в понятиях и наклонностях. «Это канва романа, — скажете вы, — это общие черты, контуры, которые можно раскрасить, как угодно». Это правда, и эти контуры так и остались нераскрашенными; бедность и недоделанность их опять-таки замаскированы тщательностью внешней отделки. Например, Александр едет к той девушке, которую он любит; он чувствует сильное нетерпение, и Гончаров чрезвычайно подробно рассказывает, в каких именно внешних признаках проявлялось это нетерпение, как сидел его герой, как он переменял положение, какое впечатление производили на него окрестные виды; потом эта девушка ему изменила, предпочла другого, — и Гончаров опять-таки с дагеротипической верностью воспроизводит внешние выражения отчаяния, а потом апатию своего героя. Он пишет вообще историю болезни, а не характеристику больного; поэтому, если бы роман попался в руки какому-нибудь разумному жителю луны, то этот господин мог бы составить себе довольно верное понятие о том, как говорят, любят, живут, наслаждаются и страдают на земле животные, называемые людьми. Но мы, к сожалению, все это знаем по горькому опыту, и потому те общие черты, которые наш романист разрабатывает с замечательным искусством, представляют для нас мало существенного интереса. Мы знаем, что отправляясь на свидание с любимой женщиной, молодой человек чувствует усиленное биение сердца; как подробно ни

описывайте этот симптом, вы охарактеризуете только известное физиологическое отправление, а не очертите личной физиономии. Описывать подобные моменты все равно что описывать, как человек жует или храпит во сне, или сморкается. Дело другое, если герой, отправляясь на свидание, перебирает в голове такие идеи, которые составляют его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоит отметить и воспроизвести. Но Гончаров думает иначе; он с зеркальной верностью отражает все или, вернее, все то, что находит удобоотражаемым, все бесцветное, т. е. именно все то, чего не следовало и не стоило отражать».

Трудно категоричнее высказаться о Гончарове, чем высказался о нем Писарев. И, хотя потомство распорядилось иначе с наследством Гончарова, чем мог предполагать его строгий критик, однако, у Писарева являлись время от времени последователи, которые, с разными оговорками и уклонениями, повторяли на разные лады, что Гончаров — только объективный художник и, как таковой, не имеет отношения к истории нашей общественности в тесном смысле.

Мы допустили некоторую хронологическую неточность, предполагая только теперь говорить о статье Дружинина, появившейся, как известно, в 1859 году[6]. Мы сделали это умышленно: непосредственное сопоставление взглядов Добролюбова и Писарева для нас было важнее внешней последовательности фактов. К тому же, Дружинин сосредоточивает свое внимание не столько на характеристике гончаровского творчества, сколько на психологическом анализе действующих в «Обломове» лиц и общем смысле романа. Слов «объективный», «объективность» критик как будто избегает. «Он — реалист, — говорит он о Гончарове, — но его реализм

---

[6] Дружинин, А. «Обломов». Собр. соч., Спб., 1865, ред. Н. В. Гербеля, т. VII, стр. 585 и след.

постоянно согрет глубокой поэзией; по своей наблюдательности и манере творчества он достоин быть представителем самой натуральной школы, между тем как его литературное воспитание и влияние поэзии Пушкина, любимейшего из его учителей, навеки отдаляют от Гончарова самую возможность бесплодной и сухой натуральности...

«Подобно фламандцам, Гончаров национален, неотступен в раз принятой задаче и поэтичен в малейших подробностях создания. Подобно им, он крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Как художник-фламандец, Гончаров не путается в системах и не рвется в области, ему чуждые. Как Доу, Ван дер-Нээр и Остад, он знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. Простой и даже как будто скупой на вымысел, подобно трем сейчас названным великим людям, Гончаров, подобно им, не выдает всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но, подобно им, он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, подобно им, он ставит пред наши глаза целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в теории искусства и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной».

С каждым внимательным взглядом Гончаров становится все глубже и глубже, — говорит Дружинин. Да, это правда в том смысле, что, чем дальше уходит в историческое прошлое эпоха гончаровских произведений, тем драгоценнее становятся ее отражения, запечатлевшие наиболее конкретные и жизненные черты эпохи.

III

Отзывы критики. — Шелгунов. — Вопрос о роли и значении писателя в общественной жизни. — Скабичевский. — Односторонность в суждениях о Гончарове. — Статья Протопопова. — Возражение его Добролюбову.

Таковы были отзывы современной Гончарову критики об его «Обыкновенной истории» и «Обломове». «Обрыв» в это время только назревал в душе художника. Он появился через десять лет после «Обломова», — в самом конце шестидесятых годов, и возбудил, со страниц «Вестника Европы», еще больше шума, чем первые два романа. А, пока он создавался, вокруг Гончарова, служившего и по цензурной части, и по редактированию официальной «Северной Почты», кипела самая бурная эпоха русской жизни, самая нервная и страстная пора борьбы и стремлений, надежд и разочарований. Небеса были холодны и пасмурны, но молодые побеги весело выбегали на волю из-под старых корней и — вот-вот, казалось им, выглянет солнце, пригреет и скажет: расти и радуйся! Но солнце не спешило выглянуть из-за туч, побеги мерзли и гибли. Старая жизнь уходила медленно и неохотно; змеиное шипенье слышалось в ее прощальных речах. Порою, казалось, она крепла и возвращалась назад, как крепнет льдина, под несмелыми лучами раннего весеннего солнца... Но работа кипела в умах и сердцах, менялись убеждения и взгляды, целые миросозерцания опрокидывались вверх дном, начинался медленный и болезненный процесс пересоздания жизни на новых началах разума и справедливости. Вопросы крестьянской реформы, местного самоуправления, гласного суда один за другим, один настоятельнее и важнее другого, стали настойчиво привлекать к себе общественное внимание со страниц прогрессивных органов, задевая всех без исключения, волнуя, тревожа, порождая жгучие споры, обостряя

инстинкты. Имена Чернышевского и Герцена были у всех на устах, становились лозунгом общественной мысли, делили сознательные классы читателей на два враждебные лагеря. И из-под проклятий и грохота ломавшейся старой жизни настоятельнее и, несмотря на беспрестанные перерывы, громче других звучал один вопрос, вечный вопрос, который не перестает задавать человечество, о том, —

... для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы...

Политический вопрос вставал с невиданной дотоле остротой. Отвечали различно, часто с глухой решимостью отчаяния, чтобы ответить хоть как-нибудь и прикрыть бездну, созданную вопросом, отвечали опрометчиво, но искренно, отвечали благоразумно, но фальшиво. Туман неизвестности и сомнения могло разогнать доверие к общественным силам, которые одни только, в условиях гласности и свободы, могли дать отпор реакционным течениям крепостнического прошлого. Но доверия этого не было. Малодушные закричали: «назад!» — им почудилось, что они подошли к краю бездны, и что дальше идти уже «некуда»...

Этот вихрь новых мыслей и чувств не мог не коснуться Гончарова, как бы он ни сторонился от жизни. Он знал, создавая последнюю часть своей трилогии, что она встретит иных читателей, чем прежде. Он мог предполагать, что и критика окажется к нему требовательнее и суровее в своих притязаниях, чем прежде; Белинский казался забытым; Добролюбов тоже отошел в вечность. Произошла резкая перемена в читателях, в критике, в литературе.

Зазвучали голоса о роли и назначении писателя в жизни. «Что такое писатель, как не общественный деятель; что такое писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная

звезда, за которой идут те, кто понимать и рассуждать безошибочно не в состоянии?»

Этот вопрос поставил Шелгунов в своей статье: «Талантливая бесталанность», напечатанной в «Деле» через несколько месяцев после появления «Обрыва»[7]. Она посвящена Гончарову, и одно заглавие само по себе указывает уже на отношение критика к нашему писателю. Начинается статья обширной выпиской из Белинского о том, что Гончаров — поэт, художник и больше ничего, что главная сила его заключается в изяществе и тонкости кисти, верности рисунка, и что поэзия есть первый, главный и единственный фактор его творчества. Эта характеристика представлялась настолько верной Шелгунову, что прибавлять к ней, казалось, было нечего. Однако чувствовалась какая-то неловкость: как-никак, а статья Белинского была написана более двадцати лет назад, притом по поводу первого из романов Гончарова. Как устранить эту неловкость, не нарушая логической убедительности суждения? Выход, по-видимому, был один, и Шелгунов не преминул им воспользоваться. Он объявил, что в миросозерцании Гончарова никакого изменения не совершилось, оно даже сузилось, пожалуй. Со свойственной ему определительностью и простотой Шелгунов так напрямик и заявил, что «со времени «Обыкновенной истории» в мыслительных способностях Гончарова никаких существенных перемен не произошло. Оно и понятно — способности эти в Гостином дворе не продаются. Гончаров остался по-прежнему поэтом, талантом, живописцем, с тою только разницею против 1847 г., когда появилась «Обыкновенная история», что в двадцать слишком лет он еще больше окреп в живописи и стал слабее, чем был, на почве сознательной мысли».

---

[7] Шелгунов, Н. В. «Талантливая бесталанность». «Дело», 1869, № 8.

Статья Шелгунова, написанная с высокой степенью убедительности и ясности изложения, чрезвычайно важна для понимания «Обрыва» с общественной точки зрения и с точки зрения публициста шестидесятых годов. Но в ней есть одна новая для своего времени и примечательная для нас черта, доказывающая, против воли Шелгунова, насколько был важен «Обрыв» для понимания нашего писателя. Расписавшись под словами Белинского, что «Гончаров — поэт, художник — и больше ничего», Шелгунов, не замечая противоречия, но, обнаруживая тонкую критическую проницательность, восклицает в конце статьи: «Неправда, что Гончаров относится безучастно к своим героям, что он держит себя объективно. Это невозможно и психологически». Но доказательство этой мысли выведено критиком из общих начал: «Литературное и всякое другое произведение есть результат субъективности. Нельзя отделить своего *я* от своего произведения. Автор может не уметь думать последовательным мышлением, но, тем не менее, его думы, его симпатии и антипатии олицетворяются в его героях. Одним словом, автор весь в своем произведении. Сила проявится силой, бессилие — бессилием. Роман, не возбуждающий в читателе прогрессивного мышления и прогрессивного вывода, может быть написан только отсталым и слабо мыслящим автором. Не было примера, чтобы умный человек, работавший десять лет, написал глупость».

Это — вообще, в частности же Шелгунов обошелся с Гончаровым более чем запросто. На взгляд критика, именно Гончаров и был тем автором, который работал десять лет и написал глупость. «В «Обрыве», — говорит Шелгунов, — Гончаров похоронил себя: мир его праху! Если сам автор не был в состоянии понять, что сила современного писателя в реализме, а не в идеализме, — нам не научить его»... Так, живой, впечатлительный публицист, фанатик своей идеи, говорил о живом, но медлительном беллетристе, не подхо-

дившем к его публицистической программе. С его точки зрения, насколько последняя обусловливалась господствовавшими взглядами, а, главное — потребностями эпохи, он был доказателен и даже, если угодно, прав. Иначе говорить не мог публицист шестидесятых годов, для которого роман являлся, прежде всего, орудием движения прогрессивных идей и уже затем литературным произведением. Не беда, если, в своем увлечении, он отказал «Обрыву» в реализме и счел его идеалистическим романом, — история литературы на наших глазах исправила эту ошибку. Но любопытно то обстоятельство, что намек Шелгунова, выраженный, правда, в самых общих чертах, — о субъективности гончаровского творчества, — был в свое время просмотрен публикой и критикой, и Гончаров долгое время считался в истории литературы художником объективным по основному свойству своего таланта с постоянно повторявшимися оговорками, впрочем, о родственности некоторых героев с личностью самого автора.

Мало нового в понимании Гончарова внес А. М. Скабичевский, не раз останавливавшийся на нем в своих статьях[8]. Критик признает и яркость дарования Гончарова и «богатство характеров, сцен и всевозможных красок, обрисовывающих перед нами старую жизнь нашего общества». Но об этом Скабичевский упоминает лишь вскользь, как о чем-то, составляющем общую принадлежность всех пишущих романы и индивидуально мало замечательном. Дело не в этом. Главная беда, по мнению Скабичевского, заключалась в особом обстоятельстве. Гончаров не выдержал экзамена по части «мыслительности», но совершенно не в том смысле в каком Белинский признавал перевес художественного дарования в «Обыкновенной истории» над ее идейной стороной. «Но в

---

[8] Скабичевский, А. «Сорок лет русской критики». Сочинения. Изд. 2-ое, Спб., 1895, т. I, стр. 374 и след.

чем выражается слабость мысли Гончарова, этого, — пишет Скабичевский, — Белинский не мог уяснить себе ясно и определенно. Недостаток мыслительности Гончарова, заключается именно в том, что, отнесшись отрицательно к романтизму и осмеяв его в лице Александра Адуева, Гончаров в то же время, в противовес этому отжившему типу, поставил, как идеал положительности, тип, еще более отживший...

«Что Гончаров поставил идеалом положительности отъевшегося филистера, — продолжает Скабичевский, — в этом нет ничего удивительного; но, что Белинский мог увлечься этим господином, это может представляться решительно непонятным, если вы не примете в соображение, что Белинский просто-напросто увлекся до такой степени отрицанием романтизма, что ему было решительно все равно, чем ни бить ненавистный ему романтизм, и далее этого отрицания он не отдавал себе ни в чем отчета».

Уже из приведенных выше строк видно, что сам Скабичевский не дал себе отчета ни в общем значении первого романа Гончарова, ни в том, что это значение было ясно сознано Белинским. Повторяя вкривь и вкось мысли, высказанные тем же Белинским, но пригоняя их к фразеологии шестидесятых годов, Скабичевский из-за борьбы с Петром Ивановичем Адуевым, давно уже еще до него поверженным в прах, проглядел и всю глубину художественной ценности романов Гончарова и их историческое значение. Любопытно отметить, кроме того, тот оттенок личного нерасположения к Гончарову, который сквозил в отзывах Скабичевского о нем, и который, по-видимому, помешал нашему критику отнестись к его творчеству беспристрастно[9].

Это особенно заметно на статьях, посвященных специально Гончарову.

---

[9] Скабичевский, А. Сочинения, т. I, стр. 145 и след. «Старая правда».

У Скабичевского не было также никакого сомнения относительно «объективности» его дарования. Другими словами, Скабичевский повторял мнение Белинского, что Гончаров — «поэт, художник и больше ничего». Но разница состояла в том, что для Белинского в словах «поэт», «художник» заключалось очень много, тогда как для Скабичевского эти понятия значили так мало, почти ничего...

Любопытнее всего что, считая Гончарова «непосредственным», т. е. по терминологии старого времени «объективным» поэтом, Скабичевский не только не ценил этой непосредственности, но настаивал на том, что и Гончаров не служил этой «непосредственности», т. е. не отражал жизнь в ее зрительной осязательности. Художник, наиболее сильный своей непосредственностью, должен был служить, по теории Скабичевского, «сознательной мысли», т. е. задачам чистой публицистики. Таким образом, преднамеренность творчества, прежде всего, вменялась в обязанность художнику, который тем же Скабичевским признавался исключительно непосредственным поэтом. Казалось бы, на нет и суда нет... Но дело в том, что Скабичевский, лучше чем кто-либо из его современников, сам того не подозревая, обнаружил наиболее слабые стороны «объективности» Гончарова. Подписавшись под мнением Белинского о Гончарове, о том что последний рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы насладиться способностью рисовать, — Скабичевский сделал следующее, крайне важное наблюдение: «Но Гончарову мало одного этого наслаждения; ему постоянно хочется быть судьей своих типов и своего времени, и это поползновение составляет ахиллесову пятку всех его произведений». Это — крайне важное и любопытное замечание, замечание, при том же, до известной степени верное. Но позвольте спросить: что же это за непосредственный поэт, каким представлял себе Скабичевский Гончарова, которому постоянно хочется быть судьей своих типов и своего времени?

Не уясняя противоречия, Скабичевский продолжал бичевать публицистические поползновения Гончарова. Ряд замечаний, которые критик сделал при этом, особенно по поводу создания «Обрыва», обнаруживал, что Скабичевский весьма основательно уяснил себе субъективный элемент в творчестве Гончарова. Так, правильно был поставлен вопрос о роли субъективного элемента в «Обломове» и «Обрыве». Когда появился этот роман, — «слава автора была в то время в своем апогее, — пишет Скабичевский: — «Обломовым», вышедшим в свет в конце 50-х годов, зачитывались, считали его чуть что не эпопеей русской жизни; критика отнеслась к роману так, как он того заслуживал, если не более, и самое гордое самолюбие не могло не быть удовлетворено этой критикой. На молодое поколение глядели в то время еще с надеждой и упованием, видели в нем залог нового времени, расцветающую зарю и все такое подобное, и никому не приходило тогда в голову, что это более ничего, как сонмище недоученных мальчишек и стриженых девок, совращенных с истинного пути в бездну отрицания и разврата. Понятно, что Гончарову в то время не могло прийти в голову выставлять несостоятельность новых учений и спасительность старых. Останься роман при своем первоначальном замысле, он, конечно, носил бы такой же характер, какой имеют все предыдущие романы Гончарова: точно также он отличался бы богатством характеров, сцен и всевозможных красок, обрисовывающих перед нами старую жизнь нашего общества. Весьма вероятно, что была бы проведена в романе и тенденция и, конечно крайне узенькая...»

Но в «Обрыве», как правильно заметил Скабичевский, обнаруживается целый ряд наслоений. «С течением времени, когда Гончарова, подобно большинству его современников, начали смущать различные призраки, он вознамерился выразить ужас свой по поводу этих миражей. Но он не вполне

последовал примеру своих сотоварищей. Те, под впечатлением подобного же ужаса, задумали новые произведения, чтобы выразить то, что навеяло на писателей новое время. Гончаров вздумал употребить в дело старый материал, неоконченное произведение, задуманное совершенно под иными настроениями. Ему показалось, что ничего не стоит сделать такое превращение; стоит только переделать один тип, да от себя прибавить несколько рассуждений по поводу новых учений — и дело в шляпе. Гончаров сам говорит в предисловии, что он своим друзьям еще в 1856 и 57 годах «сообщал подробно, как сам видел в перспективе весь роман с толпою действующих лиц, с описанием местностей, сцен, с характерами, выключая один (Марк Волохов), принявший под конец романа, начатого давно и конченного недавно, более современный оттенок». В этих словах вы видите удивительную наивность автора и полное непонимание им самых элементарных законов творчества. Задумать роман 15 лет тому назад, а потом взять один из типов этого романа, да и переделать в духе современных нравов, — да, ведь это все равно, что взять какую-либо античную статую Аполлона и пытаться преобразить ее в Суворова, чтобы поставить на монумент».

От такой переделки получилась, по выражению Скабичевского, путаница, для распутывания которой он и предлагает следующий план: «... первоначально, — пишет он, — мы откинем все рассуждения автора и попытки его подвергнуть изображаемое анализу, откинем и тип Марка Волохова, как будто его вовсе не было в романе. Тогда перед нами сам собою всплывет роман в основном своем сюжете, вполне соответствующем старой жизни нашего общества; рядом с этим вместо Марка Волохова предстанет перед нами иной тип, совершенно в духе этой старой жизни».

План этот совершенно верен. Следуя ему, нетрудно вскрыть основные элементы романа и выделить из него ту

«объективную сторону», которая, по выражению того же Скабичевского, настолько перевешивает в творчестве Гончарова, что сама собою выливается через край «узенькой сентенции». Но, рассуждая так, Скабичевский объективную сторону романов Гончарова оставил в тени, а на «узенькую сентенцию» обрушился всей силой своего близорукого сарказма.

Отметим еще из современных Гончарову критических очерков, появившуюся в 1886 г. статью *Л. Долины* (С. А. Венгерова), значительно переработанную впоследствии и вошедшую в книгу его о Дружинине, Гончарове и Писемском. На содержании этой статьи мы остановимся ниже.

Одною из первых статей о Гончарове, вышедших после его смерти в 1891 г., явился очерк М. А. Протопопова, посвященный доказательству той мысли, что Гончаров был психологом, индивидуалистом по преимуществу, писателем, произведения которого не могут быть рассматриваемы, как выражение и отражение известной эпохи русской общественной жизни[10]. Отдавая полную справедливость таланту Гончарова, красота которого чувствуется и сила не подлежит сомнению, но который, подобно Венере Милосской, с большим трудом поддается анализу и определению, г. Протопопов говорит по поводу «главной черты его духовной физиономии»: «Эта черта — ничем невозмутимое равнодушие, или, по квалификации Гончарова, а п а т и я, — конечно, представляет собою самую подходящую почву для развития в художнике так называемой объективности. И действительно, как только вы попробуете подойти поближе к таланту Гончарова и разложить его на составные его элементы, спокойствие, равнодушие, о б ъ е к т и в н о с т ь этого таланта, прежде

---

[10] Протопопов, М. «Гончаров». «Русская Мысль», 1891, ноябрь, стр. 110 и след.

всего, представится вашим глазам. В этом отношении из всех сверстников Гончарова, членов известной беллетристической плеяды, ближе всех приближается к нему Писемский. Но есть объективность и объективность. Один объективен потому, что, по его убеждению, плетью обуха не перешибешь и, стало быть пусть дела идут своим чередом, а наша хата с краю: это — равнодушие от сознания своего бессилия, это — спокойствие покорности. Другой равнодушен из крайнего эгоизма: лишь бы ему жилось тепло и светло, а там как хотите вы, люди, и после него хоть трава не расти. Третий равнодушен в силу философского убеждения, что добро и зло только разные, но необходимые стороны или степени одного и того же явления, как свет и мрак, тепло и холод: одно другое подразумевает, одно другим обусловливается. Равнодушие четвертого исчерпывается краткой формулой «наплевать»: в людях столько цинизма и всяческого свинства, что, право, не стоит много о них хлопотать. И так далее. Равнодушие Гончарова происходило не от разума, а от темперамента, оно было не принципом, а потребностью, привычкой. Это равнодушие не имело ничего общего ни с отчаянием пессимиста, ни с эпикурейством эгоиста, ни с философией квиетиста, ни с холодным презрением циника, — это была чисто обломовская лень, которой нет ни до чего дела просто потому, что соснуть хочется, еще потому, что сколько ни волнуйся, ни жизнь, ни люди не изменятся, а от волнений, между тем, и печень, и желудок могут расстроиться. Раз, единственный только раз, Гончаров, можно сказать, вышел из себя: это было при встрече с Марком Волоховым, на которого наш объективист напал с совершенно несвойственною ему запальчивостью и полемическим увлечением. Что же? Ведь, и Обломов, как помнит читатель, дал однажды «громкую оплеуху» Тарантьеву, который явился в его глазах тем, чем Марк Волохов был для Гончарова с самого начала: ловким мошенником, настойчивым пройдохой и бесстыдным шантажистом».

«Если бы он (Гончаров) был не прозаиком, а поэтом, — говорит Протопопов в другом месте, — его деятельность резюмировалась бы в этих знаменитых стихах:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв.
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

«Насколько это «мы» мало относилось бы к самому автору этих стихов, рожденному именно для волненья и битв, настолько же оно было бы применимо к Гончарову-поэту. Романисту, уже по самому роду его работы, очень трудно ограничиться звуками и молитвами и, хочет ли он того или не хочет, ему непременно надо какое-нибудь содержание, хотя бы оно выражалось исключительно в образах. От этой обязанности не мог уволить себя и Гончаров, но он умудрился общественные задачи решать на почве личной психологии, индивидуальные, хотя и не случайные, свойства своих героев поставить в связь с вопросами общественной физиологии или патологии, психологические типы представить, как живые общественные силы».

Принципиальная точка зрения Добролюбова на «обломовщину» встретила сильное, но едва ли основательное, возражение со стороны Протопопова. Говоря об этом романе, Протопопов считает нужным «предварительно расчистить дорогу», на которой он усматривает препятствие в виде известной статьи Добролюбова. «Основной тезис статьи, — говорит Протопопов, — определяется в следующих словах ее автора: «В повести Гончарова отразилась русская жизнь, в ней предстает пред нами живой современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих

надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени»...

«Я не имею возможности, — так начинает свое возражение Протопопов, — заняться здесь обстоятельным опровержением статьи Добролюбова, да для простой «расчистки пути» в этом нет и надобности. Достаточно будет указать на те чисто-полемические или сатирические преувеличения, которые делает Добролюбов в видах широкого обобщения... «Раскройте, — говорит он (т. е. Добролюбов), — Онегина, Героя нашего времени, Кто виноват, Рудина или Лишнего человека, или Гамлета Щигровского уезда — в каждом из них вы найдете черты почти буквально сходные с чертами Обломова». Разумеется, найдем (продолжает Протопопов), точно так же, как без всякого труда найдем у Добролюбова черты, «буквально сходные» с чертами знаменитого в то время обскуранта Аскоченского. Добролюбов — писатель и Асконченский — писатель; Добролюбов пишет на бумаге, черным по белому, и Аскоченский — то же самое; Добролюбов пишет по-русски — и Аскоченский пишет по-русски; Добролюбов любит полемику — и Аскоченский — горячий полемист. И так далее. Целую страницу можно занять перечислением «буквально сходных» черт между Добролюбовым и Аскоченским. Следует ли отсюда, что Добролюбов и Аскоченский — «едино суть»? Но совершенно с таким же правом и Обломова можно признать братом по духу Онегину, Печорину, Бельтову и Рудину. Все они одинаково, или почти одинаково, остались без влияния на общую жизнь, — в этом — их сход-

ство, вернее — сходство их положений. Но для Онегина, Печорина, Бельтова и Рудина именно в этом невольном бездействии и заключалось проклятие их жизни, тогда как Обломов в бездействии полагал все свое счастье. Это можно было бы доказать цитатами пообильнее тех, которые приводит Добролюбов для доказательства своего тезиса. А если так, то все аналогии и параллели Добролюбова рассыпаются прахом: нельзя поставить рядом людей, идеалы счастья которых диаметрально противоположны. Обломов, умирающий на трех перинах от паралича, постигнувшего его от обжорства и неподвижности, и, наприм., Рудин, умирающий со знаменем в руке на мостовой Парижа — это, будто бы, люди одного типа! Нет, это — не обобщение, а очевидная полемическая натяжка».

«Заметим мимоходом, что если бы мы и приняли аналогию Добролюбова, то Гончарову от того не поздоровилось бы. Если Обломов не более, как повторение Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, то в чем же состоит то «новое слово», которое будто бы удалось сказать Гончарову? И почему же Обломов — знамение времени, если обществу это знамение известно уже несколько десятков лет?»

Таково возражение Протопопова. Мы заметили, что оно едва ли основательно, — и вот почему. Добролюбов понимал «буквальное сходство» Обломова с Онегиным, Рудиным и т. д. в том смысле, что всем им присущи общие и именно «индивидуально-психологические» черты, как безволие, равнодушие, эгоизм (пассивный), что нисколько не мешало их различию во всех других отношениях. Из того, что Рудин умирает со знаменем в руке на улицах Парижа, следует ли, что и в обыкновенной жизни он был пламенным героем, а не бесхарактерным себялюбцем? И если бы Обломов очутился на улицах Парижа в дни революции, разве не мог бы он, подобно Рудину, добровольно, в минуту увлечения, отдать

жизнь за идею свободы? Отрицать это едва ли возможно. Добролюбов имел в виду не сплошное сопоставление Обломова с упомянутыми параллелями, а то, что Гончарову удалось определить и наглядно указать общую этим параллелям психологическую черту, мешавшую им быть активными деятелями на поприще общественного развития. Дело вовсе не в том, в чем Обломов полагал свое счастье; важно было указать, что из Обломова ничего не вышло потому же, почему ничего не вышло из Печорина, Онегина, Бельтова. А на сходстве внешних положений Добролюбов не останавливался вовсе, в этом случае — «полемическая натяжка» на стороне Протопопова. Не говорил Добролюбов и того, что Обломов был повторением Онегина, Печорина и прочих.

Мысль Добролюбова совершенно ясна. Он говорит: «От появления первого из них, Онегина, прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шепотом, то приняло уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и громко». Затем: «Типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как-будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина, и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова».[11]

Это нечто иное, чем то, что усматривает Протопопов в добролюбовской статье. В ином смысле понимал Добролюбов и «знамение времени» в применении к Обломову: «Теперь Обломов является пред нами, — говорит Добролюбов, — разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо

[11] Добролюбов, Н. «Что такое обломовщина?», стр. 514 и след.

мантии только просторным халатом. Вопрос: что он делает? в чем смысл и цель его жизни? — поставлен прямо и ясно, не забить никакими побочными вопросами. Это теперь уже настало или настает неотлагательно время работы общественной... И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова знамение времени».

Очевидно, «знамение времени» понималось здесь в том смысле, что яркое обнаружение обломовщины в русских деятелях было особенно важно и своевременно в эпоху напряженной общественной работы.

Эти сопоставления свидетельствуют с достаточной убедительностью, насколько статья Добролюбова была грубо понята и неправильно истолкована Протопоповым.

Но сделанное Протопоповым указание на «психологический индивидуализм», как коренную черту гончаровского творчества, не лишено известного значения. Критик охарактеризовал эту черту, но упустил из вида тут же отметить другую — способность обобщать каждую мелкую деталь до типических размеров, а без признания этой способности Гончаров перестает быть тем, что он есть. Благодаря этим обобщениям, и создается общественное значение романов Гончарова, значение, с отрицанием которого никак нельзя согласиться. Статья Добролюбова определяет этот вопрос убедительно и по существу.

IV

Отзыв Аполлона Григорьева. — Общие замечания Григорьева о Гончарове. — Значение их в сопоставлении с суждениями Белинского и Добролюбова.

Этюд Аполлона Григорьева о Гончарове сам по себе мало замечателен, но он интересен, главным образом, с точки зрения тех требований, какие предъявляла в конце пятиде-

сятых годов критика к художникам. Она не довольствовалась, подобно тому, что мы видим в настоящее время, одним талантом, хотя бы и большим, но требовала еще и чего-то больше, идеи, глубокой и поэтической в основе произведения.

«Яркие достоинства таланта Гончарова признаны были, — говорит Аполлон Григорьев, — без исключения всеми при появлении его первого романа: «Обыкновенной истории». Рассказ его «Иван Савич Поджабрин», написанный, как говорят, прежде, но напечатанный после «Обыкновенной истории», многим показался недостойным писателя, так блестяще выступившего на литературное поприще, хотя, признаюсь откровенно, я никогда не разделял этого мнения. В «Поджабрине» точно так же, как и в «Обыкновенной истории», обнаруживались почти одинаково все данные таланта Гончарова, и как то, так и другое произведение страдали равными, хотя и противоположными недостатками. В «Обыкновенной истории» голый скелет психологической задачи слишком резко выдается из-за подробностей; в «Поджабрине» частные внешние подробности совершенно поглощают и без того уже небогатое содержание; оттого-то оба эти произведения — собственно не художественные создания, а этюды, хотя, правда, этюды, блестящие ярким жизненным колоритом, выказывающие несомненный талант высокого художника, но художника, у которого анализ, и притом очень дешевый и поверхностный анализ, подъел все основы, все корни деятельности. Сухой догматизм постройки «Обыкновенной истории» кидается в глаза всякому. Достоинство «Обыкновенной истории» заключается в отдельных художественно обработанных частностях, а не в целом, которое всякому, даже самому пристрастному читателю представляется каким-то натянутым развитием наперед заданной темы.

Та же самая антипоэтичность мысли оказывается и в «Сне Обломова», этом зерне, из которого родился весь Обломов, этом фокусе, к которому он весь приводится, для которого чуть ли не весь он написался... Антипоэтичность азбучно-практической темы тем неприятнее подействовала на беспристрастных читателей, что внешние силы таланта выступили тут с необычайною яркостью. Вы помните, что прежде, чем автор переносит вас в «райский уголок земли», созданный сном Обломова, он несколькими штрихами мастерского карандаша рисует иной край, иную жизнь, совершенно противоположные тем, в которые переносит нас сон героя... Вы чувствуете в манере изложения присутствие того истинного, спокойного творчества, которое по воле своей переносит вас в тот или другой мир и каждому сочувствует с равною любовью... И, потом, перед вами до мелких оттенков создается знакомый вам с детства быт, мир тишины и невозмутимого спокойствия во всей его непосредственности. Автор становится истинным поэтом — и, как поэт, умеет стоять в уровень с создаваемым им миром, быть комически-наивным в рассказе о чудовище, найденном в овраге обитателями Обломовки, и глубоко трогательным в создании матери Обломова, и истинным психологом в истории с письмом, которое так страшно было распечатать мирным жителям «райского уголка земли», и, наконец, эпически-объективным художником в изображении того послеобеденного сна, который объемлет всю Обломовку. Помните еще место о сказках, которые повествовались Илье Ильичу и, конечно, всем нам более или менее известны, которых пеструю и широко-фантастическую канву поэт развертывает с такою силою фантазии? Помните еще остальные подробности: семейный разговор в сумерки, негодование жены Ильи Ивановича на его беспамятство в отношении к разным приметам, сборы его отвечать на письмо, составлявшее несколько времени предмет тревожного

страха?.. Все это полный, художнически созданный мир, влекущий вас неодолимо в свой очарованный круг»...

«И для чего же гибель сия бысть? — спрашивает Григорьев: — для чего же поднят весь этот мир, для чего объективно изображен он с его настоящим и с его преданиями?» Для того, — отвечает критик, — чтобы «надругаться над ним, во имя практически-азбучного правила, во имя китайских воззрений Петра Ивановича Адуева или во имя татарско-немецкого воззрения Штольца»...

И, не входя в подробный разбор «Обломова», Григорьев — как это ни странно — сделал удивительно-верное заключение о Гончарове вообще: «Как не скажешь, читая произведения Гончарова, — восклицает он, — что талант их автора неизмеримо выше воззрений, их породивших!» Следовало добавить только, что талант этот творил, не подозревая, какое значение приобретет творение его с точки зрения общих идей...

Гораздо важнее данный А. Григорьевым анализ тех внешних условий, при которых сложилось, по мнению критика, общественное значение романов Гончарова[12].

«Отношение к действительности Гоголя, выразившееся, по преимуществу, в юморе — этот горький смех, карающий как Немезида, потому что в нем слышится стон по идеалу, смех, полный любви и симпатии, смех, возвышающий моральное существо человека, — такое отношение могло явиться правым и целомудренным только в цельной натуре истинного художника. Не все даже уразумели тогда вполне эту любовь, действующую посредством смеха, это горячее стремление к идеалу. Для многих, даже для большей части, понятна была только форма произведений Гоголя; очевидно было только

[12] Григорьев, Ап. «И. С. Тургенев и его деятельность...» Сочинения, т. I, Спб., 1876, стр. 415 и след.

то, что новая руда открыта великим поэтом, руда анализа повседневной, обычной действительности; и на то самое, на что Гоголь смотрел с любовью к непеременной правде, к идеалу, — на то другие, даже весьма даровитые люди, взглянули только с личным убеждением или с предубеждением. Отсюда ведут свое начало разные сатирические очерки и бесконечное множество повестей сороковых годов, произведений литературы, кончавшихся вечным припевом: «и вот что может сделаться из человека!» — повестей, в которых, по воле и прихоти их авторов, с героями и героинями, задыхавшимися в грязной действительности, совершались самые удивительные превращения, в которых все, окружавшее героя или героиню, намеренно изображалось карикатурно. Произведения с таким направлением писались в былую пору в бесчисленном количестве; ложь их заключалась преимущественно в том, что они запутывали читателя подробностями, взятыми, по-видимому, из простой повседневной действительности, доказывавшими в авторах их несомненный талант наблюдательности, и вводили людей несведущих, незнакомых с бытом, в заблуждение. Бесспорно, что была и хорошая сторона и своего рода заслуга в этой чисто-отрицательной манере, но односторонность и ложь ее скоро обнаружились весьма явно. Забавнее всего было то, что никогда так сильно не бранили романтизм, как в эту эпоху самых романтических отношений авторов к действительности.

Такое отношение к действительности не могло быть продолжительно по самым основным своим началам. Примирение, т. е. ясное разумение действительности, необходимо человеческой душе, и искать его приходилось поневоле в той же самой действительности, тем более, что находилось много людей, которые с сомнением качали головою, читая разные карикатурные изображения действительности, и дерзали думать, что слишком мрачные или слишком грубые краски

употреблялись на картине, что живописцы, видимо, находятся в припадке меланхолии, что родственники разных барышень вовсе не такие звери, какими они кажутся писателям, что даже и особенно грязны являются они только потому, что какому-нибудь меланхолическому автору хотелось в виде особенной добродетели выставить чистоплотность какой-нибудь Наташи... Усомнились, одним словом, в том, чтобы действительность была так грязна и черна, а романтическая личность так права в своих требованиях, как угодно было ту и другую показывать повествователям. Русский человек отличается, как известно, особенною сметливостью: он готов признать все свои действительные недостатки, но не станет их преувеличивать и не впадет поэтому в мрачное мистическое отчаяние.

В общем убеждении образовался протест против исключительных требований романтической личности — за действительность.

— Но за какую действительность?

Ведь, у нас их действительностей, видимым образом — две. Одна напоказ — официальная, другая под спудом — бытовая... Разъяснять эту мысль здесь нет необходимости. Протест поднимался тогда еще смутно, сам для себя неясный — на первый раз даже более за внешнюю, показную действительность.

В ответ на этот смутный, неопределенный протест, явилось примечательно яркое, но чисто внешнее дарование, без глубокого содержания, без стремления к идеалу, — дарование Гончарова. На требование оно ответило, как могло и как умело, «Обыкновенной историей», этой эпопеей чиновнического воззрения и азбучной мудрости, стоявшей совершенно в уровень с первыми, поверхностными началами протеста за действительность против романтической личности. Дарование Гончарова не пошло по новой дороге: оно вышло цели-

ком из той же самой категории произведений и было только ее цветом. Примирение выразилось в «Обыкновенной истории» иронией какого-то отчаяния, смехом над протестом личности с одной стороны и апотеозою торжества сухой, безжизненной, безосновной практичности. Все было тут принесено в жертву этой иронии. Автор вывел две фигуры: одну — жиденькую, худенькую, слабенькую, с ярлыком на лбу: «романтизм quasi-молодого поколения», и другую — крепкую, спокойную и определенную, как математика, с ярлыком на лбу: «практический ум»; сей последний, разумеется, торжествовал в своих расчетах, как добродетельная любовь в старинных романах и комедиях. Такова была мысль произведения Гончарова, мысль нимало не скрытая, а, напротив, просившаяся наружу, кричавшая в каждой фигуре романа. Много нужно было таланта для того, чтобы читатели забывали явно искусственную постройку произведения, но, кроме силы таланта, мысль ответила на требование большинства, т. е. морального и общественного мещанства. Роман, — повторяю я, — понравился всем так называемым практическим людям, которые всегда любят, когда бранят молодое поколение за разные несообразные и неподобные стремления, понравился даже тем господам, которые косо посматривали на «Мертвые души» или издевались над ними. В наивной радости своей протест за внешнюю, показную действительность не замечал, что ирония романа пропадала задаром, что романтическое стремление не признавало, не признает и не признает в жиденьком Александре Адуеве своего питомца.

Прошло много времени, пока протест за действительность вырос и окреп до сознания. В течение всего этого времени талант Гончарова напомнил о себе только кругосветным путешествием на фрегате «Паллада», — и в этой книге остался верен самому себе или, лучше сказать, тому низменному уровню, до которого он себя умалил. Поразительно яркие

описания природы, мастерство отделки мелочных подробностей, наблюдательность остроумная и меткая и положительное отсутствие идеала во взгляде, — вот что явилось в этой книге, которую опять-таки с жадностью прочла вся публика — она, ведь, у нас несколько охотница до японских воззрений, особенно, если этим воззрениям обрек себя на служение талант бесспорно сильный.

Явился, наконец, давно жданный Обломов. Прежде всего, он не сказал ничего нового. Все его новое высказано было гораздо прежде в «Сне Обломова» — я разумею все существенно-новое, такое, что возбуждает толки, возбуждает вражду и симпатии. Успех «Обломова» — что ни говорите — был уже спорный, вовсе не то, что успех «Обыкновенной истории». Да оно так и должно было быть. Эпоха другая — сознание выросло. «Обыкновенная история» польстила требованию минуты, требованию большинства, морального мещанства. «Обломов» ничему не польстил — и опоздал, по крайней мере, пятью или шестью годами... В «Обломове» Гончаров остался тем же, чем был в «Обыкновенной истории», и построен его «Обломов» по таким же сухим догматическим темам, как «Обыкновенная история». В подробностях своих он, если хотите, еще выше «Обыкновенной истории», психологическим анализом еще глубже; но наше сознание, сознание эпохи, шло вперед, а сознание автора «Обыкновенной истории» застряло в Японии. Польстил Обломов только весьма небольшому кружку людей, которые верят еще тому, что враг наш в деле развития — наша собственная натура, наши существенно бытовые черты, и что все спасение для нас заключается в выделке себя по какой-то узенькой теории... Воззрения этого небольшого кружка тоже далеко отстали от вопросов эпохи.

Герои нашей эпохи — не Штольц Гончарова и не его Петр Иванович Адуев, — да и героиня нашей эпохи тоже — не его

Ольга, из которой под старость, если она точно такова, какою, вопреки многим грациозным сторонам ее натуры, показывает ее нам автор, выйдет преотвратительная барыня с вечною и бесцельною нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающего, одна из жертв Бог знает чего-то. Я почти уверен, что она будет умирать как барыня в «Трех смертях» Толстого... Уж если между женскими лицами Гончарова придется выбирать непременно героиню, беспристрастный и непотемненный теориями ум выберет, как выбрал Обломов, Агафью Матвеевну, — не потому только, что у нее локти соблазнительны и что она хорошо готовит пироги, а потому, что она гораздо более женщина, чем Ольга.

Дело в том, что у самого автора «Обломова» — как у таланта все-таки огромного, стало быть, живого — сердце лежит гораздо больше к Обломову и к Агафье, чем к Штольцу и к Ольге. За надгробное слово Обломову и его хорошим сторонам его чуть-что не упрекнули ярые гонители Обломовщины, которым он польстил и которые — plus royalistes que le roi — яростно накинулись не только на Обломова, но, по поводу его, на Онегина, Печорина, Бельтова и Рудина, во имя Штольца, и самого Штольца принесли в очистительную жертву Ольге. В последнем нельзя с ними не согласиться: Ольга точно умнее Штольца: он ей с одной стороны надоест, а с другой попадет к ней под башмак и, действительно, будет жертвою того духа нервного самогрызения, которое эффектно в ней только пока еще она молода»...

Мы не решились бы привести такую длинную цитату, если бы в ней не отразился весьма любопытный момент в понимании «действительности», в понимании, которое имеет свою длинную историю, далеко еще не уясненную на различных ступенях своего развития. Первая, более или менее осязательная попытка выработать точное принципиально-общественное понятие действительности была сделана

Белинским — именно в ту вторую половину сороковых годов, когда он познакомился с «Обыкновенной историей» и признал за ней важное реалистическое явление, способное внести свежую струю в атмосферу общественного равнодушия и себялюбиво-романтического (вернее, по существу, — сентиментального) застоя. То «новое» понимание действительности, к которому пришел Белинский в конце своих исканий, было воспринято им от Фейербаха. Оно сводилось, в существе своем, к освобождению личности от всего, что, в качестве отвлеченного, абсолютного, составлявшего предмет веры или суеверия, обесценивало ощущаемую реальную жизнь, с ее реальными, практическими потребностями, отвлекало от них внимание, поддерживая суеверное стремление к каким-то иным благам, не заключенным в единую истинную, единую «божественную» сущность жизни.

Божественна сущность жизни, как могучего процесса, уходящего в глубину грядущих веков. Божественна любовь к роду, как орудие этого процесса, как стимул жизни особи для жизни целого. Божественны совокупные усилия людей, направленные к тому, чтобы улучшить внешние и внутренние условия человеческого существования. Вот общая почва, на которой остановилось в последний момент своего развития миросозерцание Белинского. На ней же развился и окреп тот метод мышления, при посредстве которого он рассматривал явления русской действительности. Рассмотрение это открывало в ней такие стороны, с которыми нельзя было мириться ни при каких условиях, которые оскорбляли Белинского, терзали и жгли его сердце. Среди них на первом плане стояло порабощение человеческой личности в общественном строе, сложившемся еще в ту отдаленную эпоху, когда людям была чужда самая мысль общественной справедливости, свободы и равенства. Страстная мечта распространить сознание своих человеческих прав в тех кругах общества, которым это со-

знание было чуждо, заставляла Белинского приветствовать всякое литературное явление, если оно в особенности не только возбуждало идейную борьбу с отрицательными сторонами действительности, но и обнаруживало эти стороны, обнажало скрытую под внешними формами отрицательную сущность. Гончаров для Белинского был именно тем реалистом, который, независимо от своей доброй воли, следуя исключительно инстинкту таланта, делал очевидной истинную неприглядную сущность русского застоя; такой реалист, по убеждению Белинского, был необходим для того, чтобы освободить понимание жизненного процесса от романтической пелены и возбудить протест против того примирения с действительностью, которое он сам так болезненно пережил и так горячо возненавидел. Добролюбов завершил истолкования Белинского в этом смысле.

Белинский сумел отделить творчество Гончарова от личности писателя. На первое он посмотрел, как на подвиг, заслуживающий общественного признания, вторую он оставил в тени. Восторгаясь «Обыкновенной историей», он менее всего был пленен личностью ее автора. И в письмах его к Боткину встречаются отзывы, весьма мало лестные для личного самолюбия Гончарова.

В своем понимании Гончарова Аполлон Григорьев, писавший свою статью в 1859 г., ушел значительно назад сравнительно с Белинским. Проведя довольно неясную параллель между действительностью официальной и бытовой, Аполлон Григорьев вдвинул яркое и многозначительное творчество Гончарова в искусственно построенную схему общественных запросов и ответов, схему, в которой не оказалось места не только для Гончарова, но и для тех основ русской общественной мысли, которые с точки зрения самого же критика должны были делать творчество того или иного писателя общественно ценным. И оттого полемика Аполлона Григо-

рьева с Гончаровым свелась вместо борьбы с установившимся общественно-историческим значением гончаровского творчества к борьбе с какой-то внешней, слабо очерченной коллективной личностью, в которой автору не удалось замаскировать, под призмой общих рассуждений, бестемпераментные, расплывчатые черты самого Гончарова.

Аполлон Григорьев не усмотрел в «Обыкновенной истории» того осмеяния романтической личности, которое одно уже выводит значение гончаровского романа из узких рамок «эпопеи чиновнического воззрения и азбучной мудрости». Также неудачной оказалась и данная нашим критиком оценка «Обломова». Роман польстил, говорит критик, только весьма небольшому кружку людей, которые верят еще тому, что враг наш в деле развития — наша собственная натура, наши существенно бытовые черты, и все спасение для нас сводится к переделке себя по какой-нибудь узенькой теории... Нет, значение романа, как это прекрасно было доказано Добролюбовым, не в том: «Обломов» указал врага, скрывавшегося во мгле общественного сознания; имя этому врагу — равнодушие и спячка лучших людей перед теми громадными задачами преобразовательной общественной работы, разрешения которых требует от них народная совесть и к которым они не умеют приложить своих рук, или изнывая в бесплодных потугах, или окончательно засыпая. Понимая творчество Гончарова в этом смысле, ни Белинский, ни Добролюбов не требовали от писателя того «стремления к идеалу», на котором останавливается Аполлон Григорьев. В данном случае это — дело личной писательской натуры Гончарова, и решать его следует независимо от того, что отразилось в его романах. А. Григорьев не сумел провести тонкой, чисто-психологической грани между личностью художника и его творчеством, иначе он не отнес бы к последнему «апотеозы торжества сухой, безжизненной, безосновной практичности»,

которую скорее можно было бы искать в чертах личного характера писателя, хотя и отраженных в «Обыкновенной истории», но далеко не составляющих душу этого произведения. Аполлон Григорьев, пожалуй, правильно заметил, что в то время, как сознание эпохи шло вперед, сознание автора «Обыкновенной истории», «застряло в Японии», т. е. должно быть признано, по понятиям того времени, отсталым. Но и это замечание критика следовало бы истолковывать лишь в узко биографическом смысле, совершенно независимо от того значения, которое приобрели отраженные художником быт и нравы его времени. Разве мы не знаем и не видим на наших глазах художников, весьма отсталых по своим воззрениям, производящих впечатление очень ограниченных людей, но создающих силою своего дарования произведения необычайные, дающие имя эпохе, их породившей? Аполлон Григорьев не разобрался в этом вопросе, и критика его представляет материал скорее для характеристики Гончарова, чем его творчества.

V

Позднейшая критика. — Статья Д. Мережковского в «Вечных спутниках». — Этюд Ю. А. Айхенвальда о Гончарове. — Роль субъективности в гончаровском творчестве в определении Ю. А. Айхенвальда.

Почетное место отвел Гончарову в «Вечных спутниках» Д. С. Мережковский, среди таких светочей мысли и таланта, как Марк Аврелий, Кальдерон, Сервантес, Достоевский и Пушкин. Очерк, посвященный ему, не вносит нового в изучение Гончарова, но он привлекает внимание живостью и меткостью сделанных в нем наблюдений. Искусным подбором цитат г. Мережковский схематизирует творчество Гончарова, сводит его к ряду теоретических положений, отвечающих тем сторонам русской жизни, поэтом которых

явился Гончаров. Очерк этот красив, не заключает в себе, вопреки обыкновению, ничего парадоксального, но однотонен и прозрачен, как рисунок пером или тушью в одних резких контурах, без теней и переходов. Трезвый художник и критик превосходно отметил трезвость гончаровского творчества. «По изумительной трезвости взгляда на мир Гончаров приближается к Пушкину. Тургенев опьянен красотой, Достоевский — страданиями людей, Лев Толстой — жаждой истины, и все они созерцают жизнь с особенной точки зрения. Действительность немного искажается, как очертания предметов на взволнованной поверхности воды.

«У Гончарова нет опьянения. В его душе жизнь рисуется невозмутимо-ясно, как мельчайшие былинки и далекие звезды отражаются в лесном глубоком роднике, защищенном от ветра. Трезвость, простота и здоровье могучего таланта имеют в себе что-то освежающее. Как бы ни были прекрасны создания других современных писателей, в них почти всегда есть какой-нибудь темный угол, откуда веет на читателя холодом и ужасом. Таких страшных углов нет у Гончарова. Все огромное здание его эпопей озарено светом разумной любви к человеческой жизни».

Крупными и резкими чертами характеризует далее г. Мережковский различные стороны гончаровского творчества, трагизм пошлости, воплощенной в Обломове, поэзию прошлого, художественные мелочи, рассыпанные в романах, подобно «едва заметным каплям росы» на прекрасных лепестках. И, с тонкой наблюдательностью подметив и указав драгоценные капли художественной росы, осыпавшей пышно распустившиеся лепестки творений Гончарова, критик настолько сливается с писателем и в упоении красотой образов, и в его идеологии, что заканчивает очерк свой тою же неразрешенностью, тем же недоумением, с которым расстается с читателем своим и сам Гончаров. Он вспоминает жар-

кую мольбу Веры перед иконой Спасителя древневизантийской работы, и шепот ее, обращаемый, к Марку: «Ужели он не поймет этого никогда и не воротится — ни сюда... к этой вечной правде... ни ко мне, к правде моей любви?.. — никогда! — какое ужасное слово!»

Пересказав все обстоятельства, при которых эти слова вырвались из уст Веры, г. Мережковский готов видеть в эту минуту в Вере прообраз колеблющейся человеческой души.[13] «Эта сцена поднимает читателя на такою высоту, — говорит он, — с которой невольно начинаешь смотреть на Веру, как на воплощение души человека.

Ведь, и она, как Вера, стоит в нерешимости и скорби между двумя безднами. Куда идти? Марк велит разрушить наукой и разумом божественные верования сердца и за них обещает великое счастье на земле. А добрый, таинственный взор Спасителя зовет к себе, к вечному, неземному, к небесной любви...»

Очерк г. Мережковского обрывается там же, где кончается пытливая мысль Гончарова: назади — бесконечная Обломовка, в которую дерзко вторгаются Волоховы своими назойливыми словами о «новой правде», впереди — бездна. Куда идти? Если остаться смотреть глазами Гончарова, — идти некуда...

В первой книге своих «Силуэтов русских писателей», вышедшей в 1906 г., Ю. А. Айхенвальд посвящает один из своих очерков Гончарову. С присущей этому писателю теплотой и красивостью характеризует г. Айхенвальд Гончарова, который, по его выражению, «осененный поэзией тихой мечтательности», «тонко любил жизнь, любил ее всю, во всех ее мелочах и подробностях, но и грустил над нею и тосковал

---

[13] Мережковский, Д. «Вечные спутники», Спб., 1899, стр. 413 и след.

неудовлетворимой тоскою избранников». Следуя своему, давно уже высказанному им в своих очерках взгляду, г. Айхенвальд отмечает то «глубокое недоразумение», благодаря которому русская критика издавна прилагала к нему эпитет объективного. «Между тем, в свои романы Гончаров свою натуру перенес всецело и нисколько не отрешился от себя, когда живописал других людей. У него и помину нет той строгой объективности, которая подавляет в художнике его сочувствия и неприязни и безо всякого заметного посредничества ставит нас лицом к лицу с жизнью и людьми. Мы слишком ясно видим, кого и что он любит, кому он отказывает в своей симпатии; например, рисуя фигуры Волохова и Тушина, он не скрывает, к которой из них лежит его сердце; он ясно разделяет «бабушкину мораль», и не писатель-объективист провожает Веру в обрыв участливой мольбою: «Боже, прости ее, что она обернулась!». Гончаров необычайно субъективен в воспроизведениях своего пера, он и не пытается достигнуть писательского беспристрастия и даже, не умея индивидуализировать слога, заставляет свои персонажи говорить пластическим языком самого автора: ведь, молодой Адуев и Райский, Штольц в своих последних беседах с Ольгой, Обломов в своих тирадах против столичной жизни — все они выражаются одинаково, и все они употребляют те же красивые, стройные, образные фразы, которые спокойно и медлительно текут из уст самого писателя на тех многочисленных страницах, где он прерывает нить непосредственного действия для своих рассуждений и характеристик. Иногда гончаровская речь или отдельная фраза, неосторожно вложенная в уста какого-нибудь героя, даже резко поражает своим несоответствием говорящему лицу; вспомните, например, как Татьяна Марковна в «Обрыве» определяет остроту: «острота фальшива, принарядится красным словцом, смехом, ползет, как змея, в уши, норовит

подкрасться к уму и помрачить его» — разве это бабушкины речи?».

Далее г. Айхенвальд с тактом опытного наблюдателя останавливается на некоторых сторонах творчества Гончарова, на двойственности натуры писателя, на его необыкновенной яркости изображений одних лиц и положений и бледности, «схематичности» других; критик проводит параллель между художественным чутьем Гончарова и его критическими суждениями о себе самом, доходящими до «мелкости» и резонерства, и подводит итог, в котором «благородный строй души и помыслов Гончарова» признается господствующим над воспроизведенной им сонной атмосферой хозяйственного уголка. «И вот, вглядываясь в Гончарова, поскольку он отразился в своих романах, — так характеризует г. Айхенвальд основную черту гончаровской натуры, — мы видим, что он никогда не спешит, не торопится, что это — организация внутренне-оседлая, привязанная к данному укладу жизни, хотя во имя высшего идеала, во имя нравственной красоты, и осуждающая в себе эту цепкую привязанность. Затаенное, но сказывающееся в юморе, борение двух моментов, центростремительного и центробежного, столкновение домоседа и путешественника, — вот что характеризует Гончарова. Конечно, эта разладица и двойственность в большей или меньшей степени свойственна каждому человеческому существу, но у нашего писателя она приобретает особую силу и значительность, потому что начало центростремительное, «земное жизни тяготенье», не только досталось ему в прочное, неизбывное наследство от целого ряда домовитых поколений, но и нашло себе в его собственном сердце исключительно благодарную, хотя уже и облагороженную почву. И потому Гончаров прежде всего — несравненный мастер жанра, и в этой сфере заключается его главная сила».

Гончаров в изображении г. Айхенвальда как будто теряет ту апатичную важность, которая так характерна на его портретах, и становится простым и добрым, во всяком случае — близким сердцу читателя.

VI

Новейшие работы о Гончарове. — Е. А. Бобров и его этюды. — Изыскания А. А. Мазона. — Очерк С. А. Венгерова. — Из отзывов иностранной критики о Гончарове.

Изучение биографического элемента в произведениях Гончарова встретило сильную поддержку в лице Е. А. Боброва, посвятившего ему несколько замечаний в специальном академическом издании.[14] Между прочим г. Бобров, извлек из романов Гончарова черты, относящиеся к характеристике профессоров — Николая Ивановича Надеждина и Ивана Ивановича Давыдова, которых он слушал в московском университете. В воспоминаниях своих Гончаров отзывается о них, в особенности о Надеждине, в высшей степени благоприятно, почти восторженно. Тон воспоминаний Гончарова убеждает г. Боброва, что в них, в главе об университете особенно, Гончаров смягчает краски и вообще ничего не осуждает, но, напротив, защищает многие явления, которые были дороги ему в тот поздний период его жизни, когда он писал свои воспоминания. Г. Бобров замечает, что восторженная характеристика Надеждина, например, не всегда была полным и окончательным мнением Гончарова, что в романах рассыпан целый ряд черточек, указывающих на то, что Гончаров не закрывал глаз и на слабые стороны своих профессоров.

---

[14] Бобров, Е. «Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий». «Извест. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Акад. Наук», 1909, т. XIV, кн. 1, Спб., 1909, стр. 120 и след.

В «Обыкновенной истории» Надеждин изображается, как профессор эстетики Иван Семенович: перемена имени была необходима в виду того, что Надеждин был еще жив, когда писался роман.

Группировка цитат из «Обыкновенной истории» чрезвычайно наглядна. Приведем из нее отрывок для характеристики как интересующего нас вопроса, так и метода исследователя. «При первых же свиданиях с племянником дядя обращает внимание на его façon de parler». «Ты так говоришь»... — «Разве нехорошо?!» — «Нет! может быть, очень хорошо, да дико!» — «У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, — сказал смутившийся Александр. — Как же, дядюшка, мне говорить?» — «Попроще, как все, а не как профессор эстетики». Образчики декламаций Александра Адуева и его изречений, — кроме ставших уже в живой речи нарицательными «вещественных знаков невещественных отношений», приведены такие: «Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею»... — «Дело, кажется, простое, — сказал дядя, — а они, Бог знает, что заберут в голову... «разумно-деятельная толпа»... — «Как, дядюшка, разве дружба и любовь — эти священные чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь»...

«Любовь и дружба в грязь упали! Ну, а как ты эдак здесь брякнешь?!»

«В письме к приятелю своему Александр жалуется на дядю: «Сердцу дяди чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь — и говоришь, как вдохновенный пророк, почти, как наш великий, незабвенный Иван Семенович, когда он, помнишь, гремел с

кафедры, а мы трепетали в восторге»... и т. д. Получается уже под пером Гончарова юмористическая картина; и все это письмо по своему тону есть пародия на превыспренность московских юных эстетиков, поклонников Ивана Семеновича, т. е. Николая Ивановича Надеждина. Дядя, найдя письмо Александра к товарищу, и прочитав его, диктует ему новое, где говорит между прочим: «Дядя не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений потому, что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует и мне, и тебе»...

«Не доверяя собственным силам, Александр хочет побить дядю лекциями Надеждина: «Это что за книгу ты вытащил?» — «А это мои университетские записки. Вот позвольте прочесть несколько страниц из лекций Ивана Семеновича об искусстве в Греции» (курс, читанный Надеждиным). «Александр начал было проворно переворачивать страницы, но Петр Иваныч сморщился и просил его уволить».

«Обнимите меня», просит Александр дядю. — «Извини, не могу!» — «Почему же?» — Дядя пародирует Ивана Семеновича: «Потому что в этом поступке разума, т. е. смысла нет, — или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому».

«Даже и по отношению к самой науке эстетики дядя полагает, что ее Надеждин прочел плохо. «Искусство само по себе, — рассуждает дядя, — ремесло само по себе, а творчество может быть и в том, и в другом. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец — и поэт без творчества уже не поэт, а сочинитель... Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там учились?» Дяде уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной».

«Дядя допытывается у Александра, чему его научили в университете: «Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным?»

«Я знаю, — горделиво отвечает племянник, — богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное право, дипломатию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию...» (последние три предмета Гончаров слушал у Надеждина) — Дядя не придает этим наукам никакого житейского значения и прерывает перечень: «Постой, постой! А умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего». Когда из дальнейшей беседы выяснилось, что Александр знает иностранные языки, дядя порадовался и заметил: «Давеча насказал мне про политическую экономию, философию, археологию (надеждинские предметы), Бог знает про что еще (sic), а о главном ни слова — скромность не кстати».

Путем такого подбора черт г. Бобров приходит к выводу, что «Адуев-Гончаров ни во что не ценит подготовку, полученную юношей в московском университете. Прогресс и самая возможность преуспевания в жизни зависят от того, удастся ли Александру отделаться от восторженного кривлячества и фразистого пустозвонства, которыми заразили его лекции «эстетика» — Надеждина»[15].

Во всем этом вопросе, затронутом, г. Бобровым, две стороны: одна — его общие заключения о ненаучности и мало

---

[15] Замечания на статью г. Боброва («И. А. Гончаров о Н. И. Надеждине» Изв. Отд. руск. яз. и слов. Имп. Ак. Н. 1909, кн. 1.) Н. К. Козмин сделал в т. XIV, кн. 4 того же 1909 г. в академических «Известиях» — «Научная деятельность Н. И. Надеждина в освещении проф. Б. А. Боброва». Труд г. Козмина, посвященный Надеждину: «Николай Иванович Надеждин, жизнь и научно-литературная деятельность», Спб. 1912.

содержательности лекций Надеждина, другая — отражения студенческих воспоминаний Гончарова в диалогах дяди с племянником. Общие заключения г. Боброва оказались мало обоснованными как это было указано П. К. Козминым, посвятившим Надеждину ценную по материалам работу. Надеждин был, по заключению Козмина, основательным ученым умевшим излагать свой предмет толково и понятно для слушателей. Но частные наблюдения г. Боброва не теряют своей цены. Гончаров не делал Петра Ивановича Адуева выразителем исключительно своих личных мнений. Ироническое отношение Адуева к «профессору эстетики» определялось прежде всего общим тоном романа, где контраст двух поколений служил основным психологическим мотивом, на котором развивался юмор. Осмеивая юных романтиков, Гончаров мог заставить Адуева-старшего попутно задеть того или другого из прежних профессоров, но было бы едва ли осторожно полагать, что в насмешках Петра Ивановича находило себе выражение подлинное отношение Гончарова к своим профессорам. Воспоминания мелькали в романе Гончарова подчас весьма ярко, но не менее ярки бывали и те обобщающие краски, которыми он старался затушевать свое личное отношение к предмету изображения.

С 1911 г. стали появляться в России и заграницей ценные изыскания А. А. Мазона, основанные на подробном изучении архивного и вообще фактического материала биографии Гончарова[16]. Первая из работ этого исследователя была по-

---

[16] Мазон, А. «Гончаров, как цензор», «Русская Старина», 1911, март. — Военский, К. «Русский Вестник», 1906, октябрь, стр. 571—619. — Повесть Гончарова «Счастливая ошибка» переведена А. А. Мазоном в чешском журнале «Casopis pro moderni filol. v Praze», 1911, I, стр. 106—111. — О пребывании Гончарова в Сибири, см. А. А. Мазона «Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова», «Русская Старина», 1911, октябрь.

священа выяснению деятельности Гончарова, как цензора, и заключалась в освещении нескольких документов, относящихся к цензурной деятельности Гончарова. Дополняя материалы, известные ранее по тому же предмету, документы, опубликованные г. Мазоном, вносят некоторый свет в самую темную страницу биографии Гончарова — в условия и характер его служебной деятельности.

Следующая работа г. Мазона приподняла завесу истории первых литературных опытов Гончарова. Г. Мазон получил возможность ознакомиться с рукописной тетрадью, принадлежащей семье Майковых, где помещена первая повесть Гончарова под названием «Счастливая ошибка».

Последняя по времени 1911 г. работа г. Мазона, составляющая, надо думать, как бы преддверие к будущей биографии Гончарова, дает ряд материалов, фактическая достоверность которых имеет особую ценность для биографии и характеристики нашего писателя. Здесь г. Мазон исследует, прежде всего, бывшие до последнего времени в тени автобиографии Гончарова, приводит документы, касающиеся увольнения его из московского коммерческого училища, поступления в департамент внешней торговли; из других вопросов, затронутых г. Мазоном в этой статье, особенно ценное освещение приобретают материалы, относящиеся к пребыванию Гончарова в Сибири в 1854—1855 годах.

Для основной цели нашей книги — выяснить биографический элемент в творчестве Гончарова — работы г. Мазона имеют важное значение. Они не только не колеблют проводимой нами коренной идеи о преобладании в этом творчестве субъективно-индивидуалистических отражений над анализом явлений общественного порядка, но, напротив, подобно работам М. Ф. Суперанского, подводят под нее прочный фундамент, обосновывают ее на фактах неоспоримых.

Статья С. А. Венгерова, помещенная в V т. собрания его сочинений, является некоторым анахронизмом в новейшей

литературе о Гончарове. Она, как было уже вскользь упомянуто, явилась переработкой статьи из «Нови» за 1885 г., в № 13, под псевдонимом *Л.* Долины. Работа г. Венгерова полезна для изучения Гончарова, хотя автор и остался в ней старовером, для которого творец «Обыкновенной истории» и «Обломова» все еще является корифеем «объективного» романа.

В начале своей работы С. А. Венгеров задается вопросом, на кого из своих героев похож Гончаров. Рассмотрев общие черты у Гончарова с Обломовым, на которые художник неоднократно намекал и сам, г. Венгеров приходит к убеждению, однако, что Гончаров — не Обломов. Гончаров не напоминает собою Обломова, по мнению г. Венгерова, не только образом своей жизни, но и процессом своего творчества, который был медлителен у Гончарова потому, что требовал громадного труда. «Видели авторскую лень там, где на самом деле была страшно-интенсивная работа».

С. А. Венгеров склоняется к той мысли, что гораздо большее душевное сходство существует между Гончаровым и Адуевым-дядей. Ход рассуждений автора при этом таков. Несмотря на благосклонное в свое время отношение Белинского к личности Петра Ивановича Адуева, позднейшая критика и публика отнеслись к ней настолько отрицательно, что попытка установить сходство между Гончаровым и Адуевым старшим казалась равносильной желанию оскорбить художника. «Но вопроса об оскорбительности подобной параллели не может возникнуть после того, как в авторской исповеди своей («Лучше поздно, чем никогда») Гончаров прямо и непосредственно, без всяких оговорок, расписался в полном своем уважении и преклонении перед трезвым дядюшкой».

Далее исследователь цитирует соответствующие места авторской исповеди и переходит к анализу признаков, устанавливающих сходство художника с созданным им типом.

Характеризуя Гончарова чертами, извлеченными из анализа типа Адуева старшего, г. Венгеров последовательно приходит к упомянутому выше выводу: «В них (т. е. в чертах ума и характера) Гончаров является человеком крайне холодного, безучастного, чисто-адуевского темперамента, который недаром сделал его корифеем «объективного» романа».

Таким образом, г. Венгеров остается на той же точке зрения, на которой он стоял свыше четверти века назад.

За исключением этого вывода, не выдерживающего критики, работа г. Венгерова интересна меткой характеристикой темперамента Гончарова, как писателя и человека. Характеристика эта основывается исследователем на данных гончаровского творчества, с необыкновенной убедительностью доказывающих обратное положение, — именно, что творчество Гончарова достигает художественной высоты и законченности только в тех случаях, где оно по идейному содержанию совпадает с миросозерцанием и темпераментом самого художника.

Если старинные взгляды не совсем исчезли еще из новейших русских работ о Гончарове, то нет ничего удивительного, что иностранная критика, до г. Мазона, придерживалась в суждениях о нашем художнике мнений, укоренившихся со времен Белинского.

В самом деле, нельзя не заметить, просматривая иностранные сочинения о Гончарове, что основывались они, главным образом, не на самостоятельном изучении, а на отзывах русской критики.

Для Е. Цабеля, например, посвятившего Гончарову в своих «Russische Litteraturbilder» (1899) чрезвычайно содержательный и стройный этюд, последний — ist dagegen Dichter im ausschliesslichen Sinne des Wortes, — напротив того, поэт в самом тесном смысле слова чуждый каких-либо предвзятых идей, истиннейший художник и отличается этим от всех

других повествователей своего народа. Все остальные писатели — люди новейшего времени, и изображают Россию, горячо стараясь проникнуться всеми результатами европейской культурной мысли. Один Гончаров — консерватор по миросозерцанию, классик по форме, почитатель и изобразитель старой России с ее коренным раболепством и патриархальным устройством».

М. Вогюэ, в книге «Le roman russe», только упоминает о Гончарове, обещая дать его характеристику в будущем. К. Валишевский, в узко-тенденциозной своей «Littérature russe», посвящает нашему писателю бледную главу, останавливаясь только на «Обломове». Приводя отзыв Белинского о том, что Гончаров — «поэт и ничего больше», Валишевский говорит: «Il voyait juste, l'auteur devait se distinguer de Tourguéniev, comme de Dostoïevski et de Tolstoï, par une absence presque complète de réflexion et d'analyse. La vision de la vie est absolument archaïque et ses idées remontent au déluge».

Очевидно, время известности Гончарова за границей еще только приближается.

VII

Понятия: субъективность и объективность по отношению к творчеству. — Субъективность — отличительная черта произведений Гончарова. — Его собственные замечания по этому вопросу. — «Нарушение воли». — Его сочинения, как материал для доказательства автобиографичности его изображений.

Субъективность и объективность — так ли уж удалены эти понятия друг от друга? и не простая ли здесь игра слов? Попытаемся вкратце, не забираясь в дебри отвлеченностей, разобраться в этих понятиях. Конечно, всякое произведение человеческого ума и таланта, в котором человек является не механическим фактором, отражает на себе личность творца, независимо от предмета изображения или содержания ра-

боты. Если мы будем применять общие психологические начала к суждению о писателях-художниках, то окажется, что объективным нельзя будет назвать ни одного из них, потому что все они сказались в своих произведениях свойственными каждому из них в отдельности отличительными чертами. Но если допустить полное смешение этих понятий, то уничтожится различие в характере творческой работы, например, у Шекспира и Байрона, олимпийца Гете и Достоевского. Работа одних — аналитическая; они творят, разлагая жизнь на мельчайшие атомы; работа других — созидательная, комбинирующая, — они видят простым глазом то, что у других является результатом анализа. Отказаться от этого различия значило бы отнять у исследователя одно из крупнейших приобретений познавательного метода и весьма важное орудие в деле изучения как аналитического, так и интуитивного.

Процесс художественного изображения жизни неизменно совершается по одному из двух путей, совпадающих с теми путями, которые известны в психологии под именем объективного и субъективного методов. Этот психологический принцип, как признаваемый единственно верным, и должен лечь в основу нашего деления. Художник наблюдает или явления жизни во вне, в их материальной сущности, или свое отношение к ним; в первом случае его стремления будут направлены к тому, чтобы отделить собственное «я» от предмета и направить его на самый процесс, на технику работы; во втором — чтобы выразить это «я» как можно полнее, и чем больше это удается художнику, тем больше страдает изображаемый предмет в полноте своих свойств и точности их воспроизведения. От никому неведомых тайников художественного творчества мы переносим центр тяжести к его проявлению, и с этой точки зрения «Капитанская дочка» Пушкина, может быть смело названа идеально-объективным произведением, где личность художника всецело поглощена

творческим мастерством работы, и где, благодаря высокой степени этого мастерства, каждый предмет говорит нам сам о себе, о своей сущности, а не об отношении к нему автора.

Но возьмем для примера стихотворение величайшего лирика русской поэзии — Лермонтова, для которого весь мир был неистощимой сокровищницей символов для выражения его дум, его душевных настроений. Можно ли представить себе нечто внешне-реальное, наглядно-образное в его воздушной и женственно-меланхоличной пьеске «Ангел»:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...
....
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез...

Это не картина, это — райская музыка, цель которой — не *объяснить*, но *дать почувствовать*, чрез посредство «звуков сладких и молитв», всю печаль, все томление души, которой «звуков небес заменить не могли скучные песни земли»...

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом;
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Так определял поэт тревожные порывы в область небесного идеала души, которая «просит бури» и «счастья не ищет», и «не от счастья бежит»... Центр здесь — душа поэта, одинокий парус — символ, сам по себе не останавливающий внимания, как и «туман голубого моря», «струя светлей лазури», «золотой луч солнца» — все это так ничтожно, сравнительно с глубиной и красотой грустного личного чувства поэта, вложенного в эту несложную художественную рамку.

И в то время, как иллюстрировать «Капитанскую дочку» не представляло бы ни малейшей задачи для кисти, всякая попытка дать наглядное истолкование «Ангелу» или «Парусу» свидетельствовала бы о явном непонимании истинного смысла этих пьес; одна музыка, это субъективнейшее искусство, могла бы выразить их господствующее настроение.

Если стремление поглотить собственное «я» процессом работы, направленной на более яркое и выпуклое изображение предмета в его сущности, является первым и основным признаком объективного творчества, то для субъективного художника внешний мир представляется не содержимым, а содержащим, тою суммою внешних условий, среди которых с возможною полнотой и определенностью выражается его «я»; естественно, что в данном случае изображение внешнего мира само по себе отодвигается на второй план. Словом, если рассуждать, таким образом, то как же ответить на вопрос, к какому из двух видов художественного творчества должны быть отнесены романы Гончарова?

Не расходясь с нами в этом понимании объективного и субъективного, критика ставила объективность гончаровского творчества, как мы видели, вне всякого сомнения. Даже более: она упрекала, бранила его за то, что он рисовал все, что подвернется под руку, не определяя вовсе или определяя недостаточно свое внутреннее отношение к предмету изображения. Шелгунов только мимоходом остановился на этом вопросе, и то указал на субъективность Гончарова, как писателя вообще, исходя из общечеловеческих начал и его замечание прошло бесследно, — по крайней мере, оно не повлияло на общеустановившееся мнение о Гончарове, как художнике по преимуществу объективном.

Мы решительно не можем согласиться с этим мнением. Изучение творчества Гончарова в его целом приводит нас к глубокому убеждению в том, что перед нами один из наибо-

лее субъективных писателей, для которого раскрытие своего «я» было важнее изображения самых животрепещущих и интересных моментов современной ему общественной жизни. Первое давало содержание, второе определяло национальный колорит и форму. Гончаров не принадлежал к числу тех творческих натур, которые совмещали в своей деятельности в сознательном гармоническом сочетании запросы современности с индивидуальными стремлениями своего «я», имеющего всегда нечто независимое, органически вырастающее из психологических корней личности, как особь, как характер. Доказательство этой мысли должно выяснить вместе с тем и то сплошное недоразумение между Гончаровым и критикой, которое едва ли возможно объяснить с иной точки зрения, чем наша. Требования, предъявлявшиеся критикой к писателю, которого она признавала бесстрастным и беспристрастным изобразителем общественной жизни, были своего рода Прокрустовым ложем для Гончарова, сторонившегося от этой жизни и рисовавшего только «свою жизнь и то, что к ней прирастало».

Это — подлинные слова Гончарова. Он высказал их в своей авторской исповеди тогда, когда современные ему критики сошли уже с жизненной сцены. «Лучше поздно, чем никогда» — таково заглавие этой исповеди, и по отношению к Гончарову это заглавие имеет поистине знаменательный смысл. Не будь этой исповеди, у нас не было бы до последнего времени одного из наиболее веских свидетельств справедливости нашей мысли. В самом деле, прислушаемся к тому, что говорит в заключительных строках исповеди сам писатель о своем творчестве. «Напрасно некоторые предлагали задачи для романа: «Опишите такое-то событие, такую-то жизнь, возьмите тот или другой вопрос, такого-то героя или героиню!»

— «Не могу, не умею! — восклицает в ответ на это Гончаров. — То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, — то недоступно

моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, что любил, что близко видел и знал»...

Эти слова огромной цены и значения для уяснения творчества Гончарова. Они же были и последними словами его, как писателя. В них звучит своего рода завещание, обращенное к нам, представителям следующих за ним поколений. Мы должны выполнить по отношению к писателю то, что не было сделано при его жизни. «Напрасно я ждал, — говорит он в другом месте о скрытом смысле своих произведений, — что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое. Но этого не было»...

Лица, знавшие Гончарова, пользовавшиеся его доверием и дружбой, конечно, могли бы многое уяснить и в творчестве, и в личности его и, в частности, разрешить загадку его запрета, наложенного им на частные, биографические и автобиографические документы. Однако, таких воспоминаний, воспоминаний, ярко и проникновенно характеризующих Гончарова, вообще появилось мало. Опубликование его писем бесспорно факт, в котором логика истории оказалась сильнее личной воли писателя. Письма эти, при всем их громадном безотносительном интересе, имели для нас, для основной темы нашей книги, второстепенное значение, они несомненно внесли немало новых черт в понимание Гончарова и как художника и как человека. Однако склад гончаровской личности — строй его мыслей и чувств — сказался в письмах гораздо бледнее, чем в его сочинениях, и тот высокий лиризм, который одухотворял лучшие страницы его романов, ни в одном из известных нам писем не поднялся над уровнем приветливой доброты старика, недовольного всем миром, и только для ближайших друзей сберегающего маленький оа-

зис в своей душе. В письмах своих, капризных по тону, то меланхолических и ворчливых, то светски любезных и остроумных, Гончаров был не более субъективен (или объективен, по терминологии старой критики), чем в своих романах; редко показывались нам они тою исповедью души, которая знаменует собой горячее и непосредственное излияние переполнившего душу чувства. Многие из них производили на нас впечатление скорее художественных творений по своей законченности и красивой меткости выражения, чем невольного отражения души, чем отблеска мысли, не отточенной размышлением и навыком.

Не говорим мы также об историческом значении писем Гончарова, об установлении точных хронологических дат и мест его пребывания, а также и тех свидетельств, которые необходимы для построения его фактической биографии. Мы вполне понимали, например, г. Суперанского, который, в противовес отчасти неверным, отчасти недоброжелательным сообщениям племянника Гончарова об его великом дяде, должен был прибегнуть для восстановления истины ко всем имевшимся в его распоряжении данным, в том числе и к письмам Ивана Александровича. Мы вполне понимали г. Мазона, который печатал из архива цензурного ведомства материалы, относящиеся к служебной деятельности Гончарова, так как для деятельности этой наступила история, к которой вопрос о нарушении воли не имеет никакого отношения. Все это является крайне важным для изучения жизни писателя. Но та сторона, которую нам хотелось бы разъяснить в его творчестве, не нуждается ни в распространительном толковании гончаровского завета относительно его писем, ни в самих этих письмах, поскольку они не сделались общим достоянием. То, что является для нас исчерпывающим материалом в наших доказательствах и рассуждениях, открыто всем и каждому: это его сочинения, которые он лелеял в своей душе, любовно создавал и с надеждой и страхом отдал родине.

В них он оставил живой отпечаток своей личности, рассказал подробно до мелочей свою жизнь и то, «что к ней прирастало. В них он выразил себя и в том смысле, как это понимал, хотя и не признавал за ним Писарев. Личность художника интересовала его по преимуществу как «личность, чувствующая потребность высказаться, следовательно, воспринявшая в себе ряд известных впечатлений и переработавшая их силой собственной мысли». Именно таким образом, по нашему мнению, выразил себя Гончаров в своих сочинениях, и нам остается лишь извлечь из них данные для его характеристики и, дополняя их сведениями его внешней биографии, раскрыть доступные анализу внутренние стороны его нравственного облика.

Эта задача и составляет существенную часть нашей работы.

В зависимости от нее, нас будет интересовать ближайшим образом то, что касается личности Гончарова. Мы постараемся сосредоточить преимущественное внимание на тех чертах его сочинений, которые носят, по нашему мнению, автобиографический характер — то, что «прирастало» к Гончарову. Непосредственное отражение известной общественной среды имеет для нас второстепенное значение, но и в этой области мы постараемся сгруппировать все известные нам данные, поскольку они будут иметь значение для характеристики тех условий, в которых рос и развивался Гончаров.

VIII

(Отражение личности Гончарова в его произведениях). — Обстановка детства. — Параллели. — Ранние впечатления. — «Неясное представление об Обломовке». — Семейная атмосфера. — Религиозность.

Недостаток сведений о родовом происхождении и жизни Гончарова несколько восполнен в последние годы. Так, были опубликованы «Летописец», который велся в семье Гонча-

ровых в течение нескольких поколений, затем автобиографические записки Ивана Александровича, ряд его писем к разным лицам и воспоминания о нем. Это внесло известную ясность в характеристику тех родовых и семейных традиций, среди которых воспитался Гончаров[17].

«Летописец» был начат дедом писателя, Иваном Ивановичем Гончаровым, в 1732 г.[18] Большую часть его занимает «Книга, глаголемая о вольной страсти и о распятии на кресте и о тридневном воскресении Господа нашего Иисуса Христа». Затем идут другие списки, произведения религиозного характера. Собственно «Летописец» помещен вначале и представляет собою повременные записи о событиях семейной жизни, редких явлениях природы и крупнейших политических фактах. Это была типичная старинная книга, конечно, в кожаном переплете, с медной застежкой, одна из тех многочисленных и, к сожалению, исчезающих семейных книг, значение которых начинает выясняться в наше время, и место которых уже не в редеющих дворянских усадьбах, а в музеях. В музее симбирской архивной комиссии хранится и «Летописец» Гончаровых.

---

[17] Писарев, Д. И. Полн. собр. соч., изд. Павленкова, Спб., 1894, т. I. «Писемский, Тургенев и Гончаров», стр. 446.

[18] Летописец» Гончаровых опубликован М. Ф. Суперанским «Ив. Ал. Гончаров и новые материалы для его биографии». «Вестник Европы», 1907, февраль, стр. 574—577. Там же, стр. 581—583, напечатана одна из автобиографий И. А. Гончарова, написанная им для «Сборника исторических и этнографических материалов Симбирской губ.» за 1868 г. Она была послана Гончаровым в Симбирск 29 декабря 1867 г. Другая автобиографическая записка Гончарова была им написана анонимно для «Русского художественного листка» Тимма, в 1859 г., № 14, стр. 37—38. Подробно о ней см. статью А. А. Мазона «Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова», «Русская Старина», 1911, октябрь, стр. 35—40.

Дед Гончарова проходил служилую дворянскую карьеру, о которой в «Летописце» имеются характерные записи под 1742 г. «Пожалован я из полковых писарей во аудиторы 1738 г. июня 28 дня, а из аудиторов в поручики 1742 г. марта 18 дня и поручицкий патент дан от военной коллегии июля 16 числа 1743 г., за подписями господ фельдмаршала князя Долгорукова, генерал-майора Ивана Козлова и секретаря Стефана Тарасова, и за государственной печатью, под № в военной коллегии 476, в коллегии иностранных дел 866». В 1745 г. И. И. Гончаров был пожалован капитаном, в 1746 — к капитанскому чину был получен патент... Дальнейших сведений о служебной карьере нет, но параллельно идут записи о многочисленных рождениях и смертях во младенчестве детей. В 1754 г. родился отец писателя, Александр Иванович, о котором сведений сохранилось очень немного. Он был женат дважды. Первая жена его, Елизавета Александровна, умерла в декабре 1803 г., а в сентябре 1804 г. Александр Иванович женился на Авдотье Матвеевне Шахториной, от которой 6 июня 1812 г. родился будущий писатель Иван Александрович. До него родилась и вскоре умерла дочь Елена, затем сын Николай, бывший впоследствии учителем симбирской гимназии, и дочь Мария, скончавшаяся младенцем; моложе Ивана Александровича были: Александра (впоследствии по мужу Кирмалова) и Анна (по мужу Музалевская) Александровны. Александр Иванович умер 10 сентября 1819 г.

Из этих и из других сведений, заключающихся в «Летописце», видно, что уже дед нашего писателя принадлежал не столько к купечеству, сколько к кругу служилого дворянства. Состоя на военной службе в оренбургском крае при Иване Ивановиче Неплюеве; он из полковых писарей дослужился до офицерских чинов — поручика и капитана. По характеру записей видно, что был человек, интересовавшийся явлениями природы и общественной жизнью, религиозный и

начитанный в духовной литературе. Феодора Феодоровна была второю женою Ивана Ивановича, который после ее смерти был женат еще один раз.

Таковы краткие сведения о роде Гончаровых.

Иван Александрович, как было выше упомянуто, родился 6 июня 1812 г. Постараемся, возможно, отчетливее представить себе ту обстановку, где родился и провел детство Гончаров. Это была обстановка приволья и свободы купеческо-помещичьей жизни первых десятилетий прошлого века, но без причуд и родовитой опеки крепостного дворянства. У Гончаровых была целая деревня, настоящая деревенская усадьба в городе: дом — полная чаша, дворы, амбары, людские, погреба, ледники со всевозможными запасами, обширная дворня, полное хозяйство, — словом, всем и каждому в этой семье жилось привольно и сытно, и самое крепостное право, благодаря влиянию города и общему мирному настроению, теряло свой мрачный колорит. Во всяком случае, оно не оставило в душе мальчика тех острых и жгучих впечатлений, какими судьба так щедро наградила, например, Тургенева.

Не трудно заметить, что к подобной же обстановке, мягкой и усыпляющей, нисходят корнями своими и все близкие (и даже очень) родственники Гончарова — Сашенька Адуев, Ильюша Обломов, Борис Райский. Молодой Адуев, переживая, как впоследствии Гончаров, первые впечатления провинциала в Петербурге, с отрадой вспоминает «свой город», домики с остроконечными крышами, палисаднички, голубятни, домики-фонари, домики с флигелями-будками, — «этот весь спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, — искушение мальчишек ... Присутственные места — так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит... А пройдешь там, в городе, две, три улицы, уж и чуешь вольный воз-

дух; начинаются плетни, за ними — огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука — и на улице, и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей»...

В том же виде застает «свой город» и Гончаров, когда приезжает, по окончании университетского курса, на родину. Те же дома и домишки, палисадники, заборы, присутственные места. Ребятишки, если не пускают змей, то «среди улицы располагаются играть в бабки». У забора — коза, одна из тех, которых видел Адуев, — щиплет траву...

Приезжает в тот же город и студент Райский. Дом его — тоже «маленькое имение», у самого города, с превосходными видами на Заволжье и страшным обрывом, куда, между прочим, не пускали в детстве и Ильюшу Обломова. «Какой Эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве, и где потом он гостил мальчиком иногда, в летние каникулы! Какие виды кругом — каждое окно в доме было рамой своей особенной картины! С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжьем; с другой — широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и все это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купанья, пробегает по телу дрожь бодрости». В этом Эдеме, как в «Грачах» Адуева, в «Обломовке», наконец, в усадьбе Гончаровых, — на первом плане — хозяйство, козы, куры, повара, дворня, «баловство», которое охватывает юношей, «как паром» — сладкой негой внимательности и ухода. «Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, — где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда — и все не наглядятся на меня».

Это говорит Гончаров о своем возвращении на родину из столицы. Но таково же было и его детство, рассказанное в «Обломове»; няня, упомянутая выше, была та же самая няня, которая смотрела за маленьким Обломовым и не пускала его в овраг и на галерею, как не пускали и Гончарова лазить по деревьям, по крышам или взбираться на колокольню.

Гончаров был в детстве, по его же словам, зоркий и впечатлительный ребенок. У него тогда уже, среди этого беззаботного житья-бытья, безделья и леженья, зарождалось неясное представление об «обломовщине». Столь же зорким, «ничего не пропускающим» и впечатлительным ребенком был Ильюша Обломов: «ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей». Ни одна черта, ни одна особенность не ускользает и от наблюдательного взора Райского; по тому, как он ведет себя в школе и относится к объяснениям учителя, можно с уверенностью сказать, что его наблюдательность, в связи с некоторой не то рассеянностью, не то распущенностью талантливого барчука, развилась под знойными лучами обломовского солнца, под стук ножей обломовской кухни. Дома, в Обломовке, он оставил няню, Захарку, Антипа, Аверку (Акимку-повара — в «Воспоминаниях»), Арапку, которых он в точности изучил и запомнил; в школе он тем же переимчивым взором наблюдает учеников и учителя. «И доску, на которой пишут задачи, заметил, даже мел и тряпку, которою стирают с доски. Кстати, тут же представил и себя, как он сидит, какое у него должно быть лицо, что другим приходит на ум, когда они глядят на него, каким он им представляется».

Кроме Обломовки в городе, Гончарову была знакома Обломовка-деревня. Обломовка романа принадлежала, рассказывает автор, издавна роду Обломовых; рядом с ней лежало

сельцо Верхлево, которым владел богатый помещик, никогда не показывавшийся в свое имение. В этом имении управляющим был немец Штольц, открывший у себя пансион для обучения детей окрестных помещиков. Мы можем дать более определенные сведения об этом имении — оно находилось на правом берегу Волги и принадлежало княгине Хованской. Там существовал и пансион, куда был отдан маленький Гончаров, но учил в нем не немец Штольц, а священник Троицкий, воспитанник казанской академии, человек просвещенный и, можно думать, широко образованный; немцу Штольцу соответствовала немка (по девической фамилии Лицман), жена священника, учившая детей немецкому и французскому языку. И маленький Обломов, и Райский немногому научились в этой школе; едва ли многому научился в ней и Гончаров, хотя он и относился к воспоминаниям о ней с видимой симпатией. «В этом оригинальном пансионе Иван Александрович выучился французскому и немецкому языку, — читаем мы в воспоминаниях Потанина, — а — главное — нашел у «батюшки» библиотеку и принялся опять читать усердно[19]. В библиотеке батюшки было все: «Путешествие Ку-

---

[19] Потанин, Г. Н. «Воспоминания о Гончарове». Исторический Вестник», 1903, апрель. Сам Гончаров рассказывает об этом в напечатанной А. А. Мазоном автобиографии: «Там первые книги, попавшиеся Гончарову в руки, вне классов, были сочинения Державина, которые он и переписывал, и учил наизусть, потом Фон-Визина «Недоросль» («Бригадира» не давали), Озерова и Хераскова (последнего и тогда одолеть он не мог, несмотря на детскую неразборчивость), далее, несколько детских книжек естественной истории, наконец путешествие Кука вокруг света и Крашенинникова в Камчатку. Тут же находя в лакейской дома у себя сказки о Еруслане Лазар(евиче), Бове Корол(евиче) и другие, читал и их. И так чтение продолжалось без системы, без указания, с поглощением всего более романов (Коттен, Жанлис, Радклиф в чудовищных переводах), путешествий, описаний неслыханных происшествий, всего, что более действует на воображение».

ка» и «Сатиры» Нахимова, Паллас и «Саксонский разбойник», Ломоносов и «Бова королевич», Державин и «Еруслан Лазаревич», Фонвизин, Тассо и детские рассказы Беркеня, Карамзин и мрачные подземелья Ратклиф, история Ролленя, «Ключ к таинствам древней магии» Эккартсгаузена — все это было прочтено восьми-девятилетним Гончаровым».

Священник княжеского имения напоминает верхлевского старика Штольца. «Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Ильюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлева. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы простиралось и на Верхлево», ум и сердце Ильюши исполнились картин и нравов этого быта прежде, чем он увидел первую книгу. И не одного Ильюши, — таков же был и сам Гончаров: эти картины и нравы окрасят собою все творчество будущего писателя и определят его наиболее положительные жизненные — если не идеалы и стремления, — то привычки и вкусы.

Впоследствии, уже на склоне лет, писатель даст себе отчет в этих впечатлениях, когда выразит, в своих воспоминаниях, веское предположение о том, что у него, «очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде всех этих фигур (Якубова и соседей-помещиков), этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья, и зародилось неясное представление об обломовщине».

В воспоминаниях этих будет много искренности и теплоты. Нежностью признательности и любовью откликнется душа Гончарова на любовь и ласку, испытанная в раннем детстве, всякий раз, как память воскресит перед ним образ его покойной матери. Она была разумно строга и добра, по отзыву писателя, и последнее свойство, синоним безграничной материнской любви, станет исчерпывающим и неизменным признаком, как только Гончаров приступит к изображению личности матери в семейной обстановке героев.

Слепая, беззаветная, бесконечно-нежная любовь — коренная черта в отношениях матерей Александра Адуева и Ильи Ильича, сближающая образы этих женщин до полного совпадения. Воспоминания о матери являются у них наиболее трогательными и заветными, проникнутыми грустью сожаления о невозвратной утрате. Переходя во второй период сознательной жизни, когда впереди слышатся шорохи прозаической старости, а позади остаются раскаяния и разочарования, Александр Адуев мысленно пробегает свое детство и юношество до поездки в Петербург, вспоминает, как ребенком он повторял за матерью молитвы, и она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым ... Указывая на звезды, она говорила мальчику, что это — очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей; небожители плачут, когда злых дел окажется больше, чем добрых, и радуются, если добрые возьмут перевес. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион ... Милая, наивная вера, трогательные суеверия детских образов — в них было много теплоты и поэзии, и Александр, с искренним вздохом, посылает привет этим воскресшим отзвукам прошлого.

Вспоминает молитвы с матерью и Илья Ильич Обломов. Тогда, поглощенный детскими мыслями о предстоящей прогулке, он «рассеянно» и «вяло» повторял слова молитвы, но мать «влагала в них всю душу», и эти детские впечатления не прошли бесследно. «Обломов, увидев давно-умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы». Нежным чувством проникнуты и воспоминания Райского о матери, но в них нет уже этой непосредственности и жизненности, как в Обломове.

Иван Александрович не ушел далеко от своих предков в этом отношении, а все Гончаровы были очень религиозны, —

у некоторых членов их рода религиозность доходила до мании. Таков был брат писателя, вынесший эту черту, несомненно, из родительского дома и впоследствии развивший ее до крайности. Сын его, Александр Николаевич, с ужасом вспоминал хождения по церквам после систематических субботних порок и пинки в поощрение молитвенного усердия[20]. Отец Ивана Александровича был очень благочестив и слыл в городе «старовером». В доме находили приют юродивые; стекались и множились рассказы о святых местах, чудесах, исцелениях. В комнате у матери, Авдотьи Матвеевны, был большой киот, перед которым горела синяя лампадка. «Из старого гончаровского наследства, — рассказывал Александр Николаевич, — всем нам досталось по два, по три образа. Я получил два образа, из которых один — образ Спасителя, в тяжелой позолоченной ризе. У Ивана Александровича, на Моховой, в задней комнате также было несколько образов из старого гончаровского дома».

Стало быть, и эта семейная черта — религиозность, по крайней мере, в ее внешних проявлениях, не прошла не отмеченной в творчестве художника-Гончарова и повела к созданию страниц, проникнутых грезами благоговейного умиления из золотого царства детских снов.

Происхождение этой черты в творчестве понятно. Религиозность была одним из первых внушений, воспринимавшихся детским сердцем в атмосфере гончаровского дома. В это чувство влагалась любовь к Богу за те блага, которые дарил он миру в пределах гончаровского кругозора, и страх перед неведомой громадной жизнью, которая была за этими пределами и казалась наполненной суеверными призраками,

---

[20] Воспоминания племянника И. А. Гончарова, Александра Николаевича Гончарова, опубликованы М. Ф. Суперанским: «Ив. Ал. Гончаров и новые материалы для его биографии», «Вестник Европы», 1908 г., ноябрь, стр. 13—38.

ужасами и чудесами. «Населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни бред, беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса Кирибитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром...»[21]

Школа должна была наполнить душу иным содержанием, уложить религиозный порыв в иное извилистое русло и изгнать из представления о жизни те страхи и призраки, которые туманили детскую голову легендой и сказкой. Для нашего писателя решительный поворот в этом направлении наступил с того дня, когда он был отдан в московский коммерческий пансион. В семейном «Летописце» оказалась по этому поводу следующая запись, сделанная рукою Авдотьи Матвеевны: «1822 года, июля 8 числа, отправлен Ваничка в Москву, а определился в коммерческое училище августа 6 дня». Но религиозное чувство он сохранил навсегда. По словам его племянника, Николая Гончарова, «религиозные воззрения его сложились под влиянием домашней, «византийской» обстановки и взглядов его матери Авдотьи Матвеевны. Эту религию он и сохранил до конца своей жизни»...

IX

(Отражение личности Гончарова в его произведениях). — Гончаров в коммерческом училище. — Умственные интересы юноши. — Путешествия, фантастические сочинения. — Влияние Якубова. — Параллели.

У нас мало сведений о пребывании Гончарова в коммерческом училище. Мы знаем только, что при вступлении туда он не должен был чувствовать себя одиноким: там был его брат Николай, поступивший в училище двумя годами ранее

[21] М. Ф. Суперанский, там же, 1907, февраль, стр. 577.

его. По сопоставлению с воспитанием героев в его романах, можно предположить, что в годы своего пребывания в коммерческом училище Гончаров отличался односторонне развитыми способностями, большой памятью зрительного типа, большой восприимчивостью к художественным впечатлениям, — он схватывал на лету все дававшееся непосредственному чутью или требовавшему повышенного развития фантазии и, напротив, был едва ли особенно успешен в науках отвлеченных и точных. Вообще он должен был учиться, подобно Райскому, неровно и капризно; но пытливость опять-таки не отвлеченная, но интуитивно художественная была развита и требовала пищи и воображению и сердцу. Книги, наполненные образами и картинами, волновавшие чувство изображением то страстей, то нежных ощущений и романтических порывов, оказывали чарующее влияние и открывали перспективы далеких миров, радужных и блестящих, вроде тех грез, которые заливали его впечатлительную душу при воспоминании о рассказах Трегубова. И все вместе — и безопасные бури отроческой мечтательности, и сам собой совершавшийся рост умственных и душевных сил, и письма с родины, отзывавшие хлебным зерном и запахом Волги, — все это должно было складываться в одно рассеянное, смутное, тревожно-художническое настроение, которое не вязалось как-то ни с ровным усердным прохождением курса, ни с благополучным окончанием экзаменов, этой предельной черты напряженных ученических ожиданий. Курса Гончаров и на самом деле не кончил. Почему? — об этом в дошедших до нас документах говорится глухо. Постановлением совета училища от 13 сентября 1830 г. было решено: вследствие прошения матери Гончарова, сославшейся, в числе других причин, побуждавших ее взять сына из училища, на расстройство своих денежных средств и невозможность платить за сына, «из числа полных пенсионеров сего училища уволить, из списков исключить, об учении и пове-

дении снабдить надлежащим свидетельством». Мы тем более считаем себя вправе характеризовать строй души Гончарова во время пребывания его в училище чертами психологической аналогии из его романов, в данном случае «Обрыва», что на них Гончаров как бы сам указывает в одном месте своей автобиографической записки. Объясняя мотивы, по которым он не касался в этой записке воспоминания о своих отроческих годах, Иван Александрович писал: «Прохожу молчанием некоторые подробности детского и юношеского возрастов, которые имею в виду употребить в дело в одном из своих будущих сочинений, если ему суждено состояться».

К позднейшим «Воспоминаниям», как думает А. А. Мазон, эти слова не могли относиться.[22] Готовиться к ним по-

---

[22] Мазон, А. А. «Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова», «Русская Старина», 1911, октябрь, стр. 41—42. Приводим полностью это постановление совета училища:

«1830-го года сентября 13 дня. В субботу. В Совете Московского Коммерческого училища прибыли господа: Градский Глава Мазурио, Непременный Почетный Член и Кавалер Куманин, Помощник Градского Главы и эконом Спиридонов, Почетные Члены: Коммерции Советники: Москвин н Петров, Селивановский и Куманин, да Директор Коллежский Советник и Кавалер Каменецкий, по полуночи в 9-ть часов.

Слушав присланное в сей Совет от Симбирской купеческой вдовы Авдотьи Матвеевны Гончаровой прошение, в котором прописывает, что в августе 1822 года записан был в число полных пансионеров сего Училища сын ее Иван, который по трудной болезни брата своего Николая, обучавшегося также в сем Училище, должен безотлучно находиться при нем; а как окончания сей болезни предвидеть невозможно, да и по расстройству коммерческих дел ее, Гончаровой, она не в состоянии будучи продолжать платы пансионных денег за сына своего Ивана Гончарова, просит Совет уволить его из Училища и исключив из списка пансионеров снабдить его об обучении и поведении надлежащим свидетельством.

добным образом было и преждевременно и психологически необъяснимо: Зачем понадобилось бы Гончарову выделять для будущих «Воспоминаний» период жизни, ничем не замечательный, и упоминать о том в печати, что было далеко не в духе Гончарова? По внутреннему смыслу приведенной цитаты видно, что она заключала в себе намек на нечто, уже существовавшее в бумагах художника, нечто подготовленное и отложенное для зреющего романа. Этим «нечто» только и могли быть в конце пятидесятых годов, когда он писал эту автобиографическую записку, наброски к отдельным частям «Обрыва», который давно уже — около десяти лет — носился в воображении Гончарова, но для окончательной обработки ждал своей очереди, пока заканчивался «Обломов».

Не могла, наконец, относиться к «Воспоминаниям» и осторожная фраза Гончарова: «если ему суждено состояться». К тем эскизным и большею частью внешним воспоминаниям, которые оставил после себя Гончаров, готовиться было не нужно: такие воспоминания рассказываются непосредственно, просто, излагаются так, как они складываются в голове в минуту рассказа. Иное дело приберечь материал для испол-

---

По справке с делами Совета оказалось, что сын умершего Симбирского купца Александра Ивановича Гончарова Иван в августе 1522 года, записан был в число полных пансионеров сего Училища, и продолжал в оном учение по 26 июня сего года, и деньги за обучение и содержание его по 22-е июля сего ж года получены. Положили: На основании 5-й статьи Высочайше утвержденного плана и по уважению причин, изложенных в прошении Симбирской купеческой вдовы Гончаровой, сына ее Ивана Гончарова из числа полных пансионеров сего Училища уволить, из списков исключить, об учении и поведении снабдить надлежащим свидетельством.

Подлинный подписали: Алексей Мазурин, Константин Куманин, Христофор Спиридонов, Александр Москвин, Андрей Петров, Семен Селивановский, Александр Куманин, Директор Тит Каменецкий. Секретарь Совета Никита Гольтепов».

нения того замысла, который уже со всею силою страсти овладевал Гончаровым, когда он работал над «Обломовым» и, по признанию художника, даже отчасти мешал этой работе, — в характеристике юношеских лет Райского мы находим еще один пример того, как личная жизнь Гончарова переливалась в образы создававшихся им типов.

Попытаемся проникнуть в умственные интересы и мир впечатлений и образов Гончарова в его детские и юношеские годы.

Каким был Гончаров в школе Троицкого и позже, в московском коммерческом училище, можно с значительной достоверностью судить по отроческому портрету Райского. Восприимчивость, наблюдательность художественная жилка — вот его существенные черты, если не считать еще более существенной и объединяющей — избалованности упитанного и добродушного барчука. И Гончаров искренно высказывался за баловство, как элемент, необходимый в детском воспитании. «Оно порождает в детских сердцах благодарность и другие добрые нежные чувства, — говорит он в своих воспоминаниях. — Это своего рода практика в сфере любви, добра». Гончаров рассказывает о первых шагах школьной жизни Райского. Мальчика приводят в класс. Он, прежде всего, стал разглядывать учителя, какой он, как говорит, как нюхает табак... Учитель стал объяснять ему задачу, и — «ничего не ускользнуло от Райского, только ускользнуло решение задачи».

Зато Райский любил читать книги, и читал приблизительно те, которые нравились самому Гончарову. Райский читал «со страстью» историю (но непременно в картинах), эпопею, роман, басню, особенно фантастическую, и не любил «умозрений», как не любил их всю жизнь и Гончаров, — за то, что они увлекали его из мира фантазии в мир действительности. Чтение маленького Гончарова составляли по преиму-

ществу солидные сочинения по истории и литературе. Под руководством священника, о котором говорилось выше, он прочел Державина, Хераскова, Озерова, из исторических сочинений — Роллена, Голикова, из путешествий — Мунго-Парка, Крашенинникова, Палласа; дома природная склонность к фантастическим вымыслам находила богатую пищу в романах г-жи Радклиф и мистике Эккарстгаузена; не обошлось дело и без сентиментальных романов г-жи Жанлис, хотя едва ли они могли иметь большой успех у Гончарова. В домашнем же быту, в кругу соседних помещиков, Гончарову приходилось слышать чтение Вольтера («Генриада») Расина и Корнеля. Этих же авторов будут читать, как увидим ниже, и его герои.

Путешествия составляли, по-видимому, любимейшее чтение юноши. Они удовлетворяли ту особую форму любознательности будущего художника, которая ищет не точного знания, а общего и непременно картинного представления и вместе с тем шевелит воображение, будит мечты. Таков был и Райский, который, по отзыву Гончарова, «и знание не знал, а как будто видел его у себя в воображении, как в зеркале, готовым, чувствовал его и этим довольствовался, а узнавать ему было скучно»... И Райский более всего любил читать путешествия и книги фантастического содержания. «Освобожденный Иерусалим», в переводе Москотильникова, Оссиан, позже — Телемак, Илиада уносили его далеко от действительности, захватывали в свою чудесную сферу, очаровывали, почти опьяняли: снились ему «горячие сны» о далеких странах, необыкновенных людях, дивных красотах природы, и весь он «внутренне разрывался от волнения», когда читал. Те же вкусы к чтению отличали и близкого родственника Райского — Илью Ильича Обломова, только разница в темпераментах сказывалась на Обломове меньшей восприимчивостью к чтению. И он любил читать путешествия, хотя злополучного

«Путешествия в Африку» так и не дочитал до конца. Вообще же его утомляли серьезные авторы, «мыслителям не удалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам». Няня в детстве нарассказала ему столько чудных преданий и сказок, что он никогда не мог освободиться из-под их волшебного обаяния: «сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка»...

Иногда возможно бывает найти в обстоятельствах раннего детства источник подобных настроений, остающихся в душе на всю последующую жизнь.

У маленького Гончарова страсть к чтению путешествий объяснялась не только природной склонностью. Ее развил, если только не вызвал, «крестный» Ивана Александровича, Николай Николаевич Трегубов, после смерти отца свой человек в доме Гончаровых, принимавший большое участие в воспитании мальчика. Гончаров называет его Петром Андреевичем Якубовым. Это был просвещенный по тому времени человек, с задатками добродушного барства, отставной моряк, много видевший на своем веку. Он беседовал с юным Гончаровым о математической и физической географии, астрономии, позже навигации, знакомил его с картой звездного неба, объяснил все то, чего не могли объяснить в школе. В числе книг Якубова были описания всех кругосветных плаваний, и Гончаров признается, что он «зачитывался» ими и «жадно» поглощал рассказы старого моряка.

Вот как рассказывал об этом Якубов, в передаче очевидца: «У кумушки моей была четверка детей; мы разделили их поровну: ей парочку девчат, мне пару ребят. С пелен я принял их на себя и сам учил грамоте с аза. Коля и Ваня были умные детки, с головой. Только Коля был какой-то сонный: не поймешь, бывало, что с ним такое? — вечно рассеян; слушает — не слышит; скажешь что — не поймет; рассказывать начнет —

переврет, — так и махнешь рукой. Одно в нем было удивительно: огромная память. Сколько стихотворений он знал в детстве и, представьте, все отлично декламировал! А Ваня мой не такой, — этот не заснет, нет! Этот был мальчик живой, огонь. Бывало, как начнешь рассказывать что-нибудь из моих скитаний по белу свету, так он, кажется, в глаза готов впрыгнуть, так внимательно все слушает, да еще надоедает: «крестный, скажи еще». Так, бывало, и пройдет весь день с ним в болтовне. Лет шести, верно, я выучил его грамоте, а уж и не рад, как он начал читать! Вообразите... такой-то клопик заползет ко мне в библиотеку и торчит там до тех пор, пока насильно его вытащат есть или пить. Бывало, пойдешь полюбопытствовать, не заснул ли там мой сынок — куда-с!.. Заглянешь в книжку к нему — точит какое-нибудь путешествие!... и тут же начнет лепетать: живо расскажет, что ему особенно понравилось. Больше всего любил он морские путешествия; об них он всегда азартно мне рассказывал. Бывало, восторженный, бежит с Волги и кричит с улицы: «Крестный! я море видел. Ах, какая там большая, светлая вода прыгает на солнце. Какие большие корабли с парусами!» — «Какое море твоя Волга? Ты теперь понять еще не можешь, какое большое бывает море», — ответишь ему. Так что вы думаете он целый день после того покою мне не даст: скажи да скажи, какой длины море бывает! А что я скажу ему, положим, о Великом океане, когда человечек еще понятия не имеет, что такое аршин или вершок? А как скажешь ему, бывало, на ребячьи восторги его: «ах, Ваня, Ваня, если б ты сделал со временем хоть одну морскую кампанию, то-то порадовал бы меня, старика!» — так он ничего мне на это не ответит, задумается глубоко и молчит»...

Чтение Райского отличалось необычайной пестротой, но и в этой пестроте нетрудно подметить воспоминания и вкусы самого Гончарова. По выходе из училища, Райский «дома

читал всякие пустяки. «Саксонский Разбойник» попадается — он прочтет его; вытащит Эккартсгаузена и фантазией допросится, сквозь туман, ясных выводов; десять раз прочел попавшийся экземпляр «Тристрама Шенди»; найдет какие-нибудь «Тайны восточной магии» — читает и их; там русские сказки и былины (которых так много рассказали крепостные нянюшки Ильюше Обломову), потом вдруг опять бросится к Оссиану, к Тассу и Гомеру, или уплывет с Куком в чудесные страны». Впоследствии эти книги, естественно, должны были замениться другими. Райский — «от Плутарха и путешествия Анахарсиса Младшего — перешел к Титу Ливию и Тациту, зарываясь в мелких деталях первого и в сильных сказаниях второго, спал с Гомером, с Дантом, и часто забывал жизнь около себя, живя в анналах, сагах, даже в русских сказках»... С п а л с Г о м е р о м, Д а н т о м — это вернее, чем зарывался в детали Ливия или анналы. Университет должен был, во всяком случае, осмыслить выбор чтения и сообщить ему более определенное направление. Гончаров в отношении своего домашнего чтения, как он сам говорит об этом в своих воспоминаниях, следовал указаниям профессоров, и можно с уверенностью сказать, что им был он обязан переходом от пестрого чтения ранней юности к суровым и важным классикам всех времен и народов. «Долго пленял Гончарова Тасс в своем Иерусалиме, — писал он о себе в автобиографической записке, — потом он перешел через ряд многих, между прочим, Клопштока, Оссиана, с критическим повторением наших эпиков, к новейшей эпопее Вальтер Скотта и изучил его пристально. Путешествия и все доступно изложенные (без строгих научных форм) сочинения по части естественной истории занимали его внимание; его любимым чтением были все-таки произведения поэзии».

Исторические книги Гончарову приходилось читать, как мы видели, в детстве, да и позже в университете, но особой

любви к исторической науке он не чувствовал. По крайней мере, Райский не мог увлечься историей четырех Генрихов. Людовиков до XVIII и Карлов до XII включительно, биографиями Плутарха, — книгами, которые давал ему опекун-дядя, а вкусы Райского и Гончарова по отношению к чтению были близки: в этих книгах не было рисунка, картин и, сравнительно, с путешествиями и романами, «все это было для него (Райского), как пресная вода после рома». Того же исторического рисунка требовал и Гончаров от своих профессоров. «Никакой общей идеи, никакого *рисунка древнего быта*, никакого взгляда, синтеза, — так отзывается Гончаров в своих воспоминаниях об Ивашковском, — ничего не мог нам дать этот почтенный греческий книгоед; он давал одну букву, а дух отсутствовал». Гончаров, как его Райский, искал в предметах изучения «нового, поразительного, чтобы в нем самом все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь»...

Из этих беглых и не вполне ясных указаний можно извлечь лишь один положительный вывод: Гончарова пленяли произведения художественные и вообще такие, которые развивали воображение и эстетическую мечтательность, сочинений же, облеченных в «строгие научные формы», изложенных не популярно, он избегал: они требовали работы освобожденной от образов рассудочной мысли, вели к теоретическим построениям и были органически чужды его натуре. И поскольку Гончаров был человеком синтеза, бережным хранителем наслаивавшихся в душе художественных впечатлений, настолько он боялся всего аналитического, расчленяющего, разрушающего цельность созерцательных переживаний, и совершенно естественно, что это коренное свойство его натуры вольно и невольно отражалось на круге его чтения.

Библиотеки Гончарова и его героев были весьма сходны по своему составу. В детстве Гончаров читал Голикова, «Россиаду» Хераскова, трагедии Сумарокова. Эти же книги были в библиотеке Обломова-отца, читавшего без всякого выбора, что подвернется. «Голиков ли попадается ему, новейший ли Сонник, Хераскова Россиада, или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости — он все читает с равным удовольствием»... Несомненно, что и Сонник не отсутствовал в гончаровской библиотеке, и третьегодичные ведомости могли водиться в помещичьем доме, где чтение в значительной степени было призвано занимать умы в часы досуга, и где не особенно гнались за новизной газетных сообщений.

Состав библиотеки если и менялся, то в пределах одного и того же направления. В различные моменты духовного развития Гончарова, сообразно росту умственных интересов и художественных запросов, на страницах его романов начинают мелькать Шекспир, Гомер, Платон, Фукидид, Аристофан, Данте, Мильтон, Корнель, Расин, рядом с ними — французские энциклопедисты, из «новых» книг — Маколей и Гизо. Эти книги находит Райский в библиотеке старого дома; этими же книгами зачитывается и Леонтий Козлов, который любил, между прочим, Гете, но не романтика, а классика — вкус самого Гончарова, не испытывавшего особого влечения к романтикам. Из той же библиотеки брала книги и Марфинька. И она читала Мишле («Précis de l'histoire moderne») и Гиббона, но предпочитала им «Путешествие Гулливера» или сказки Кота-Мура. Но Веру эта библиотека, особенно после знакомства с Марком, уже не удовлетворяла.

Подобного рода чтение могло помочь нашему писателю «забывать жизнь около себя» и витать в заколдованном мире фантастических снов и воспоминаний о прошлом.

X

Отношение к стихам. — Параллели из «Евгения Онегина» к настроениям Александра Адуева. — Культ Пушкина у Гончарова. — Из юношеских воспоминаний Гончарова о Пушкине. — Из воспоминаний А. Ф. Кони о Гончарове.

Каково отношение Гончарова к стихам? В его воспоминаниях есть намеки на юношескую страсть к поэзии, которая была почти общей чертой у молодых и немолодых писателей его времени, — была, по его выражению, «дипломом на интеллигентность». Райский переводит из Гейне, Александр Адуев сочиняет стихи, но автор относится к ним, как к увлечениям, свойственным молодости, и ставит Александра в комическое положение пред благоразумным Петром Ивановичем. Последний однажды видит в комнате своего племянника такую сцену: Александр сидит за столом и, положив голову на руку, спит.

Перед ним лежит бумага. Петр Иванович взглянул — стихи.

Он взял бумагу и прочитал следующее:

Весны пора прекрасная минула,
Исчез навек волшебный миг любови,
Она в груди могильным сном уснула
И пламенем не пробежит в крови!
На алтаре ее осиротелом
Давно другой кумир воздвигнул я.
Молюсь ему... но...

На этом «но» Александр уснул, и Петр Иванович замечает, что этот сон — лучший приговор, изреченный самому себе славолюбивым пиитой. Если эти стихи принадлежат Гончарову, то их нельзя рассматривать иначе, как попытку пародировать туманную эротику доморощенных романтиков своего времени.

Тот же Александр Адуев, впервые знакомясь с Петербургом, «добрался, по словам Гончарова, до Адмиралтейской площади — и остолбенел. Он с час простоял перед Медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой».

Образ Ленского все время стоял перед глазами Гончарова, когда он рисовал молодого Адуева. Встретив соперника в лице графа Новинского, Александр ревнует, мучится, подозревает, — и для передачи его ощущений у Гончарова есть уже готовая поэтическая формула:

Не попущу, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал ...
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек,
Чтобы двух-утренний цветок
Увял, едва полураскрытый...

Заговорит ли Александр о том, чем должна быть, по его мнению, идеальная любовь, его восторженная речь невольно переходит в стихи и, собираясь «петь красоту любимой женщины, любовь и природу», он уже готов начать эту песнь, но — увы! — пушкинскими словами: «Смотреть ей в глаза было бы высшим счастьем. Каждое слово ее было бы мне законом. Я бы пел ее красоту, нашу любовь, природу:

С ней обрели б уста мои
Язык Петрарки и любви...

Иногда, впрочем, память несколько изменяет Александру, и он слегка перевирает цитаты, что, пожалуй, можно было бы и простить ему в его романтическом порыве. Обманутый в мечтах об идеальной любви, Александр «беспрестанно твердит»:

Я пережил свои страданья
Я разлюбил свои мечты...

Уезжая из Петербурга на родину, Александр, с влажными от слез глазами, читает пушкинское — «художник-варвар кистью сонной» и т. д., где по связи идей, картина гения воплощалась в невинной душе юноши Александра несколько лет назад, а художник-варвар — губительные влияния Петербурга, города, где — снова цитирует Александр —

Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил...

На родине, в деревне, Александр восторгается привольем и кротостью деревенских впечатлений, радуется, подобно Алеко, что он — «вдали от суеты, от этой мелочной жизни, от того муравейника, где люди —

... в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов.

Большим поклонником Пушкина, как и следовало ожидать, оказывается и Райский. Именем пушкинской героини называет Райский (правда, cum grano salis) сладострастную Марину, застигнутую на месте преступления, и это имя — Земфира, пришедшее неожиданно на память в момент разгадки аналогичного драматического положения, указывает, что образ свободной в распределении своих чувств цыганки отчетливо рисовался Райскому по гениальной поэме. Софья Беловодова представляется Райскому существом «выше мира и страстей», и этот стих необыкновенно удачно сближает холодную красавицу с той, которой поэт посвятил свое —

В ней все гармония, все диво,
Все выше мира и страстей...

Одну из цитат Райский произносит особенно театрально. Он, как тургеневский Рудин, проиграв свою партию с Верой и Марком, рисуется перед самим собой. Вот он — перед грудою начатых и неоконченных рукописей. Уничтожить их или сберечь? В них — его прошлое, его мечты, его душа... Исход колебания, сквозящего между строками, несомненен: он сам не уничтожит их никогда. И, выражая, намерение сохранить листки писаний, где простодушно, «не мудрствуя лукаво», он отражал красоту жизни, Райский вздыхает и шепчет:

«И после моей смерти другой найдет мои бумаги:

Засветит он, как я, свою лампаду
И — может быть — напишет».

Сопоставление с летописцем довольно смелое, способное вызвать саркастическую улыбку... конечно, над Райским. Но тот факт, что Пушкин особенно часто приходил на память Гончарову, когда нужна были цитата, сам по себе значителен и должен быть отмечен.

Пушкину отдавал Гончаров преимущественную, если не единственную в этом направлении, дань любви и почитания. Это было уже во времена студенчества. Однажды великий поэт посетил университет и вошел в аудиторию, где был, в числе других слушателей, студент Гончаров. «Для меня, — вспоминает об этом посещении писатель, — точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увле-

кавшиеся поэзией, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование. Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни, и не спускал с него глаз»...

Появился Пушкин — и «точно солнце озарило всю аудиторию»... Подобную радость мог испытать разве Козлов, когда Райский подарил ему свою библиотеку, где были поэты всех времен и народов. «— Мне? такую библиотеку?» — восклицает он. «Ему вдруг как будто солнцем ударило в лицо: он просиял»...

Один и тот же образ послужил писателю для выражения сильнейшей радости, испытанной им самим и воплощенной в созданном им герое.

Культ Пушкина жил в душе Гончарова до конца его жизни. Вот что он сам рассказывал об этом в своей автобиографии, написанной в пятидесятых годах (о себе автор говорил здесь в третьем лице).

«Живее и глубже всех поэтов поражен и увлечен был Гончаров поэзией Пушкина в самую свежую и блистательную пору силы и развития великого поэта и в поклонении своем остался верен ему навсегда, несмотря на позднейшее тесное знакомство с корифеями французской, немецкой и английской литератур».

В повседневной жизни Гончаров любил цитаты из Пушкина, чтобы при их посредстве либо ярче выразить свою мысль, либо прикрыть свое, подчас слишком трезвое, слишком прозаическое отношение к лицу или предмету. Когда ему указывали на то, что массой поправок на корректурных листах он причинял много забот и редактору и типографии, он отшучивался стихами. «Припоминая слова старика из «Цыган»: «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское — шутя», — он говаривал: «Так вот и я пишу: горестно и трудно».

К старости, когда Гончарова убеждали решиться на какой-либо поступок, вроде отдачи для напечатания рукописи

или издания какого-либо сочинения, он сначала обыкновенно отказывался и приводил при этом стихи Пушкина:

Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит:
Чего нельзя и что возможно —
Еще не вдруг она решит.

А. Ф. Кони сохранил рассказ Гончарова о впечатлении, произведенном на него смертью гениального поэта[23]. Рассказ этот относится к 1880 г., году постановки памятника Пушкину в Москве, когда имя поэта было у всех на устах. «В одну из долгих вечерних прогулок» в Дуббельне Гончаров заговорил о Пушкине, и воспоминания лучших мгновений жизни, как встарь, согрели и озарили душу этого на вид ко всему равнодушного старика.

«Пушкина я увидел впервые в Москве, — рассказывал Гончаров, — в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал читать его и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Через несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его — матовое, суженное книзу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос — врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете. Пушкин был в то время для молодежи все. Все ее упования, сокровенные чувства, честнейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений — все сводилось к нему, все исходило от него... Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновни-

[23] Воспоминания А. Ф. Кони в «Русском Слове», 1911, 24 декабря. Приводим об осторожности Гончарова со слов М. М. Стасюлевича. А. Ф. Кони в своих воспоминаниях указывает на первые два стиха.

ком, «переводчиком» при министерстве финансов. Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но надо всем господствовал о н. В моей скромной чиновничьей комнатке, на полочке, на первом месте, стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... Это было в департаменте. Я вышел из канцелярии в коридор и горько, горько, не владея собой, отвернувшись к стене и закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колена, лежал бездыханным ... И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины... Нет, это неверно — по смерти, — да, матери. Через три дня появился портрет Пушкина с надписью: «Погас огонь на алтаре»... но цензура и полиция поспешили его запретить и уничтожить».

Это благоговейное отношение к памяти Пушкина составляло трогательную черту личности Гончарова.

XI

Университетские годы (1831—34 гг.). — Характер университетской науки начала 30-х гг. XIX в. — Отзывы о профессорах. — Отношения Гончарова к университету и университетской науке.

Студенческие годы оказали на Гончарова своеобразное и во многих отношениях положительное влияние.

Теперь уже достаточно известно, что представляла собой университетская наука в первое трехлетие тридцатых годов — время студенчества Гончарова. Судя по его воспоминаниям, он был порядочно подготовлен, особенно по части языков,

и университетский экзамен выдержал довольно легко. Университетским требованиям удовлетворяли, впрочем, пятнадцатилетние мальчики, подготовлявшиеся к ним «домашними способами», и потому успех Гончарова едва ли может быть приписан особой подготовке его в эти годы. Если основываться на воспоминаниях писателя об университете и профессорах, воспоминаниях поздних, подернутых дымкой значительной идеализации, то придется признать Гончарова образцовым студентом, который усердием в научных занятиях превосходил своих героев. С теплой признательностью вспоминает Гончаров о том, каким «святилищем» был университет его времени для студентов и общества.

«Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение». Этот идиллический тон, простительный старику, вспоминающему лучшие годы своей жизни, у беспристрастного читателя способен вызвать саркастическую улыбку. В этом «святилище», инквизиторски истреблявшем в мрачные годы Николаевского режима живой дух свободного развития лучших способностей и стремлений русской молодежи, тяжело дышалось, например, Лермонтову, Герцену и его друзьям, и вовсе не было места таким неуравновешенным натурам, как Белинский. Среди студентов, кокетничавших, по выражению Гончарова, своим званием и малиновыми воротниками, Белинский был прямо уродливым явлением, с его не знающей удержу пытливостью ко всему, где он провидел истину, с его вечным протестом во имя высших интересов справедливости и всеобщего блага, с его, наконец, страстной ненавистью ко всему, на чем лежала печать пошлости и тупого самодовольства. Профессора были искусными кормчими; они умело проводили ладью отечественной науки среди скал и подводных камней реальной действительности и, не задевая ее, добросовестно приводили благовоспитанных и благоразум-

ных юношей к берегам благословенной Эллады и могучего Рима, чаровали пышными образами индийской поэзии, вводили в таинственные дебри немецкой романтики. Только отношения к началам русской жизни не было и не могло быть в профессорских лекциях, и в то время, как Гончаров благоговел перед Надеждиным, Шевыревым, Каченовским, юноши, подобные Белинскому и Герцену, считали приемы университетского преподавания неискренними и убивающими свободную мысль. Разница, была прежде всего в натурах, в направлении ума, в степени развития. «Наша юная толпа, — вспоминает Гончаров, — составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно-ясное небо, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедры»... «И точно была республика: над нами не было никакого авторитета, кроме авторитета науки и ее преподавателей. Начальства как будто никакого не было, но оно, конечно, было; только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие»... Такой безоблачной и счастливой Аркадией представлялась на склоне лет Гончарову его университетская жизнь, и в тоне его слов звучала неподдельная искренность. Однако, есть основание думать, что в студенческие годы Гончаров не чужд был критического отношения к некоторым сторонам университетского образования, которые впоследствии затуманились и скрылись под общей дымкой благожелательности и незлопамятности. Кое-что из этого критического отношения сохранилось и в воспоминаниях и в романах. В изображении воспитания своих героев Гончаров воспользовался несколькими чертами из личных воспоминаний о профессорах, по-видимому, об И. И. Давыдове и Н. И. Надеждине. Конечно, он не списывал их здесь с натуры, а давал лишь общие представления, делал лишь более или менее явственные намеки. Иногда эти намеки бывали не в

пользу профессоров, к которым они относились. Райский, в разговоре с Козловым, вспоминая университетские годы, говорил своему приятелю: «если бы не ты, римские поэты и историки были бы для меня все равно, что китайские. От нашего Ивана Ивановича немного узнали». Молодой Адуев заимствовал от своего профессора литературы цветистую и бессодержательную фразеологию, которая и высмеивается Адуевым-дядей. Но повторим, еще не решен вопрос, лежала ли здесь вина, по личному убеждению Гончарова, на профессорах, а не на самих Адуеве и Райском? И тот и другой относились к науке лишь формально, а при формальном отношении было естественно, что дальше цветистой фразеологии они не пошли. Ведь Райский, несмотря на помощь Козлова, не сделался знатоком классического мира, а Адуев-племянник отзывался о своем профессоре не с меньшим уважением, чем сам Гончаров в своих воспоминаниях. И весьма допустимо, что те намеки в романах, на которых можно было бы строить заключения об отрицательном отношении Гончарова к Надеждину и Давыдову, объясняются той общей психологической обстановкой, в которой слегка саркастическое изображение Александра Адуева требовало и выбора соответственных черт в обрисовке его воспитания.

Тип студента, к которому принадлежал Гончаров, вечный тип, не изменяющийся ни при каких переменах внутреннего строя университетской жизни; его отличительными признаками являются добросовестность в занятиях, служащая источником самоуверенного довольства собой, отсутствие сомнений и порывов, вообще благоразумная, улыбающаяся на весь мир трезвость взглядов, которая не исключает высоких личных достоинств, вроде доброты, нежности, чуткости, но в вопросах общественных простирается до полного индифферентизма. Все это весьма показательно по отношению к Гончарову и его творчеству.

Для Герцена и Белинского, исключенного из университета «по неспособности», начальство, к сожалению, не явилось тем отвлеченным понятием, которое, например, затушевало в памяти Гончарова образ инспектора. «Был ректор, был попечитель, может быть, даже и инспектор (кажется, был), но мы его никогда не видали»... Однако, в университетскую «Обломовку» нашего писателя вторгается слабая, на первый взгляд незаметная нотка противоречия, показывающая, что Гончаров кое-что слышал, в бытность студентом, и помимо официальных лекций. Университет кажется ему учреждением, в котором более, чем в других высших учебных заведениях, могла раздаваться с кафедры свободная профессорская речь. И, тем не менее, Гончарову, может быть, скрепя сердце, пришлось сделать оговорку. «Я не говорю, — пишет он, — чтобы свободе этой не полагалось преград: страх, чтобы она не окрасилась в другую, т. е. политическую краску, заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, ненаучной, свободы проявлялись более вне стен университета; свободомыслие почерпалось из других, неуниверситетских источников». Серьезная содержательность лекций ограждала студентов, по мнению Гончарова, от опасных увлечений, заносимых туда извне, издалека... Чрезвычайно характерен отзыв автора воспоминаний о закрытии лекций Давыдова по истории философии. Приехал флигель-адъютант из Петербурга, послушал — и лекции были закрыты. Тон, которым рассказано у Гончарова это происшествие — несовместимость философии с флигель-адъютантским воззрением, — мог бы принадлежать самому Гомеру. «Говорили, что в них проявлялось свободомыслие, противное... не знаю чему. Я не читал этих лекций».

Автор не читал, очевидно, ничего или очень мало из той литературы, которая проникала в стены университета «извне,

больше издалека». Оттого ему придется впоследствии не раз умолкать и прятаться за многоточия, как только герои его романов коснутся вопроса о новых идеях и веяниях, проникнутых пресловутым свободомыслием, проводниками которых являлись писатели «извне». Мы видели, герои Гончарова читают вместе с автором и знают не больше его, и если это совместное чтение Адуева, Обломова, Марфиньки, Райского и самого Гончарова способно вызвать чувство трогательного умиления в сентиментальном читателе, то по отношению к Марку Волохову оно создавало почву для недоразумений подчас слегка комического свойства.

XII

Университетские годы. — Черты Гончарова-студента. — Литературные параллели. — Умственные и жизненные интересы в эти годы.

В толпе юношей, блиставших вместе с Гончаровым малиновыми воротниками, мы без особенного труда различим и Адуева, и Обломова, и Райского с Козловым. Если отбросить различие в степени их усердия к наукам, т. е. черту, вытекавшую из требований индивидуальной типичности и для нас второстепенную, другие, более органические и родственные черты выступят сами собою.

Прежде всего, бросается в глаза их общий колорит и направление. Все они — цельные и здоровые натуры, милые молодые люди, еще весьма юные, совсем не знающие жизни. Из них лишь один Козлов был беден — «как нельзя уже быть беднее», — остальные воспитались на обломовских хлебах, и их задорная жизнерадостность молодых птенцов покоилась, главным образом, на непоколебимой уверенности в завтрашнем дне, на заботах «недремлющего ока» матери, дяди, опекуна; отца они лишаются в детстве. В сравнении с ними Козлов — бледная, безжизненная фигура; можно сказать,

пожалуй, что в нем воплотилась та степень изучения и увлечения древним миром, которая была свойственна самому Гончарову, и которая, сообразно характеру каждого из его героев, уступала место другим индивидуально-типическим чертам.

У Козлова любовь к древности, к отжившим классическим формам жизни, была, в сравнении с Гончаровым, несколько подчеркнута, усилена в стремлении создать тип, но сущность осталась неизменной. «Он (Козлов) любил ее (старую жизнь), эту родоначальницу наших знаний, нашего развития, но любил слишком горячо, весь отдался ей, и от него ушла и спряталась современная жизнь. Он был в ней как будто чужой, не свой, смешной, неловкий». На той же почве сходится с Козловым и Райский. «Часто с Райским уходили они в эту жизнь. Райский, как дилетант, — для удовлетворения мгновенной вспышки воображения, Козлов — всем существом своим»...

Беспощадный анализ, сомнения, отрицания — все это было чуждо студентам гончаровского кружка, как и увлечение идеями свободомыслия, приходившими «извне» и волновавшими студентов другого типа. На убогих вечеринках, дивно рассказанных Тургеневым, где раздавались вдохновенные речи Рудина, не было никогда — и это можно с уверенностью сказать — ни Обломова, ни Райского, не говоря уже об Александре Адуеве. Тургенев заставляет Лежнева вспомнить свои студенческие впечатления, а последние переживались им в ту же первую половину тридцатых годов, когда в университете был и Гончаров. «Вы представьте, — рассказывает Лежнев, — сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества и поэзии»...

Гончарову и его близким родственникам эти речи были бы не по сердцу. Они не любили «умозрений», и одновременно и увлекались и подсмеивались над туманными порывами юных романтиков в чудесные миры таинственных откровений и волшебных замираний. И они любили поэзию, но поэзию немеркнущей классической красоты, обаятельную, как статуи Фидия, ясную, как безоблачное небо Эллады. Они искали в этой поэзии одного чистого художественного наслаждения, они искренно благоговели перед ней, но никто из них не подумал бы искать в ней ответа на волновавшие и мучившие душу вопросы о Боге, о мире и жизни.

К решению жизненных вопросов в кружке Гончарова, подходили с другой стороны. И они мечтали, но мечты их были далеки от тех поэтических грез юных романтиков, в которых религия, поэзия, истина, добро и любовь соединялись в мировую гармонию, водворявшую счастье человечества на земле. «Кто хотел воевать, истреблять род людской... другой мечтал добиться высокого поста на службе, на котором можно свободно действовать на широкой арене... Райский мечтал быть артистом»... и вместе с артистической славой мерещилась ему в будущем «колоссальная» страсть, с огнем и грозою, которая очистит воздух и освежит его грудь новыми силами для столь же «колоссального» подвига общественного служения.

Это были мечты; мечтая, легко и приятно было рисовать, а, рисуя, вводить в мир ощущений Райского представление о колоссальной страсти, которой никогда не испытать ему и в которую как-то плохо верилось самому Гончарову. Если искать для этого творческого мотива психологических предпосылок в том, что было передумано Гончаровым по поводу какого-либо конкретного явления жизни, нельзя пройти мимо одного любопытного выражения из его письма. Отзываясь о поведении племянника своего, Владимира Кирмало-

ва, Гончаров относит его к числу людей, которые, подобно Райскому, «по свету рыщут — дела себе исполинского ищут». «Брат Володя ленится, — пишет он, — под предлогом ожидания какого-то неслыханного дела: что же это такое? А все-таки надо не только делать дело, но и проникнуться сознанием необходимости его, даже некоторою любовью к нему, для чего каждый и старается избрать себе дело по нутру». Столь же благоразумные мысли мог бы высказать Гончаров, если бы задумался над Райским не как художник, но как заботливый дядюшка, сознающий свое право не только любоваться им как типическим явлением жизни, но и пожурить отечески и резонно.

К шестидесятым годам, когда Гончаров писал «Обрыв», жизнь успела подвести не мало итогов, и ему пришлось отметить тот факт, что «все более или менее обманулись в мечтах»: одни не успели вернуться в деревню, как развели кучу подобных себе и «осовели на месте»; другие, вместо деятельности на широкой арене, добились места в клубе и посвятили ему свои досуги. Случилось то, что, как уже не раз указывали, предполагал Пушкин относительно своего Ленского:

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел;
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился;
В деревне, счастлив и богат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел
И, наконец, в своей постели
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

То о чем мечтал Райский, всецело взято у Александра Адуева. Мечты последнего были в полном соответствии с песнями его нянюшки о том, «что он будет ходить в золоте и не знать горя». Снились ему и «горячие сны о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и совершает громкие подвиги, о пользе, которую принесет отечеству, о славе писателя», — и весь этот хаос, питавший его мечты, пестрел блестками неизменного себялюбия и уж очень большой наивностью даже для двадцатилетнего юноши. «О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху»... «будущее представлялось ему в радужном свете»...

Мечты Обломова были возвышеннее и шире, но и в них мелькали те же знакомые нам черты: «он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит»... «Или изберет он арену мыслителя, великого художника: все поклоняются ему, он пожинает лавры»...

Рядом с этими мечтами, были у представителей гончаровской семьи и другие, еще более возвышенные, почти идеальные порывы. Им были доступны «наслаждения высоких помыслов, не чужды им были и всеобщие человеческие скорби», но все это являлось далеко не главным в переливах их самодовлеющего, заполнявшего все уголки их мысли и чувства, болезненно-чуткого собственного «я».

В университете Райский, как рассказывает Гончаров, утро посвящал лекциям и прогулкам по Кремлевскому саду, по воскресеньям бывал в Никитском монастыре у обедни, любил поглядеть на развод и полакомиться в кондитерской Пеэра и Педотти. Возможно, что распределение дня и самого Гончарова устраивалось в этом же роде. Вечера, по словам Гончарова, Райский проводил в «своем кружке», т. е. избранных товарищей, горячих голов, вроде него самого, великодушных сердец, вроде молодого Адуева или Ильи Ильича Обломова.

«Все это кипит, шумит и гордо ожидает своей будущности».

Великая будущность рисовалась время от времени Райскому в гусарском мундире; не случайно «заглядывает» он на развод — и его тревожат мечты о военной славе. Стремление в ряды защитников отечества весьма идет к тому духу, который царил среди студентов, «гордившихся своими малиновыми воротниками». Переменить малиновые воротники на золотом шитые не могло не казаться заманчивым. Бабушка Татьяна Марковна только одобрила бы эту замену. «Ты бы в военную службу поступил, в гвардию», — говорит она Райскому-студенту. — Дядя говорит, что средств нет… — Как нет: а это что? — Она указала на поля и деревушку. — Да что ж это?.. Чем тут?… — Как чем? — И начала высчитывать сотни и тысячи»… «Она не живала в столице, — замечает Гончаров, — никогда не служила в военной службе и потому не знала, чего и сколько нужно для этого».

И Райскому захотелось сделаться артистом, художником, как Адуеву — писателем. Слава в том и другом случае была могучим двигателем их самолюбия. То, что не далось в самое время Адуеву, блистательно выполнено было самим Гончаровым, как Пушкиным написано было все то, чего не мог или не умел написать Онегин. Онегин и Александр Адуев явились, тем не менее, выразителями известной полосы душевного развития авторов, полагавших в основу создания типов черты несомненного автобиографического значения.

Отметим попутно еще одну мелкую параллель. Райский любит полакомиться в кондитерских Пеэра и Педотти. А вот что рассказывает сам Гончаров об этой маленькой страстишке у него самого в детстве. Главным баловником в семье Гончаровых был Якубов. «Иногда он оставлял нас обедать, — рассказывает Гончаров, — и тут уже всякому кормлению и баловству не было конца. Был у него, между прочим, особый шкафчик, полный сластей — собственно для нас». Не до-

вольствуясь домашними запасами, Якубов возил детей по всевозможным съестным и кондитерским лавкам, и дети лакомились, несмотря на запрещения матери, до излишка, находя в запретном плоде особую прелесть.

То же повторилось и впоследствии, когда Гончаров приехал домой по окончании университетского курса. Якубов едва поздоровался, как велел заложить тарантас и повез юношу, по обыкновению, в кондитерскую. «Я засмеялся, и он тоже, когда я спросил, где продается лучший табак».

Смеха здорового, жизнерадостного, беззаботного вообще было немало в жизни Гончарова и его литературных сородичей в эту эпоху. По сообщению Гавр. Н. Потанина, брат нашего писателя рассказывал об Иване Александровиче, что «из университета он часто писал самые веселые и занимательные письма, которые, к сожалению, затерялись».

Только одно студенческое письмо Ивана Александровича сохранилось, — рассказывает Потанин и передает его содержание: «То он воздает должное поклонение профессору и удивительной лекции его и тут же прибавляет, что в Кремлевском саду встретил незнакомку, с которой неожиданно познакомился коротко; то рассказывает серьезную беседу с товарищами о философии, поэзии, логике и тут же сообщает о самом пустом случае с ним на улице».

Словом, с самыми радужными настроениями и надеждами оканчивают Гончаров и его сородичи курс наук в одном и том же — очевидно, московском — университете. По крайней мере, Александр Адуев впервые попадает, по окончании курса наук, в Петербург, в эту, по выражению его матери, «великолепную столицу». «Профессора твердили, что он пойдет далеко», — очевидно, он был старательным студентом. «Он прилежно и много учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук, да с полдюжины древних и новых языков», — совсем как у Обломова, голова которого пред-

ставляла «сложный архив мертвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических или других истин, задач, положений»...

Истекала первая половина тридцатых годов, пора тяжелого похмелья после золотых грез первых десятилетий века. Это похмелье испытали все, кого история называла «благородными идеалистами» той эпохи, но Гончарова причислить к ним было бы ошибкой. Его стремления обращались в другую сторону, далекую, можно думать, от «того берега», с которого видели Русь Герцен и его друзья.

Еще был жив Пушкин, и пред Гоголем уже носился чудодейственный замысел «Мертвых душ»...

XIII

На родине. — Из воспоминаний Гончарова. — Параллели. — Рассказ Гавр. Н. Потанина.

По окончании университетского курса побывал на родине, подобно своим героям, и Гончаров.

Все они могли бы вспоминать свои посещения милых обломовских мест тем тоном и даже теми словами, какими передает свои впечатления сам автор. «Меня охватило, как паром, домашнее баловство. Многие из читателей, конечно, испытывали сладость возвращения, после долгой разлуки, к родным, и поймут, что я на первых порах весь отдался сладкой неге ухода, внимательности. Домашние не дают пожелать чего-нибудь: все давно готово, предусмотрено. Кроме семьи, старые слуги с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда, и все не наглядятся на меня».

Не трудно вообразить, что это было за баловство, если вспомнить, как принимали Александра Адуева во время его

побывки на родине. Встречали его чуть не с иконами; у матери, Анны Павловны, и руки, и ноги от радости отнялись. С дороги барин хочет уснуть. Ему готовят постель. «Анна Павловна посмотрела, хорошо ли постлана постель, побранила девку, что жестко, заставила перестлать при себе и до тех пор не ушла, пока Александр не улегся. Она вышла на цыпочках, погрозила людям, чтобы не смели говорить и дышать вслух и ходили бы без сапог». Рассказывая о том, что кушал барин в Петербурге, Евсей, камердинер его, едва не поплатился своей спиной за то, что давал барину постные, а не сдобные булочки. Эта сценка весьма напоминает фонвизинский разговор Простаковой с Митрофанушкиной нянюшкой Еремеевной. И нравы и понятия были приблизительно те же, разница могла быть только в колорите, только в освещении, но сущность крепостного уклада жизни оставалась нетронутой. Однажды Александр Адуев, проходив целый день с толпой баб и девок за грибами, похвалил девушку Машу за проворство и ловкость, — «и Маша взята была во двор ходить за барином». Простота и естественность, с какой совершались подобные факты доброго старого времени, вполне соответствовали олимпийскому спокойствию гончаровского рассказа. О художниках говорят в таких случаях, что они проникали в дух и настроение изображаемой эпохи. Гончарову не трудно было это сделать.

Вот рассказ о том, каково жилось Гончарову в домашнем быту у матери, во время своего пребывания на родине: «Это было самое счастливое время для Гончарова; он жил здесь, если можно так выразиться, самою живою жизнью, какою только может жить человек на земле. Тут было все: и радость первого литературного успеха, и пленительные воспоминания детства, и сияющее лицо матери, и ласки, восторги, подарки тому же счастливому любимцу, и воркование слепой няни, которая теперь готова молиться на своего Ванюшу, и

раболепие старика-слуги, который, как мальчишка, бегает, суетится, бросается во все углы, лишь бы угодить Ивану Александровичу. А тут еще такой почет общества, приглашение губернатора быть без чинов, человеком своим, и, наконец, гордость купцов: «каков наш Гончаров! вон куда залетают из наших!» Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всем окружающим, он здесь вполне чувствовал, что он именно то солнце, которое все собой озаряет и радует всех. Зато надобно было видеть, как Иван Александрович в это время был жив и игрив. Боже мой! Как умилительно прикладывался к руке матери, точно к иконе, и в порыве так страстно обнимает старуху, что та задыхается в объятиях сына, на лету ловит, целует брата, сестер, племянников, племянниц; да что и говорить о кровных родных, — он в настоящее время всем был близкий, родной... Даже с прислугой он обращался точно с братьями и сестрами; комично кланяется всем и смешит. Обнимет старого слугу Никиту и спросит:

А помнишь, как важно приходил ты к крестному во флигель звать меня к маменьке? Даже страшно было, когда ты выговаривал: «Иван Александрыч, пожалуйте»... — и вдруг в тебя выстрел: «пошел вон!» Огорчался, я думаю, ты этим, голубчик?

Да что! — Никита махнул рукой. — Все маменька ваша изволила тогда беспокоиться понапрасну! «Поди, веди его!» А зачем вести? По-моему, Бог создал дитю для того, чтоб он играл и забавлялся, а они запрещают, ну, разве это возможно? Хоша бы колокольня тогда? Ну, что?.. По-моему: пусть барченочек полюбуется нашим городком — оттуда все видно! А они свое: «расшибется»! Я тогда не вытерпел, сказал: эх, матушка-барыня, Бог-то не в одной церкви живет, Он и на колокольне нашего барчоночка спасет! — так куда! Осерчала даже на мои разумные слова, изволила закричать: «пошел вон, не рассуждай!» Вот и только.

Иван Александрович не вытерпел, засмеялся»...

Сколько здесь сходства в настроениях и мелких параллелей к Обломову!

Нас интересуют, конечно, именно эти параллели, наглядно показывающие, какую громадную роль играли воспоминания в создании «Обломова». Сентиментальный тон изложения служит особенностью стиля автора этих воспоминаний Гавр. Н. Потанина.

После отдыха и неги в домашней обстановке, Гончарова потянуло на север — в Петербург.

XIV

В Петербурге. — Служебная деятельность Гончарова. — Отношение к службе. — Параллели.

Потекли ровные годы неторопливой деятельности, медлительного творчества. Но лучшая пора жизни почти скрывается от глаз наблюдателя, и воспоминания Гончарова об этом периоде его жизни отрывочны и бледны. Внешние факты, впечатления ближайшей среды, обстановка, несложный перечень событий — такова их сущность, дающая, тем не менее, повод предполагать тщательно скрытую за ними богатую гамму разнообразных ощущений сердца и опыта. Гончаров словно стыдится раскрыть их перед читателем, словно не считает читателя вправе посягать на поднятие завесы с сокровеннейших уголков своих воспоминаний о прошлом. Но, может быть, Гончаров рассуждал (если только он рассуждал об этом) и иначе, в том смысле, что многое из своей жизни он уже воплотил в романах, возведя в типический образ то, что было личной чертой, лично пережитым фактом в известную пору, — с этой точки зрения воспоминания писателя являются лишь необходимым дополнением, внешними рамками сложной внутренней работы, отразившейся в творческом синтезе.

Сочинения дают, в действительности, немало указаний в этом направлении. Конечно, эти указания — без точной хронологии, подлинных свидетельств и реальных определений, но в них заключается разгадка и общий смысл лучшей полосы жизни писателя. В частности, относительно молодости Гончарова и его героев можно сделать предположение, не лишенное большого, как нам кажется, вероятия. «Обыкновенная история» создавалась Гончаровым, когда ему было уже за тридцать. Она выразила наглядный переход наивного, сентиментального юноши, едва покинувшего университет, в положительного, серьезного человека, на стороне которого оказались, можно думать, последние симпатии автора. И в то время, как тип Адуева-дяди поражает своей законченностью и цельностью, образ Александра Адуева представляется, в смысле типа, не выдержанным, местами внешне-карикатурным. В художественном отношении Адуева-племянника спасает сопоставление с Петром Ивановичем, которое объясняет и дорисовывает его. Очевидно, Петр Иванович был ближе душе Гончарова, и создание этого образа далось художнику гораздо легче. Тридцатидвухлетний Обломов был, можно думать, понятнее Гончарову, чем Обломов-студент, и тридцатипятилетний Райский выступал пред писателем отчетливее, чем Райский лет десять-пятнадцать назад. Очевидно, впечатления студенческих лет успели затуманиться в душе Гончарова или же не были особенно глубоки.

Оглядываясь назад, на годы ранней юности Ильи Ильича, можно было сказать, что между наукой и жизнью у Обломова лежала целая бездна. Наука была у него сама по себе, а жизнь сама по себе. И сотни цитат можно было бы привести о том, что эта же бездна была и у Райского: «книги! разве это жизнь? — восклицает он в разговоре с Козловым: — старые книги сделали свое дело, люди рвутся вперед». И та же бездна между наукою и жизнью была у самого Гончарова. Пластику жизни, ее выпуклости, формы он схватывал легко и глубоко

проникал в их тайны испытующей интуицией художника, но научных объяснений и вообще теорий избегал. К нему можно было применить в этом отношении те же слова, которые он сказал об Обломове: «Начальник заведения, подписью своею на аттестате, как прежде учитель ногтем на книге, провел черту, за которую герой наш не считал уже нужным простирать свои ученые стремления».

Посещением лекций, домашним чтением и беседами с «горячими» умами и сердцами из «своих» исчерпывалась студенческая жизнь Гончарова. К концу ее, может быть, следовало бы приурочить развитие юношеской мечтательности, романтических порывов и грез. Как бы человек ни относился впоследствии к воспоминаниям своих детски-незрелых стремлений, очарований и увлечений, они оставляют глубокий след в его душе, они же полагают первые основы его последовательно вырабатывающейся жизненной философии, его индивидуальной религии и поэзии духа. Когда Гончаров изображал в романах цветущую пору юности, он сам отошел от нее на далекое расстояние в своем жизнепонимании, и оттого воспоминания его о молодости, местами тепло рассказанные, поражают своей неполнотой. Кое-где прорывается скептическая жилка и указывает на последовательно совершившуюся перемену во внутреннем отношении к пережитым фактам, на переоценку явлений, дававших раньше содержание и главный интерес жизни.

Вглядываясь в портреты Гончарова последних двадцати лет его жизни, невольно обращаешь внимание на одну черту, чрезвычайно для них характерную, — на корректную сановитость его лица, которое, можно сказать a priori, должно было принадлежать видному и просвещенному, непременно русскому, бюрократу... Этот вид учтиво-равнодушной и корректной сановитости Гончаров приобрел на тридцатилетней государственной службе, начавшейся, вслед за окончанием университетского курса, в родном городе.

Мы не будем следить за тем, как Гончаров служит в канцелярии симбирского гражданского губернатора (А. М. Загряжского), образ которого он так мастерски нарисовал в одном из своих последних очерков под именем Углицкого[24]. Прослужив «отлично, благородно» года полтора, в качестве чиновника особых поручений и друга семьи у своего помпадура, поблистав в это время на балах и сумев сберечь свою независимость от матримониальных набегов губернских маменек, Гончаров соскучился в Симбирске и решил отправиться в Петербург. Родной город он покидал, по-видимому, весело, всецело отдаваясь романтическим мечтаниям и надеждам. В столицу он ехал вместе с губернатором, которого, по жандармскому доносу, отставили, и он направлялся туда, пылая негодованием против «жандармерии», чтобы оправдаться перед кем следует.

Позволим себе отметить мелкую, но характерную черточку — перед отъездом Гончаров прощался с чиновниками губернаторской канцелярии. Вот как он рассказывает об этом: «С чиновниками канцелярии я простился дружелюбно, пожав им всем руки в первый и последний раз: они были уже не подчиненные мне». Юноша, год назад сидевший на студенческой скамье, считал невозможным подавать руку своим сослуживцам, которые были старше летами и опытнее его в канцелярском деле. Но он оказался случайно ступенью выше по службе, и потому такое обращение с своими товарищами считалось вполне естественным в провинциальной чиновничьей среде и не расходилось у самого Гончарова с его юношескими понятиями об этике личных отношений. Гончаров шел в данном случае уже по проторенной колее; нова-

[24] О том, как был уволен А. М. Загряжский от губернаторской должности, рассказывает в своих воспоминаниях Е. И. Стогов. «Русская Старина», 1878, т. XXIII, стр. 647—654.

торство, даже самое невинное, не было в его натуре, и потребовалась длинная вереница лет, чтобы в его бюрократических понятиях совершилась та уступка новым веяниям, признаком которой явился слегка иронический тон в воспоминаниях о молодых годах своей службы.

В Петербурге Гончарова ожидало прозаическое поприще сначала переводчика, потом столоначальника в департаменте внешней торговли. Прошение подано было 15 мая 1835 г. 18 мая Гончаров был определен в число канцелярских чиновников, на средний оклад жалованья, причем с него постановлено было взыскать штраф в шесть рублей, так как прошение было написано не на гербовой, а на простой бумаге. Петербург встретил юного Гончарова серьезно и строго; это была не симбирская канцелярия, где служба являлась номинальной.

Долгие годы чиновничьей жизни Гончарова не возмущались ни пламенным стремлением к служебной карьере, ни участием в каких-либо общественных движениях и партиях. Гончаров сдержал обещание, данное им в своем «объявлении» 6 июня 1835 г. о том, что он, губернский секретарь Гончаров не принадлежит и впредь принадлежать не будет «ни к каким ложам масонским, или иным тайным обществам, внутри Империи или вне ее существовать могущим».

Труд в департаменте был наполовину механический, «исполнение» бумаг велось по одному, раз навсегда заведенному порядку, и подобная работа, при всем своем однообразии и скуке, если не была приятна, то удобна для Гончарова: она не мешала совершаться в душе его другой, более сложной и могучей — творческой работе.

Он не заблуждался и относительно качества своего канцелярского служения. Оно казалось ему мертвым делом, ничего не дающим ни уму, ни сердцу. Но оно являлось «делом», и этого было достаточно, чтобы Гончаров относился к

нему, как прежде к посещению лекций, внимательно и аккуратно, не пренебрегая своими обязанностями, но и не внося в исполнение их особенного усердия или даже глубокого интереса.

Так начал Гончаров свое служебное поприще. Перенес ли он свои взгляды в романы? Прислушаемся к тому, что говорят на тему о службе его герои. Свидетельства их и важны в биографическом отношении и любопытны сами по себе.

Илья Ильич Обломов, владелец трехсот пятидесяти душ в одной из дальних губерний, «чуть не в Азии», готовился, прежде всего, к службе, — «что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал о роли в обществе; наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье».

На службе Илью Ильича постигли некоторые, жестокие испытания. Служба оказалась делом обязательным и утомительным. Чиновники не составляли особой дружной и тесной семьи, неусыпно пекущейся о взаимном спокойствии и удовольствиях. Начальники вовсе не были теми «отцами» подчиненных, как представлялось это на родине: все перед ними трепетали, суетились, стремились взапуски выразить свое почтение. Обломов видел, что начальники эти по степени раболепства и почтительности своих подчиненных не раз составляли мнение об их ревности и даже способностях к службе.

Илья Ильич не приобрел той выдержки, какую выработал в себе Гончаров, и, отправив однажды какую-то бумагу вместо Архангельска в Астрахань, испугался ответственности и подал в отставку. О службе Обломов вынес совершенно определенное мнение, независимое от его личной служебной неудачи. Деловитый и исполнительный чиновник Судьбинский, его бывший товарищ по канцелярии, вызывает у него искреннее

сожаление: «увяз» в службу — и стал слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. «А выйдет в люди, — думает Обломов, — будет, со временем, ворочать делами и чинов нахватает ... У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства — зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое»...

Не самообольщаются относительно службы и Петр Иванович Адуев, и Иван Иванович Аянов, кстати сказать, весьма похожие друг на друга, оба, по-своему, дельные и видные бюрократы. Для них служба — источник их фортуны, их положения и веса в обществе, средство удовлетворения обычного у средних людей буржуазного тщеславия. Их служба — уже не грубое молчалинское подслуживанье, а та сноровка приспособляться к обстоятельствам и людям, та привычка трудиться не более, но и не менее других, притом не заглядывая в конечный результат своего труда, которая, с одной стороны, дает им возможность считать себя порядочными людьми, а с другой приносит им удовлетворение почтенно, не хуже других, исполняемого долга. Их связи в обществе уже не столько родовые, сколько деловые связи, определяемые сложной сетью соображений, поскольку тот или иной деятель может быть полезен или вреден в различных житейских случаях, влиятелен или ничтожен. Тонкий ужин и удачно подобранная партия в вист котировались и тогда на петербургской бюрократической бирже неизмеримо выше безупречной честности, искренности, отзывчивой души, участливого сердца, тех фантастических бредней, о которых тосковал в первые годы Александр. И душа, и сердце — лишние предметы в машине, которая «работает стройно, непрерывно, как будто нет людей, — одни колеса да пружины».

«Дядя любит заниматься делом, — пишет Александр Адуев под диктовку Петра Ивановича, — что советует и мне, а я тебе (письмо пишется «другу»): «мы принадлежим к обще-

ству, — говорит он, — которое нуждается в нас»; занимаясь, он не забывает и себя; дело доставляет деньги, а деньги — комфорт, который он очень любит». Так рассуждает Петр Иванович, не расходясь во взглядах на этот предмет с самим Гончаровым.

Аянов, всегда «блиставший спокойствием и наслаждавшийся этим», состоял по особым поручениям у одного из министров; впрочем, он служил при нескольких, последовательно сменявшихся, и всегда был ловким исполнителем чужих проектов, неизменно разделяя взгляд министра на дело. Менялся начальник, вместе с ним менялся взгляд и проект, и Аянов работал по-прежнему — умно и ловко. Служба его напоминала службу Кальянова (в «Литературном вечере»), этого «техника-организатора», по выражению автора, а в далеком прошлом — и службу самого Гончарова в Симбирске. «По утрам (Аянов) являлся к нему (министру) в кабинет, потом к жене его в гостиную и, действительно, исполнял некоторые ее поручения, а по вечерам, в положенные дни, непременно составлял партию, с кем попросят»... Дела у Аянова, стало быть, было еще меньше, чем у Петра Ивановича.

Такой отчетливый, ясный взгляд на служебные обязанности и на общий тип русского чиновника проходит по всем романам Гончарова, и нет основания думать, что сам автор смотрел на свою собственную служебную деятельность с иной точки зрения. Карьера Гончарова была, вероятно, намечена и до известной степени предрешена его родными, особенно Якубовым. На семейном совете ее определяли, вероятно, в общих чертах так же, как определял ее опекун Райского: «Ты поступишь в университет, на юридический факультет, потом служи в Петербурге, учись делу, добивайся прокурорского места, а родня выведет тебя в камер-юнкеры». В действительности разница произошла только в ведомствах, да камер-юнкерства не было, но внутреннее отношение осталось то же.

XV

Путешествие Гончарова на фрегате «Паллада». — Служба в цензурном ведомстве. — Отзывы современников. — Дальнейшее течение служебной деятельности Гончарова.

В департаменте внешней торговли Гончаров оставался до 1852 г. В этом году он выразил готовность участвовать в экспедиции, снаряженной для открытия торговых сношений с Японией. Он был откомандирован из департамента в распоряжение начальника экспедиции, вице-адмирала (впоследствии адмирала и графа) Е. В. Путятина, при котором и исполнял обязанности секретаря. 7 октября 1852 г. Гончаров отправился на фрегате «Паллада». Он совершил кругосветное путешествие, рассказанное им в целом ряде ярких и живых картин, составивших впоследствии знаменитую книгу его путевых записок. Путешествие его закончилось возвращением через Сибирь в Петербург в начале 1855 г. Таким образом, исполнилась давнишняя мечта Гончарова, навеянная в детстве рассказами моряка Якубова, — увидеть в явь те соблазнительные страны, которые раньше мелькали в фантастических грезах или описаниях путешественников. В путевых записках своих Гончаров дал художественный отчет в своих впечатлениях; любопытство было удовлетворено, воображение улеглось, и жизнь приняла снова старые формы неторопливого, спокойного течения, как только Гончаров почувствовал себя на своей петербургской квартире.

Вернувшись в Петербург, он поступил на прежнее место, но обстоятельства во время его отсутствия, видимо, изменились. Произошла ли перемена в личном составе начальствующих лиц, застал ли Гончаров своих сослуживцев значительно шагнувшими вперед, совершил ли он что-либо подобное промаху Обломова по рассеянности или отвычке от канцелярской техники, — неизвестно. Но он начал томиться, по выражению Никитенка, «канцеляризмом», от которого

рисковал погибнуть. Очевидно, к мертвящей, механической, канцелярской работе Гончаров чувствовал себя малоспособным, особенно после путешествия, давшего ему так много свежих и ярких впечатлений. Он начал искать себе нового дела, которое стояло бы ближе, по существу своему, к литературе, властно царившей над его воображением. Поиски его увенчались успехом; благодаря содействию А. В. Никитенка, ему удалось перейти к началу 1856 г. в министерство народного просвещения, на должность цензора. «Мне удалось провести Гончарова в цензора, — пишет Никитенко 24 ноября 1855 г. — К 1 января сменяют трех цензоров, наиболее нелепых[25]. Гончаров заменит одного из них, конечно, с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором».

Надежды Никитенка оправдались. Из Гончарова выработался цензор дельный и вдумчивый, действовавший, в пределах своего влияния, деликатно и гуманно. На это есть несколько указаний, прямых и косвенных; с другой стороны, никто из лиц, сталкивавшихся с Иваном Александровичем по делам его службы, не оставил о нем ни одного явно неблагоприятного отзыва. Сохранилось, впрочем, одно письмо, в котором автор упрекает Гончарова в слишком ревностном исполнении своих обязанностей. Это письмо Ф. П. Еленева к другому цензору, Н. П. Гилярову-Платонову; оно относится к 1856 г., т. е. к самому началу цензурной службы Гончарова. Мы приводим письмо это, как одно из немногих свидетельств подобного рода. Автор письма обратился к Гончарову за разрешением к печати сочинения, касавшегося различных сторон состояния, истории и быта России.

---

[25] Никитенко, А. В. «Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был». Записки и Дневник (1804—1877 гг.) Т. I, Спб., 1904, стр. 467.

«В отношении ко мне лично, — пишет Еленев, — Гончаров поступил так, что, кроме благодарности, я ничего не могу о нем сказать. Снисходя к моим обстоятельствам, он дал мне слово прочитать рукопись в неделю и, действительно, исполнил это, хотя имел полное право держать ее три месяца, тем более, что у него достаточно работы и цензурной и своей собственной, литературной. Что же касается до его цензуры, то она не была так снисходительна к моему сочинению, как сам цензор был снисходителен ко мне, и в этом я нисколько его не упрекаю. Я знаю, что образ цензуры, при известных требованиях закона, зависит, во-первых, от врожденной способности ясного понимания вещей и, во-вторых, от суммы сведений цензора по тому предмету, о котором идет речь; но это такие два условия, которые не зависят от доброй воли цензора. Чтобы обозначить короче характер цензуры Гончарова, достаточно сказать, что она была совершенно противоположна вашей цензуре. При этом сравнении мне приходит на мысль тот текст, о котором мы так много говорили: «буква убивает, а дух животворит». Гончаров в цензурном уставе видит только букву, тогда как вы извлекли его дух, и хотя тяжел дух сего устава, но все-таки цензура по духу, без всякого сравнения, легче цензуры по букве. В духе видим смысл, известное требование, быть может, и противное нашему убеждению, но к которому все-таки можно как-нибудь подделаться, хотя бы и наружным только образом, а с буквой нельзя совладать никаким образом, потому что в ее действиях не видишь ни смысла, ни цели, ни причины. Не говорю уже о тех, весьма редких случаях, когда цензор не только не порабощает себя букве устава, но и самый дух его старается смягчить и подчинить его высшему духу истины и добра, принимая на себя ответственность за свое великодушие. Таких случаев нельзя забыть тому, кто был их свидетелем, хотя нельзя также не чувствовать боязни за этих людей, для кото-

рых любовь к истине всегда может обратиться в вину против закона. Гончаров, с похвальным усердием ревнуя к букве закона, неумолимо крестил все, — как то, что действительно может возбуждать некоторое сомнение, так еще более то, в чем не может быть никакого сомнения, пропуская только то, где именно были самые пункты: «слона-то он и не заметил».

Хотя мы можем предполагать некоторую дозу раздражения в авторе, потерпевшем от неравной схватки с цензором, но характеристика эта, если и страдает некоторой односторонностью, то свидетельствует, с другой стороны, о несомненном усердии, какое проявлял здесь Гончаров к своим цензорским обязанностям.

Гончаров не был поклонником строгих мер против писателей, не укладывавшихся в рамки цензурного устава. Сохранилось много отчетов и донесений Гончарова, в которых эта сторона цензорской деятельности Ивана Александровича показывает его с самой выгодной стороны. Даже в тех случаях, где ему приходилось открыто выступать на борьбу с общественными течениями, которые он считал вредными для современного ему порядка вещей, он старался отыскивать мотивы, по возможности, мягкого применения карательных мер к авторам, отражавшим эти течения. Во всех обыкновенных случаях деятельность Гончарова сводилась к тому, чтобы внести примиряющее начало между формальными требованиями цензурного устава и желанием спасти литературное произведение от запрета; незначительные изменения текста чаще всего помогали ему в достижении его цели. «Иной раз кажется, — говорит исследователь цензорской деятельности Гончарова, — что это пишет не цензор-каратель, отзывы которого звучат суровым приговором Торквемады цензурного ведомства, а благосклонный критик, заботящийся о чистоте и отделке литературного произведения. Словом, в отчетах Гончарова не могла не сказаться его, несомненно,

крупная личность, и наряду с Гончаровым-цензором невольно чувствуется другой Гончаров — писатель и мыслитель».

В 1858 г. деятельность Гончарова в цензурном ведомстве становится уже заметной[26]. Под 18 января Никитенко записывает: «Министр прочитал записку о необходимости действовать цензуре в смягчительном духе. Записку эту писал кн. Вяземский, с содействием Гончарова».

В 1861 г. Никитенко хлопочет, но сначала неудачно, о назначении Гончарова членом совета по делам печати, а через полгода, 7 июля 1862 г., сообщает, что вместе с Арсеньевым они составили «телеграфическую депешу» к Гончарову в Москву, приглашая его скорее вернуться в Петербург: «у Валуева есть намерение поручить ему главную редакцию «Северной Почты». В 1864 г., под 3 февраля, Никитенко приводит любопытный рассказ, характеризующий не столько направление деятельности Гончарова, сколько ту атмосферу, в которой ему приходилось служить. «Заседание в совете по делам печати. Пржецлавский читал свою записку о сильном распространении у нас материализма и полагал, что достаточно выбрать хороших цензоров, чтобы остановить этот пагубный поток»... Никитенко возражал докладчику. «Материалистическое настроение, — говорил он, — есть настроение времени. Оно не только врывается в печать, оно сидит на кафедрах университетских, проникает в воспитание. Естественная наука овладела духом времени и вместе с утилитарным направлением образует нравы нашего времени. Сюда нужно призвать на помощь уж, конечно, не одну полицию, т. е. цензуру, а все, что есть лучшего в верованиях человеческих, в разуме, в воспитании. Но как это сделать?..» В таком же духе оспаривали Пржецлавского председатель, Гончаров и Турунов».

---

[26] Военский, К. «Гончаров-цензор», стр. 574; «Записки и Дневник», А. В. Никитенка, т. I, стр. 506.

Гончарову в этой атмосфере дышалось, как видно, не особенно легко: не по нему была служебная атмосфера. «Вечер просидел у меня Гончаров, — заносит в свой дневник Никитенко, под 23 декабря 1865 г. — Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати, как полицейский чиновник; председатель совета есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дает направление Ф. Он доносит Валуеву о словах и мнениях членов и предрасполагает его к известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые ему почему-нибудь неугодны»[27].

Года через два Никитенко отмечал разговоры Валуева с Гончаровым на ту тему, что он, министр Валуев, не признает общественного мнения. Неизвестно, как чувствовал себя Гончаров при подобного рода разговорах, но они не помешали Гончарову обосновать свои отношения к Валуеву на началах почтительной приязни и взаимного понимания. В литературной среде цензорство Гончарова создавало против него предубеждение. Цензора обычно были таким бичем русской журналистики и вообще просвещения, что вечно боровшиеся с нею писатели с трудом допускали такое положение, при котором художник с большим талантом и, казалось им, общественной чуткостью мог служить делу стеснения родной литературы. Однако, печатные нападения на Гончарова, в которых участвовали, между прочим, Щедрин и Герцен, были несправедливы, потому что захватили в круг отрицательного отношения к нему и его деятельность как художника. Гончаров так и оценивал отношение к себе некоторых литераторов. По поводу нападок в «Колоколе» он писал А. А. Краевскому из Мариенбада от 7/19 июля 1859 г.: «хотя в лондонском из-

---

[27] Никитенко, А. В., там же, т. II, стр. 266.

дании, как слышал, меня царапают, да и не меня, а будто всех русских литераторов, но я этим не смущаюсь, ибо знаю, что если б я написал черт знает что, и тогда бы пощады мне никакой не было за одно только мое название и должность». Итак, служба в цензурном комитете давалась Гончарову с трудом и не являлась для него источником того удовлетворения, которое могло быть в какой бы то ни было связи с его честолюбием или специфически служебным тщеславием, столь типичным для истого петербургского бюрократа. Подчас ему приходилось переживать в высшей степени тяжелые минуты; его едва спасала тогда присущая ему крайняя осторожность в служебных отношениях, крайняя нерешительность, обнаруживавшаяся особенно там, где обстоятельства требовали резкого выражения своего личного мнения и независимого образа мыслей. Сохранился такой эпизод из его служебной деятельности. «В 1866 году, когда всемогущему министру Валуеву удалось выставить Московские Ведомости неблагонамеренною газетою и добиться у государя позволения на запрещение ее, все члены совета по делам печати, созванные «с целью санкционировать легальными путями решение правительства», смолчали и «преклонились пред волею председателя-министра, за исключением одного Ф. И. Тютчева, который объявил, что он ни с требованием министра, ни с решением совета согласиться не может, затем встал и вышел из заседания, потряхивая своею беловолосою головою; Гончаров встал также и, подойдя к нему, пожал ему с волнением руку и сказал: «Федор Иванович, преклоняюсь пред вашею благородною решимостью и вполне вам сочувствую, но для меня служба — насущный хлеб старика»[28].

---

[28] Гончаров намекает, как правдоподобно предполагает г. Мазон, на весьма едкую статью А. И. Герцена в «Колоколе», № 6, за декабрь 1557, стр. 49.

— Эпизод этот рассказан кн. В. Мещерским в его «Воспоминаниях», напечатанных в «Гражданине» 1897, 5, стр. 9 и 10. См. Ма-

Гончаров, подобно Обломову, познал, испытал порыв, но поступить не решился; мотивировку оставляем на совести автора воспоминаний.

С другой же стороны, тридцати двух летняя государственная служба была для Гончарова, очевидно, делом, не выходившим из границ внешних условий, внешней рамки человеческой жизни, и не этому делу была отдана таинственная работа ума и сердца Гончарова.

XVI

Гончаров в частной жизни. — Дружба с Майковыми. — Литературно-художественная атмосфера дома Майковых. — Литературный дебют Гончарова. — Чтение «Обыкновенной истории». — Консерватизм в домашнем быту. — Гончаров и слуги. — Отзывы родных о привычках и вкусах Гончарова.

И служба и жизнь делали свое дело, — годы ползли. Гончаров на службе скучал, дома писал, бывал на вечерах, обедах, посещал театры, ездил заграницу...

Мы уже видели, что, вопреки установившемуся мнению, служба тяготила Гончарова, и если он тянул чиновничью лямку, то лишь под давлением материальных забот. Литературная работа при той медлительности, с какою совершалась она, не могла бы дать ему достаточно средств к жизни. Бывали и такие времена, что приходилось нуждаться и терпеть невзгоды; в письме к сестре, А. А. Музалевской, он вспоминал «щель, в какой жил прежде»[29]. Одно время Гончаров был со-

---

зон, А. — «Русская Старина», 1910, стр. 472. Особенного доверия рассказ этот не возбуждает.

[29] Это письмо от 20 сентября 1861 г. напечатано М. Ф. Суперанскнм в его статье «Ив. Ал. Гончаров», «Вести. Евр.», 1908, декабрь, стр. 424. Гончаров пишет: «...У меня, правда, сапоги крепки (и то не всегда) и квартира прилична, но если кто-нибудь захотел бы приютиться ко мне, то уже у обоих были бы худые сапоги, и при-

всем без места и пробивался на остатки от «Обломова». Карьера, как и материальный достаток, давалась ему постепенно, отвечая выраставшей с годами потребности к уюту и комфорту. Внимание, которое уделял Гончаров в романах вопросам удобства и уменья жить, обязывает нас подробнее остановиться на тех свидетельствах, которые изображают художника в кругу его обстановки и привычек. У нас почти нет сведений о первых годах его служебной деятельности, о том времени, вероятно, непродолжительном, когда квартира его оправдывала название «щели». Все воспоминания говорят, напротив, об его уменье устроиться просто, но уютно, со вкусом, об его изящном костюме и мягких манерах, приобретенных в хорошем светском кругу.

В конце 30-х годов Гончаров сблизился с семьей художника Ник. Апол. Майкова, отца трех знаменитых деятелей русской литературы. Он давал уроки двум старшим сыновьям Майкова — Валериану и Аполлону, который обнаруживал уже тогда значительный литературный талант. «Из его стихотворений, — рассказывает И. И. Панаев, — из опытов брата его Валериана и из трудов друзей дома Майкова и любителей литературы, между прочим И. А. Гончарова, составлялись целые книжки, которые отлично переписывались, переплетались и показывались гостям Майкова»[30]. В салоне Майкова бывали, кроме Гончарова, поэт В. Г. Бенедиктов, И. И. Панаев,

---

шлось бы носить одну шинель двоим. А квартиру я скоро сдам и найму себе щель, в какой жил прежде: одним словом, года два-три протянусь на те деньжонки, которые достались от Обломова, а потом сам поступлю в разряд нищих»...

[30] Панаев, И. И. «Литературные воспоминания...» Спб., 1876. Повесть «Счастливая ошибка» опубликована А. А. Мазоном в «Casopis pro moderni filologii y Praze, 1911, I, стр. 106–111. В тексте мы повторили изложение по А. А. Мазону; в приложении к настоящему изданию мы печатаем эту повесть с оригинала.

Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, С. С. Дудышкин, А. В. Старчевский, Вл. Андр. Солоницын, бывший начальник Гончарова по департементу внешней торговли и тоже писатель, позднее посещали Майковых братья Достоевские.

Вл. Андр. Солоницын играл на этих собраниях выдающуюся роль. Ему принадлежала инициатива литературных чтений по вечерам, в праздничные дни; возможно, что именно он и познакомил Гончарова с Майковыми, которым необходим был для сыновей преподаватель начитанный и обладавший тонким литературным вкусом.

Артистическая и светская атмосфера, господствовавшая в доме Майковых, оказала свое благотворное действие на художественное развитие молодого Гончарова, который отдыхал здесь от «мертвой» канцелярской работы. Среди разнообразных литературных и художественных попыток, чередовавшихся с чтением Пушкина и классиков, под оживленные толки о домашних спектаклях и споры о литературном сборнике, родились и первые творческие опыты Ивана Александровича. В 1839 г. в рукописном сборнике «Лунные ночи», издававшемся членами этого литературного кружка, появилась первая повесть Гончарова «Счастливая ошибка» — эскиз к «Обыкновенной истории».

Егор Петрович Адуев, герой повести, красивый и неглупый молодой человек, самодовольный и богатый, уже несколько лет живет в Петербурге. Пережив сентиментальный период своей юности, о чем кратко упоминает автор, — он влюбляется в молодую девушку, баронессу Елену Неулейн, и хочет на ней жениться. О своем намерении он никому не сообщил, но оно было ясно и для родителей девушки и для нее самой. Адуеву кажется, что любовь его — последняя в его жизни, и что только она может составить его счастье. Ему кажется, что Елена также его любит. Но она кокетка, и ее кокетство тревожит и волнует его. У нее, по-видимому, много

поклонников, с которыми она болтает, шутит и смеется, делая вид, что забывает Адуева. Ея лукавая игривость приводит его в полнейшее отчаяние.

Адуев сердится, Елена смеется. Он сердится и романтически резонерствует, как Адуев «Обыкновенной истории», а молодая девушка продолжает смеяться. Он упрекает ее в том, что она не понимает его и не любит, и наконец, увлеченный своим собственным красноречием, заявляет ей, что расстается с ней навсегда.

Он возвращается домой печальный расстроенный и предается отчаянию. Но он хочет взять себя в руки. Зовет к себе своего управляющего и говорит, что будет сам ежедневно заниматься своими делами, за которые давно не принимался. После этого энергического решения, — которому читатель поверит едва ли больше, чем решимости Обломова, — Адуев думает совершенно о другом, а именно о том, как бы приятно провести день. Он приглашает к себе несколько приятелей, отъявленных кутил, но неожиданно и сам получает приглашение на бал, который должен был состояться в тот же вечер в Купеческом собрании. Он отправляется, приказав кучеру «ехать в Купеческое собрание, в тот дом на Английской набережной, где постоянно бывают балы».

Бал оказался блестящим. Адуев несколько растерялся среди важных чиновников, дипломатов, представителей высшего общества, которых он там встретил. Вдруг он замечает Елену, но она совсем другая: меланхолическая, равнодушная к своим поклонникам, молчаливая, задумчивая. Теперь он убеждается, что она его любит, и, при встрече с ней, просит у нее извинения. Настроение их сразу меняется. Еще до окончания бала они отыскивают родителей Елены и просят их благословения. Те дают согласие.

На следующий день Адуев узнает, что все произошло благодаря счастливой ошибке, так как кучер, вместо Купече-

ского собрания, заехал во дворец неаполитанского посла «в тот дом на Английской набережной, где постоянно бывают балы».

В этой первой повести Гончарова обнаружились уже наиболее важные стороны его таланта: живость изложения, наблюдательность, юмор. А. А. Мазон, познакомившийся со «Счастливой ошибкой» еще в рукописи, отметил в ней признаки влияния Гоголя, придает ей значительную цену в истории развития гончаровского творчества. «В этой повести, — говорит он, — лежит зародыш большей части позднейших произведений Гончарова. Можно сказать, что Адуев, герой «Обыкновенной истории», существует уже с 1839 г., ибо Егор и Александр Адуевы — это родные братья, столь похожие друг на друга характером, что их даже нельзя различить. Когда Егор, не имея достаточного повода для раздражения, с горячим красноречием обрушивается на невинное кокетство Елены, нам кажется, что мы слышим Александра Адуева, ибо и «Счастливая ошибка» и «Обыкновенная история» в равной степени характеризуются юношеской неуравновешенностью и романтическим пафосом. И надо заметить, что Егор Адуев в то же время родной брат Обломова: в сцене его с управляющим уже предчувствуются элементы будущего романа, доставившего Гончарову славу. В словах Егора Адуева уже слышится речь Обломова».

Среди лиц, которых Гончаров встречал, бывали и видные бюрократы, по-своему просвещенные, учтиво-благоразумные, пользовавшиеся влиянием в обществе и знавшие цену своей житейской опытности, и жизнерадостная молодежь, романтически порывистая, носившаяся с культом «искусство для искусства»; вокруг юношей Майковых, серьезно занимавшихся литературой и философией, спорила и волновалась группа молодых дилетантов, заменявших глубину мысли и серьезность изучения пафосом выспренних фраз и

прекрасных намерений, не переходивших в дело. Элементы старшей и младшей адуевщины были, таким образом, налицо, и Гончаров мог свободно и не торопясь наслаивать однородные внешние впечатления на ту психологическую основу, которую он носил в своей душе. Есть указания даже на лица, с которых Гончаров списывал будто бы основные признаки своих Адуевых: «Героем для повести Гончарова послужил его покойный начальник, Вл. Андр. Солоницын, и Адр. Паре. Заблоцкий-Десятовский, брат которого, Мих. Парф., бывший с ним в университете и знакомый Ив. А-ча, близко познакомил автора с этой личностью. Из двух героев, положительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию, Ив. Ал. выкроил своего главного героя. Племянничек с желтыми цветами составлен из Солика (племянника Вл. Андр. Солоницына — Вл. Апол. Солоницына) и Михаила Парфеновича Заблоцкаго-Десятовского; а прощание с матерью, приготовление к отъезду и первое впечатление, произведенное на племянничка Петербургом, — это описание своего отъезда из родного гнезда и приезд в Петербург». А. В. Старчевский, рассказавший это, не дает возможности судить, насколько сходство Адуевых с названными лицами касалось не внешних признаков, а существа.[31] Но последние строки, отмечающие черты автобиографического значения, дают возможность предположить, что наблюдения сводились к внешним признакам, которые невольно бросались в глаза. Автору и трудно было судить в то время, насколько остов адуевского характера глубоко лежал в моральном облике самого Гончарова. Дилетантизм, равнодушие ко всему, что выходило за пределы самоцельно-живущего искусства и излюбленных форм быта, чуткость к романтиче-

---

[31] Старчевский, А. В. «Один из забытых журналистов», «Исторический Вестник», 1886, кн. 3, стр. 360—386.

ским исканиям в области эстетических и сентиментально-грустных настроений составляли натуру самого Гончарова, делая ее утонченно-требовательной, эстетически-чуткой и капризной. Тот же Старчевский, сохранивший в своих воспоминаниях описание майковских вечеров, привел одну, не лишенную интереса, записку Вл. Апол. Солоницына. Последний приглашал Старчевского приехать к Майковым на чтение. Вот содержание этой записки: «Евгения Петровна (т. е. Майкова), Валерьян и я купно советуем тебе прийти слушать повесть Ив. Ал. (т. е. Гончарова), хотя к 6-ти часам, иначе Ив. Ал. рассердится, тем более, что он читает повесть для тебя и Юнии Дмитриевны, которые не слышали ее, а не для М-х (т. е. Майковых), которые уже слыхали ее дважды... Если ты не придешь, это его весьма обидит; ты знаешь, как он скрупулезен. Итак, убедительно советуем прийти к 6-ти часам. Ответь хоть словом».

Гончаров был, стало быть, совершенно своим человеком в семье Майковых; нрав его был до тонкости известен всем, посещавшим их вечера. К нему относились с большим вниманием, баловали; его литературные опыты выслушивались по нескольку раз...

Чтение, о котором шла речь в записке Солоницына, относилось к «Обыкновенной истории». Гончаров писал ее в годы, непосредственно следовавшие за первоначальным наброском Егора Адуева в «Счастливой ошибке». Он находился в том периоде окончательной отделки своего произведения, когда художник нуждается для последних штрихов в сочувственном внимании и замечаниях лиц, на общее впечатление которых он мог бы положиться.

Старчевский так описывает это чтение: «На другой день (после получения упомянутой записки) я явился в семь часов вечера к Майковым и застал там всех наших знакомых. Спустя четверть часа, Ив. Ал. начал читать свою повесть. Все мы слушали ее со вниманием. Язык у него хорош; она написана

очень легко, и до чаю прочитано им было порядочно. Когда разнесли чай, начались замечания, но они были незначительны и несущественны. Вообще повесть производила хорошее впечатление. Чтение продолжалось несколько вечеров сряду, и по мере ближайшего знакомства с повестью развивался и интерес; все яснее и яснее выходили лица. Конечно, замысел ее незатейлив, ничего сложного и запутанного не было; но, по мере ближайшего знакомства с действующими лицами, все чаще и чаще становились замечания; но это были замечания слишком молодых и неопытных еще людей; дамы тоже делали в эти замечания и свои вставки, также не имевшие никакого критического значения; старики вовсе не высказывались.

«Жаль, что тогда среди нас не было ни одного человека с опытом и авторитетом, который знал бы, на что следовало обратить внимание, что изменить, сократить или развить. Несмотря, однако, на самые легкие замечания молодежи, Ив. Ал. обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и решился сделать изменения в повести «Обыкновенная история», сообразно с указаниями молодого критика. Конечно, Ив. Ал. во время чтения своей повести при многочисленном обществе сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк. Но, все же, переделка эта потребовала немного времени, потому что, спустя несколько дней, опять назначено было вторично прослушать «Обыкновенную историю» в исправленном виде; я снова получил приглашение, но не мог им воспользоваться»...[32]

---

[32] Суперанский, М. «Вестник Европы», 1908, ноябрь, «Воспоминания А. Н. Гончарова», стр. 27 и след.

Рассказ этот очень интересен. Прежде всего, он изображает картинку старого литературного быта, в котором Гончаров играл столь видную роль. Во-вторых, он рисует писательский облик Гончарова, его внимание к критическим замечаниям, его мнительность, вернее — недоверчивость к собственным художественным силам, сомнения, нуждавшиеся в разрешении опытных литераторов и особенно чуткой молодежи. И в то же время чувствовалось, что уже тогда Гончаров отличался большим самолюбием художника, предвкушавшего лавры и терния литературной славы.

Литературные успехи в обществе, покой и одиночество в домашней остановке... Такова привычная смена ощущений быта, милого сердцу Гончарова.

Втянувшись постепенно в петербургскую жизнь и обставив свой быт сообразно своим представлениям о комфорте, Гончаров не любил перемен ни в отношении квартиры, ни в образе жизни. На Моховой, в доме Устинова, он прожил последние тридцать лет. По свидетельству Ал. Ник. Гончарова, домохозяин за сторублевую квартиру брал чуть ли не 25–30 рублей в месяц, не желая получать с Ивана Александровича более того, что назначил его отец. Дома стола Гончаров не держал, обедал в Hôtel de France. После обеда он совершал длинную прогулку, гулял до десяти часов; по возвращении, дома ждал его чай. Завтрак его был очень скромен — пара яиц и сыр, но пообедать Гончаров любил и к гастрономии не был равнодушен. В воспоминаниях племянника Гончарова есть любопытная страничка, посвященная рассказу о пребывании писателя в 1862 г. у сестры Музалевской в Симбирске. Сестра сделала все, чтобы угодить своему знаменитому брату, и позаботилась, главным образом, о поваре и провизии. Гончаров был очень доволен приемом и пребыванием своим у сестры; иногда только ворчал на повара, вспоминая те блюда, которые ему готовили заграницей. Во время прогулок

он посещал и знаменитый обрыв, находившийся в саду его матери, расположенном на том же горном берегу Волги, где, по рассказам старожилов, находилась беседка, напоминавшая описанную в романе. «Но жирные стерляди, бекасы, дупеля, соусы из уток и кулебяки из осетрины с вязигой оказали свое действие на Гончарова, привыкшего к умеренным обедам Hôtel de France и к легким блюдам крупных петербургских чиновников: он стал прихварывать, делался капризным и начал скучать по Павловску и Царскому Селу.

«Колебания барометра оказывали на него огромное влияние: поднимался ли ветер, собирался ли дождь, он начинал брюзжать и жаловаться, что и стерлядь слишком жирна, и обед не такой тонкий, как в Карлсбаде, что глупая и пустая жизнь сонного Симбирска совершенно не соответствует его характеру.»

«Что это, — говорил он Анне Александровне, — у тебя за повар? Ведь, какой-нибудь Собакевич или Петух может à la longue безнаказанно сносить такие обеды; а я, человек кабинетный, скромный петербургский чиновник, не симбирский житель, не могу ежедневно переваривать всю эту волжскую благодать».

«Музалевская, соображаясь со вкусами знаменитости, изменила menu обедов и завела «французскую кухню»: появились бульон, «пожарские котлеты», соусы из раковых шеек и т. п. Поесть вкусно и с толком Гончаров умел, но он не признавал за поваром Анны Александровны французского искусства, плохо переваривал его произведения и с каждым днем становился желчнее, капризнее и невыносимее. «Вот в Париже, — говаривал он после сытного обеда, — в Hôtel de Nice, меня кормили точно французской кухней: и вкусно, и сытно, и легко; морская рыба имеет свой привкус и особый, не вредный, жир и пулярдки превосходны; о пирожном я и не говорю: его можно есть только в Париже; а эти изуми-

тельные vol-au-vent garni! Это кушанье заказывали для меня у Palissier... У наших поваров нет вкуса, нет изящества, нет школы и таких кулинарных преданий».

«Анна Александровна конфузилась, не знала, что делать, и старалась чаще заглядывать в кухню, где повар выбивался из сил, чтобы угодить «петербургскому генералу».

Мы пользуемся этими сообщениями, потому что, за исключением намеков на дурной нрав Гончарова, они сходятся с тем, что известно из письменных и устных свидетельств. По поводу же недовольства и как бы неблагодарности, проявленной Гончаровым по отношению к сестре, следует иметь в виду замечания г. Суперанскаго, что «подлинные слова Гончарова, записанные его племянником через сорок пять лет, не могут претендовать на абсолютную точность: в них немало авторского субъективизма»... Наряду с этим г. Суперанский отмечает впечатление, какое оставил Иван Александрович во время посещения других своих родственников — Кирмаловых. «По их словам, он был благодушен, много шутил и никого ничем не огорчал. Сам он писал о своем пребывании в Симбирске к сестре Александре Александровне: «Я живу у нее (Анны Александровны), она балует меня, как покойница маменька; мне так же хорошо, тепло, как тогда».

В числе важнейших частностей комфорта, в которых сказывался характер Ивана Александровича, был вопрос о прислуге. Добрый десяток дворовых Захаров, окружавших его в детстве, значительно сократился в Петербурге. Пришлось остановиться на одном «слуге», серьезного характера, солидной повадки, обязанного знать привычки «своего барина» и обслуживать потребности его несложного домашнего обихода. И здесь Гончаров не любил перемен и всегда бывал недоволен, когда они происходили по тем или иным причинам. В своем очерке «Слуги» Гончаров обессмертил четыре типические фигуры лиц, служивших ему в разные периоды его жизни.

Глубокое знание дворни, ее интересов, чувств и миросозерцания было в высокой степени присуще Гончарову. Знание это привело Гончарова к построению весьма законченного типа среднего дворового человека, нравственный облик которого характеризовался, главным образом, крепостным дворовым состоянием последнего, его отношением к «господам». Вычесть понятие «господ» из миросозерцания крепостного слуги значило бы лишить его того устоя, на котором держался весь строй его понятий. От типа дворового, вообще крепостного человека, господского слуги, до среднего типа русского крестьянина, каким он является в своей поэзии, расстояние слишком большое, и Гончаров, создавший классическое воплощение первого, нигде не дал, нигде не создал образа, смысл которого определялся бы стихийными движениями не подневольной и косной, но пытливо ищущей и свободной во внешних проявлениях народной души. Средний тип, созданный Гончаровым, говорит о косности и одеревенелости известного бытового уклада. Образы Платона Каратаева, Касьяна с Красивой Мечи говорят о глубоких и тонких движениях мысли и чувства, поднимающихся в высокой одухотворенности своего отношения к миру над всеми условиями времени и места и потому недоступных внешнему стеснению. Во всякой внешней обстановке люди, подобные им, будут вечно свободны и независимы. Они настолько поглощены переживаниями своего внутреннего мира, преображаемого ими силой религиозного экстаза в сплошной гимн божественному процессу жизни, что внешний мир существует для них лишь постольку, поскольку он является отражением их представлений. Для гончаровского «мужика» господство и барство являются всем — и недостижимым идеалом, и своего рода мистическим культом, и исчерпывающим предметом жизненных интересов, отраженных тревог, радостей рабьей привычки, любви, ненависти и презрения. Благодаря этому, конечно, разнообразие народ-

ных типов, имеющих органическое происхождение, сводится у Гончарова к художественно-зарисованному в разных положениях, но одному и тому же для всех романов шаблонному типу мужика — барского слуги. От этого Евсей так напоминает Захара, как денщик Фаддеев напоминает Егорку-зубоскала.

Последние годы своей жизни Гончаров прожил в обществе слуги-немца Карла и жены его Александры Трейгульдт, у которых было трое детей — две девочки и один мальчик. Когда Карл умер, Гончаров оставил в услужении жену его Александру Трейгульдт и горячо привязался к ее детям. Ей, как известно, он завещал свое состояние и литературное наследство, о детях заботился, как о родных. Он с ними гулял, всячески баловал, учил грамоте, а позже проявил самую трогательную заботливость об их судьбе. Между прочим, 1-го марта 1882 г. он писал графу Валуеву, тогда министру внутренних дел, прося его посодействовать окончательному устройству участи одного из «вверенных ему Провидением» сирот, мальчика Васи. «У меня нет сил, чтобы совершить эту операцию и ввести сироту в надежное убежище до его совершеннолетия и успокоить тем его хворающую мать и облегчить и мне тягость павшей на меня, должно быть, за грехи мои, заботы»[33]. Особенно любил Гончаров старшую девочку, Александру, которая, по сообщению ее матери, писала под диктовку его последние три очерка, когда он летом отдыхал на даче в Петергофе.

XVII

Поездки Гончарова заграницу. — Письма к друзьям и знакомым. — Рассказ П. Д. Боборыкина о пребывании Гончарова заграницей.

---

[33] Письмо к Валуеву «И. А. Гончаров в неизданных письмах к гр. П. А. Валуеву», Спб., 1906, стр. 63—64.

Важный элемент в жизни Гончарова составляли его частые поездки заграницу, куда он ездил частью для лечения петербургских недугов, частью для литературной работы; посещал он преимущественно курорты Германии, бывал в Швейцарии, любил заглянуть и в Париж. Его многочисленные письма к друзьям говорят о прогулках, обедах, о переменчивых настроениях духа, зависевших и от перемены погоды, и от степени комфорта отелей, и от тех или других встреч со знакомыми, и от успешности творческой работы. «Приходил Гончаров прощаться, — записывает Никитенко в дневнике под 19 мая 1859 г. — Он едет заграницу на 4 месяца. Счастливец! И свобода, и юг, и горы Шварцвальда, и Рейн!» Под 22 мая 1860 г. (в Дрездене): «Дни проводим в приискании квартиры и прогулках по городу с Гончаровым, который одержим неистовой страстью бродить по городу и покупать в магазинах разные ненужные вещи. Мы перепробовали с ним сигары во всех здешних лучших сигарных магазинах». Под 14 сентября (в Дрездене): «Усердно гуляем то в Гросгартене, то на Брюллевской террасе; то я бесцельно брожу по городу с И. А. Гончаровым, который продолжает неистово заниматься покупками — в настоящее время особенно сигар и стереоскопных картинок с видами»... Под 23 мая (там же): «Прогулка в Тарант со всей семьей и с Гончаровым в коляске»[34]. Такие сообщения способны, пожалуй, разубедить иных из читателей в том, будто бы Гончаров был уж очень неподвижен и ленив.

Чаще других писал Гончаров из заграницы М. М. и Л. И. Стасюлевичам, А. Г. Тройницкому, известному статистику, тогда товарищу министра внутренних дел, П. А. Валуеву. В письмах к Тройницкому встречаются любопытные черточки, типично характеризующие Гончарова. С Трой-

[34] Никитенко, А. В. «Записки и Дневник», т. I, стр. 668, 593 и след.

ницким Иван Александрович познакомился в 1862 г., когда был назначен главным редактором «Северной Почты». Письма эти интересны в том отношении, что, придавая им несколько официальный характер, Гончаров проявлял в них коренные свойства своего литературного стиля, его спокойную изобразительность, выпуклость в обрисовке деталей, тонкий юмор. В 1866 г. Гончаров отправился в Мариенбад, но по пути попал в передрягу во время военных неурядиц между пруссаками и саксонцами. Гончаров «бежал» вместе с саксонцами от пруссаков и потому имел основание считать себя участником военных действий. С обычной своей обстоятельностью изображает Гончаров все перипетии пережитого им затруднения, которое окончилось вполне благополучно, но отняло часть времени, предназначавшегося для лечения и писания. «А эти две цели только и побудили меня поехать нынешний год, — пишет Гончаров, впадая в слегка ворчливый тон. — Других у меня нет, да и быть не может. Собственно же шатанье без цели, хотя его и возводят в степень путешествия, для меня теперь не имеет никакого смысла. Я не нахожу нигде никакого удовольствия, не исключая и Парижа. В Баден-Бадене я провел приятно время потому, что нашел там Тургенева, Боткина, вашего соседа, и много других знакомых». Заграничная жизнь не вносила в быт Гончарова того разнообразия впечатлений, которое могло бы заглушить застарелые петербургские привычки, не находившие здесь своего применения. «Чтобы окончательно оправдаться в слабости к Парижу, скажу, что я так же провожу здесь время, как у себя в Моховой, с тою только разницею, что в Моховой мне покойнее. Я никуда, кроме Тюльери и Champs-Elysées (для моциона) не хожу и никого не вижу... Я даже иногда мысленно переношусь в совет по делам книгопечатания, и именно перенесся в ту минуту и жадно мечтал о нем, когда

нас выгнали из вагонов, в ожидании приближавшихся пруссаков».

В письме к Тройницкому от 12 (24) августа того же года, Гончаров посвящает несколько строк процессу своей литературной работы; из них видно, каким капризным колебаниям она подвергалась[35]. Выразив благодарность П. А. Валуеву за внимание к его «литературным занятиям», Гончаров говорит: «Я бы последовал вашему приятному совету и выпросил бы себе месяц отсрочки, если б надеялся кончить свой труд. Но этой надежды у меня нет, да и быть не может: нельзя сказать себе сегодня, будешь ли работать завтра; можно принудить себя ко всякой работе, кроме той, в которой должна участвовать фантазия, эта слишком нежная и капризная способность. Я бодро работал прошлую неделю, листы плодились под рукой; время было, т. е. погода свежая и прохладная. А теперь наступили жары, у меня стали делаться приливы к голове, и я опять положил перо»... Видно, медлительная способность «рисовать» требовала для своего осуществления у Гончарова напряжения всех духовных сил, и работа вовсе не давалась ему так легко.

Было и еще одно обстоятельство, которое заставляло Гончарова работать нервно и с повышенной энергией. В это время перед ним неотступно стоял образ Тургенева, только что напечатавшего перед тем свою повесть «Дым». Хотя Гончаров и писал, что он проводил «приятно» время в обществе Тургенева и Боткина, но свидания с Тургеневым были ему едва ли приятны. Он радовался, слыша недобрые отзывы о «Дыме», и не мог отказать себе в удовольствии сообщить автору, что «Дым» лежит у него «недочитанный». Тройницкому же писал, что когда при чтении он дошел «до любви», ему

[35] Письмо к Тройницкому — у М. Ф. Суперанского, см. выше, стр. 450.

стало «частью беспокойно, частью противно». Червь литераторского самолюбия точил сердце Гончарова и заставлял его усиленно работать. «Я пребываю в злачном и покойном Киссингене, — писал он 19 июня (1-го июля) 1868 г., — пью воду и еще более исполняю советы многих доброжелателей литературы и моих, в том числе и ваш совет — ехать и доканчивать труд, о котором, к горю моему, возникли в публике какие-то, распущенные злокачественными людьми, преувеличенные ожидания. И вот я царапаю этим самым пером, которым пишу письмо, в своих тетрадях, и иногда до того усердно царапаю, что вся приобретенная от питья воды польза уничтожается неумеренным сиденьем за письменным столом. Доктор стал было против этого восставать, но я дал ему злата... и прогнал его. И теперь, без доктора, чувствуя себя легче».

Ни о ком не говорил Гончаров с такой тревожной недоброжелательностью в своих заграничных письмах как о Тургеневе, который отравлял ему спокойствие духа при всех условиях комфорта и покоя. Мы увидим в одной из следующих глав, что это была не простая литературная неприязнь...

Заграницей познакомился с Гончаровым П. Д. Боборыкин в 1870 г. В одном из своих воспоминаний он привел несколько небезынтересных замечаний о характере и заграничных привычках Гончарова.

«С личностью Ив. Ал., его тоном, оттенками характера, странностями и слабостями, — рассказывал Боборыкин, — меня довольно подробно ознакомил граф В. А. Соллогуб, еще в бытность мою студентом в Дерпте[36]. Уже тогда я знал, что

---

[36] В воспоминаниях П. Д. Боборыкина были еще следующие строки: «Роман сильно интересовал нас всех и своим замыслом, и отдельными фигурами. Кое-что дошло уже и заграницу, где я оставался целых четыре года, о том инциденте, какой омрачил от-

преобладающей чертой его характера была необычайная, почти болезненная осторожность и боязнь попасть в какое-нибудь неловкое положение. Соллогуб изображал в лицах целый ряд сцен. И одна из них сохранилась в моей памяти: на каких-то водах он нашел Ив. Ал. на станции в обществе какой-то дамы, совершенно приличной особы, из его петербургских знакомых. И как бедный Ив. Ал. конфузился, уклонялся от разговора, стараясь поскорее уйти из пассажирской залы!

«Эта черта была в нем коренная и на старости, разумеется, развилась до крайности, чем объясняется наполовину и его предсмертный запрет оглашать его письма, не предназначавшиеся к печати.

«Через одиннадцать лет по появлении «Обломова» познакомился я лично с Гончаровым и провел в его обществе добрый месяц, видаясь с ним почти каждый день.

«Это было в конце мая 1870 года, месяца за два до объявления франко-прусской войны, в Берлине. Я приехал пожить в прусской столице, больше как корреспондент двух русских газет, и сейчас же, через товарища моего по Дерпту, д-ра Вл. Бакста, сошелся с целым кружком русской молодежи, которая сама себя называла «бандой»; вместе прожигали жизнь по Берлину и обедали за табльдотом — тогда самым лучшим в Берлине, в Hôtel de Rome, когда-то воспетом поэтом Огаревым.

ношения Гончарова к своему собрату и — до того времени — приятелю Тургеневу, по появлении «Отцов и детей». Нам было жаль автора «Обрыва» в том смысле, что он мог, действительно, задумать тип «нигилиста» раньше Тургенева. Но кто же был виноват в том, что он, как истый Кунктатор, писал свой роман более десятка лет?

«Я говорю: «писал». Это неверно. Обдумывал, дожидался расположения к работе, досуга — да, но писал очень быстро»...

«Эта «банда» состояла как бы и при Ив. Алекс. Он жил в Берлине перед отправлением на какие-то воды, кажется, в Мариенбад.

«Перед тем, почти ровно за год, живя в Швейцарии, по возвращении из Испании, в горах, около Цюриха, я часто навещал другую студенческую банду, и один из ее членов давал мне читать «Обрыв»...

Одно из первых авторских сообщений нам (об «Обрыве») был рассказ самого И. А. о том, как он на водах, а потом, если не ошибаюсь, в Париже, так быстро писал «Обрыв», что у него затекала рука, и он сидел часами за письменным столом, написывая до печатного листа в сутки и более.

Гончарову было в 1870 г. пятьдесят восемь лет, так как он родился в 1812 г. и был на целых два года старше Лермонтова.

Его внешность я нашел совершенно такою, как на его тогдашних портретах; еще свежий барин (хотя и был купеческого рода), полный, но не тучный, с теми чертами и выражением лица, как он сам описал себя в своем романе. Тон его сразу нравился, и тон, и самый язык, сочный, с обильной и меткой фразой, с привлекательной объективностью и тонкостью всех замечаний и характеристик. Одевался он без франтовства, но очень старательно, как истый житель Петербурга.

Его можно было легко принять, особенно заграницей, и за крупного петербургского чиновника, директора департамента или за кого-нибудь в таком роде.

«Ив. Алекс, очень любил тогдашний Берлин и находил, что такого городского парка для прогулки, как «Тиргартен», нет ни в одной столице. Он ходил туда неизменно каждый день, в послеобеденные немецкие часы, т. е. после двух.

«И вот тут я мог сам убедиться в верности наблюдений графа Соллогуба насчет преобладающей черты его характера: постоянной заботы о том, чтобы себя не выдать, избежать

всякой неловкости, уклониться от каждого сколько-нибудь рискованного поступка, даже и в совершенных пустяках.

«Банда» всюду его сопровождала. И чуть не каждый день кто-нибудь из ее членов, начиная с Вл. Бакста, игравшего в ней роль «старосты», скажет Гончарову:

Иван Александрович! Когда же вы пожалуете к нам, в Hôtel de Rome, за табльдот? Ведь, это лучший обед Берлина и стоит, по абонементу, всего пятнадцать зильбергрошей. Сам Мольтке обедает у нас! В вашем «Britich Hôtel» — дороже и гораздо хуже! А вы не можете освободить себя от этого пленения!

Вы правы, друзья мои, — неизменно ответит И. А. — Обед у меня совсем неважный. Но войдите в мое положение. Я там останавливаюсь столько лет. И вдруг хозяин стоить на крыльце и видит, как я в обеденные часы, ушел в другую гостиницу. Простите! Я не могу! Не могу!

Мина его лица делалась жалостной. И мы все чувствовали, что он, действительно, не может посметь изменить хозяину Бритиш-отеля»...

Романы Гончарова многое доскажут из того, что может быть названо историей образования личности, выработки характера и миросозерцания. Без этого драгоценного материала самые яркие воспоминания, именно по отношению к Гончарову, были бы всегда слишком недостаточны и характеризовали бы только внешние черты его натуры.

XVIII

Гончаров о современных ему писателях. — Гончаров и Тургенев. — Болезненная мнительность — коренная черта в отношения Гончарова к Тургеневу.

Мы видели, что в ту пору, когда Гончаров был здоров и крепок, он очень любил общество, особенно такое, где мог встретить умный, тонкий разговор и привлекательную свет-

скую или артистическую обстановку. Он был знаком со всеми виднейшими представителями литературного мира, но в дружеских отношениях был с немногими. На его петербургской квартире на Моховой можно было встретить в разное время Писемского, Григоровича, Никитенка, П. Д. Боборыкина, М. Семевского, Бакста, А. Ф. Кони, Стасюлевича. В воспоминаниях племянника Ивана Александровича сохранилось несколько отзывов о современных ему литераторах, но опять-таки надо помнить, что воспоминания эти очень односторонни: в них, как будто нарочно сохранилось одно лишь неблагоприятное для Ивана Александровича. Из других источников мы знаем, как ценил Гончаров многие явления современной ему литературы, как глубоко и тонко разбирался он в их достоинствах и значении. Поэтому сообщения Ал. Ник. Гончарова об его дяде и с этой стороны не могут не казаться нам тенденциозными. Однако, их нельзя упускать из вида, нельзя не считаться с ними, пока биографических материалов все еще недостаточно. Приведем наиболее существенное из отзывов Гончарова, запавших в память его племянника. «Некрасов, — говаривал он, — поет о нужде крестьян, их плохом материальном положении, а сам довел своих бывших крепостных до того, что те приходили жаловаться на него княгине Белосельской-Белозерской»... Едва ли Гончаров говорил это, но если и говорил, то он повторял ходившую по Петербургу неправду, не нуждавшуюся даже в опровержении, потому что близкие к Некрасову лица знали, что крепостными людьми он не владел никогда.

«Однажды, — рассказывал племянник Ивана Александровича, — проходили мы с ним по Николаевскому мосту. Показывая на Петропавловскую крепость, он сказал: «Вот там сидит Чернышевский. Он думал быть умнее всех, а вот куда попал». Впрочем, сказал он это не с иронией, а, видимо, будучи уверен, что лишний ум должен непременно довести человека до Петропавловской крепости».

Приводил племянник и такие отзывы Гончарова о Никитенке и Салтыкове: «Первого я застал у него как-то в 1870 или в 1871 году. Когда тот ушел, Гончаров сказал: «Как профессор, он не из первых, ничем не отличается, а, между тем, тайный советник». О Салтыкове он тоже выразился, будто он талантом не отличается, а «здесь (т. е. в Петербурге) боялись его бича», и вслед за тем прибавил: «Только вы об этом не говорите: это, ведь, нас не касается».

«Он чрезвычайно высоко ставил Пушкина, Белинского и Л. Толстого. О Белинском он всегда вспоминал с большим уважением. Маска знаменитого критика висела у него в кабинете. Но что общего было между этими противоположными натурами? В Толстом его особенно поражала наблюдательность. Я помню, например, как восторгался он описанием зрительной залы Большого театра в романе «Анна Каренина». Его поражали в этом описании детали. «Ведь, десятки раз бывал я в этом театре, — говорил он, — а ничего подобного не замечал. Толстой же, при своей колоссальной наблюдательности, описал все это превосходно, ярко, картинно». Следует здесь отметить, что сам Гончаров был изумительно прекрасный рассказчик, неподражаемо передававший разные мелочи, исчезающие от обыкновенного наблюдателя.

К молодым писателям того времени Гончаров относился крайне враждебно. Он с раздражением говорил о «каких-то Помяловских, Якушкиных, Успенских, которых он не читал и не знал». В свою очередь, и «молодые писатели» не любили Гончарова. Даже Корш, редактор «Петербургских Ведомостей», отзывался о нем с насмешкой. А Шелгунов, которого я часто встречал у Ватсона, совершенно не выносил его и уверял, что после Греча и Булгарина это — наиболее ретроградный писатель»...

Как справедливо заметил г. Суперанский в своих примечаниях к воспоминаниям Ал. Ник. Гончарова, Иван Александрович ценил в Толстом не одну наблюдательность. Известен его отзыв о Толстом как о бесспорно великом реалисте в лучшем смысле слова. Так отозвался он о Толстом в статье «Лучше поздно, чем никогда», где писал: «Он (Толстой) по-своему понял, о чем хлопочут новые реалисты, и, обладая тем, чего им недостает, преподал манеру, как можно творчески, силою фантазии, стать очень близко к природе и правде». В письме к гр. Валуеву, по поводу романа «Лорин», Гончаров особенно оттеняет объективность и бесстрастие, которые вносит Толстой в свои изображения, — «не выражая ни симпатий, ни антипатий, не заражая ни теми, ни другими читателя». «Он накладывает, как птицелов сеть, огромную рамку на людскую толпу от верхнего слоя до нижнего, и ничто из того, что попадает в эту рамку, не ускользает от его взгляда, анализа и кисти».

В воспоминаниях племянника Гончарова есть еще отзыв дяди о Тургеневе. Мы нарочно отнесли его к концу его серии отзывов, потому что приводимые им несколько строк вскрывают за собой сложную и трагическую историю. Она долгое время жила среди немногих, знавших ее литераторов, но затем мало-помалу проникла в печать, и теперь наступила пора собрать о ней отдельные известия и подвести итоги.

«О Тургеневе он (Иван Александрович) говорил с насмешкой, — вспоминал Александр Гончаров, — и всегда трунил над его охотничьими похождениями. Он завидовал литературным успехам Тургенева и подозревал, что тот выкрал у него идею «Дворянского гнезда» и списал многие сцены. По этому поводу был между ними третейский суд, о чем мне в семидесятых годах рассказывали Корш, редактор «Петербургских Ведомостей», и Ватсон. Гончаров не раз уверял меня, будто Тургенев каким-то путем достал его записки

и рылся в его бумагах. После похорон Тургенева он говорил, что это были «не похороны писателя, а какая-то вакханалия».

Многое из того, что здесь сказано, фактически верно, но есть и неверное утверждение, как будет видно из последующего, но все вместе требует обстоятельного пояснения.

Действительно, Гончаров был очень самолюбив, как писатель, и к своей литературной известности не был равнодушен. Она создалась не сразу, стоила вопреки общепринятому мнению, огромной авторской работы, сопровождавшейся кипением сил и тратой крови и нервов; она вывела его из рядов петербургского чиновничества на широкий путь общения с самыми выдающимися людьми своей эпохи, она определяла и поддерживала в нем достоинство писательской личности на почве служения общественным идеалам, и совершенно естественно поэтому, что его самолюбие как человека было особенно чувствительно в вопросе успеха или неуспеха его произведений. При наружной выдержанности, имевшей вид благовоспитанной авторской скромности, Гончаров был в высшей степени щепетилен в оценке обстоятельств, сопровождавших его литературные выступления.

Литературная слава Ивана Александровича не сопровождалась теми бурными восторгами, какие выпадали на долю других писателей, подчас менее талантливых, но ближе и нервнее касавшихся тех интересов, которыми жило общество в тот или иной момент. И, среди различных совпадений и сопутствующих обстоятельств, случилось так, что в самые решительные, самые напряженные минуты ожидания, чем отзовется читающий мир на только что представленное ему произведение, выношенное годами, стоившее художнику мук и тревог, в самые, можно сказать, торжественные для большого писателя минуты, гончаровская фортуна встречала на своем пути, словно нарочно, другого колосса русской литературы, тоже тонкого и чуткого художника, поэта и любимца всего интеллигентного мира. Это был Тургенев. Они встре-

тились на том, всегда зыбком мостике, который, словно радуга после обильного дождя, перекидывается от читательского сердца к тому из властителей дум, которому капризная толпа воздает в данный момент хвалу признательности и удивления. На Тургенева упали первые лучи этой радуги, и самолюбие Гончарова не выдержало. Он не справился с собой, не овладел болезненным и мелочным порывом, и между двумя корифеями русской литературы произошло глубокое и печальное недоразумение.

Л. Н. Майков, в статье под заглавием «Ссора между И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым в 1859 и 1860 годах», подробно рассказал об этом, как человек, близко знавший обстоятельства дела и столь же близко знавший обоих писателей, особенно Гончарова, с которым был знаком с детства[37]. Статья эта была вызвана желанием дополнить сообщения П. В. Анненкова о третейском суде между двумя писателями и установить действительные причины разлада. Это удалось Майкову сделать тем более основательно, что в его распоряжении имелись ценные документы об обстоятельствах, предшествовавших суду, именно выдержка из письма Гончарова к Тургеневу от 28 марта 1859 г. и ответ Тургенева от 7 апреля того же года.

«Кто жил уже сознательною жизнью лет сорок тому назад, — писал Майков, — (его статья появилась в 1900 г.) и уже следил за движением нашей литературы, без сомнения, помнит одновременное появление, в 1859 году крупных произведений двух мастеров русского романа — «Дворянского

---

[37] Майков, Л. Н. «Ссора между И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым в 1S59 и 1860 годах», «Русская Старина», 1900, январь, стр. 5—23. — Анненков, П. В. «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым 1856—1865», Вестник Европы», 1885, март. Впоследствии эта статья вошла в книгу «Литературные Воспоминания, Спб., 1909.

гнезда» и «Обломова». Первое было сразу целиком напечатано в январской книжке «Современника», а второе в течение четырех месяцев, с января по апрель, украшало собою «Отечественные Записки». Оба романа произвели сильное впечатление и возбудили бесконечные толки в литературе и обществе; но самый характер и условия их успеха были различные, и в этом обстоятельстве, по моему мнению, скрывается зародыш того столкновения, которое произошло между их авторами.

«Успех «Дворянского гнезда» был поистине чрезвычайный, почти неслыханный со времени издания «Мертвых душ»; об этом хорошо помнят очевидцы и единогласно свидетельствуют все тогдашние критики».

Анненков объяснял поразительный успех «Дворянского гнезда» не только художественными достоинствами исполнения, но и тем, что Тургенев глубже, чем Гончаров, захватил содержание из недр русской жизни и пронизал это изображение лучами необыкновенной симпатии. Майков приводит то место статьи Анненкова (помещенной первоначально в одной из книжек «Русского Вестника» за 1859 г. и вошедшей впоследствии в его книгу «Воспоминания и критические очерки»), где последний характеризует «Дворянское гнездо», как простую незначительную драму, каких тысячи разыгрываются по разным углам нашего отечества. Тургенев, по выражению Анненкова, изобразил в этом романе «такое событие, которое оказалось связанным тончайшими нитями с нашею современностью, с сердцами всего настоящего или, лучше, всего отживающего поколения». Успех романа представлялся Анненкову естественным и ясным: «Мудрено ли, что общество, узнав, наконец, в яркой картине одну из тайн собственного существования, встретило картину с увлечением и восторгом, которыми оно обыкновенно награждает людей, открывающих ему дорогу к самосознанию, к оценке и к суду над собою?».

Приведя этот отзыв Анненкова и выразив свою полную солидарность с ним, Майков переходит к роману Гончарова: «Роману Гончарова труднее было овладеть читателем. Начать с того, что с «Обломовым» общество знакомилось медленно, в течение нескольких месяцев, и в этой медленности уже заключались поводы к более спокойному, более холодному суждению о романе, чем то, какое почти внезапно сложилось в обществе относительно «Дворянского гнезда». Затем, самые приемы гончаровского письма, неторопливые, чуждые прихотливой эффектности, достигающие яркого изображения лишь богатством, полнотой красок и тщательностью отделки, не располагали к быстрому усвоению впечатления. Наконец, нельзя забыть и того, что «Обломов» не был для читателя совершенною новостью, что еще за десять лет до появления всего романа напечатан был тот знаменитый отрывок из него «Сон Обломова», который навсегда остался лучшею его частью».

Затем Майков приводит свидетельство Аполлона Григорьева о том, что успех «Обломова» был некоторое время спорный, вовсе не то, чем был успех «Обыкновенной истории»[38]. «Эпоха другая — сознание выросло, — писал Григорьев. — «Обыкновенная история» польстила требованию минуты, требованию большинства, чиновничества, морального мещанства. «Обломов» ничему не польстил и опоздал, по крайней мере, пятью или шестью годами...» Главным образом статья Добролюбова установила истинное значение романа и устранила создавшуюся около него пеструю разноголосицу мнений. Но и Добролюбов отметил, что ожидания, с которыми читатели приступали к чтению «Обломова», по-

[38] Григорьев, Ап. Сочинения, т. II, Спб. 1876, стр. 420. Статья, из которой приведена выписка, была первоначально напечатана в «Русском Слове», в 1859 г., в августе.

терпели как бы неудачу с двух сторон. Прежде всего, первая часть романа, тянувшегося в нескольких книжках журнала, чуждая интересам настоящей минуты, многим показалась скучной. А в это время появилось «Дворянское гнездо», «и все были увлечены поэтическим, в высшей степени симпатичным талантом его автора. «Обломов» остался для многих в стороне». Но затем художественная правда скоро взяла свое. «Последующие части романа сгладили первое неприятное впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорил своему неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же в необыкновенном богатстве содержания романа».

Но статья Добролюбова появилась на пятый месяц после начала печатания «Обломова», и не трудно угадать, скажем от себя, какое нравственное испытание пришлось пережить самолюбивому художнику, болезненно прислушивавшемуся к каждому мнению, из суммы которых, уже избалованный приемом «Обыкновенной истории», он мог выводить заключения лишь о сомнительном, спорном успехе[39]. И, выслушивая суждения односторонние, колкие, подчас предубежденные, Гончаров слышал в то же время горячие похвалы Тургеневу, читал многочисленные статьи, где новое произведение объявлялось самым замечательным явлением текущей литературы. Не трудно угадать, с каким особым, только любимцам толпы свойственным раздражением читал и перечитывал Гончаров тургеневское произведение, столь не кстати врезавшееся в плавное шествие «Обломова»...

---

[39] Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» появилась в «Современнике» в 1859 г. в мае. — Впоследствии, в 1868 г.,

Гончаров писал друзьям, что никогда так хорошо не проводил время и не работал так много, как в 1857 г.

Недружелюбная настороженность вызвала в Гончарове легко объяснимое стремление вскрыть самый процесс тургеневского творчества, найти в нем слабые стороны, признать успех незаслуженным, отыскать в нем сходство с положениями и замыслами своих романов, наконец, угадать заимствования, подражания. Гончаров припомнил все свои встречи и разговоры с Тургеневым, припомнил, как он делился с ним своими литературными планами, как читал программу «эпизодов из жизни Райского»; его оскорбленное самолюбие натолкнуло его на опасную мысль, что Тургенев воспользовался многими из его замыслов, и что, таким образом, успех самого выдающегося произведения текущей литературы был как бы похищен у него, Гончарова.

Дружбе писателей должен был наступить конец. Знакомство их началось, по свидетельству Майкова, в половине сороковых годов, но более тесные отношения установились между ними лишь с половины пятидесятых, по возвращении Гончарова из Японии. С этого времени они часто видались в Петербурге и заграницей, особенно в Мариенбаде, в 1857 и 1858 годах. В первую из этих поездок Гончаров с увлечением работал над окончательной отделкой «Обломова». «Если не ошибаюсь, — говорит Майков, — в течение этой поездки он виделся заграницей и с Тургеневым. В то время, — продолжает он,— дружеские связи их были настолько тесны, что они не только читали друг другу свои уже написанные, но еще не напечатанные произведения, но и сообщали на общий суд программу сочинений, только что задуманных». В 1858 г. Тургенев прочел Гончарову «Дворянское гнездо» и дал понятие о содержании романа «Накануне». Уже тогда «Дворянское гнездо» напомнило Гончарову сюжет задуманного им Райского, и Тургенев, — как утверждал позже Иван Александрович, — не только признал справедливость этого замечания, но и согласился исключить из своего романа одно

место, слишком схожее с одной из сцен в будущем романе Гончарова. На этом в то время он и успокоился. Но, когда успех «Дворянского гнезда» заслонил впечатления «Обломова», Гончаров испытал чувство горькой обиды и не мог удержаться, чтобы не высказать ее Тургеневу. Последовало личное объяснение; оно не привело к разрыву между друзьями, и в марте 1859 г. Гончаров дружески провожал Тургенева на Николаевском вокзале, когда последний уезжал в Спасское. Но затем чувство горького раздражения снова овладело Гончаровым, и он решил дать ему выход в письме к своему сопернику по успеху, которое и было написано им 28 марта. Письмо это очень важно, не только для объяснения состояния духа Гончарова, но и для более полного определения всех черт, входивших в духовный облик писателя, и мы должны привести из него более или менее значительные выдержки.

Гончаров называет в этом письме Тургенева дипломатом, чьи хитрости сшиты на живую нитку. Он вспоминает свой разговор с ним накануне, разговор, который, по-видимому, был очень осторожен и сдержан по форме, но не разубедил Гончарова относительно его подозрений. Свою уступчивость в личном разговоре он объяснял мягкостью и неловкостью, которые Тургенев принял за убеждение в «неправом споре».

«Нет, не поверил я вам и в том — пишет Гончаров, когда вы так «натурально» уверяли меня, что будто литературное ваше значение вовсе не занимает вас, что вы касаетесь его так, мимоходом, а что живет в вас «старая мечта, старая любовь», и по ней тоскуете вы, по неосуществлению ее. Простите, мне послышались в этих словах стихи:

И знает Бог, и видит свет:
Он бедный гетман двадцать лет…

Дипломат, дипломат! Нет! Давно и страстно стремились вы — скажу к чести вашей — к вашему призванию и к вашему

значению: не сознаваться в этом было бы или постыдным равнодушием, или fatuité. Скажу более: вы смотрите еще выше и, конечно, подыметесь очень высоко, если пойдете *своим* путем, если окончательно уясните, определите сами себе свои свойства, силы и средства. Вы скользите по жизни поверхностно, это — правда; но по литературной стезе вы скользите менее поверхностно, нежели по другой. Я, например, рою тяжелую борозду в жизни, потому что другие свойства заложены в мою натуру и в мое воспитание. Но оба мы любим искусство, оба — смею сказать — понимаем его, оба тщеславны, а вы, сверх того, не чужды в ваших стремлениях и некоторых страстей... которых я лишен по большей цельности характера, по другому воспитанию и еще... не знаю почему, — по лени, вероятно, и по скромности мне во всем на роду написанной доли. У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я моложе вас, тронут был жизнью и от того затрагиваю ее глубже, от того служу искусству, как запряженный вол, а вы хотите добывать призы, как на course au clocher.

«Если смею выразить вам взгляд мой на ваш талант искренно, то скажу, что вам дан нежный, верный рисунок и звуки, а вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму. Свое свободное, безгранично отведенное вам пространство хотите вы сами насильственно ограничить тесными рамками. Вам, как орлу, суждено нестись над горами, областями, городами, а вы кружитесь над селом и хотите сосредоточиться над прудом, над невидимыми для вас сверху внутренними чувствами, страстями семейной драмы. Хотите спокойно и глубоко повествовать о лице, о чувстве, которых по быстроте полета не успели разглядеть, изучить и окунуться сами в его грусть и радость. В этом непонимании своих свойств лежит вся, по моему мнению, ваша ошибка. Скажу очень смелую вещь: сколько вы ни пишите еще повестей и

драм, вы не опередите вашей «Илиады», ваших «Записок охотника»: там нет ошибок; там вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы вашей музы: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве! А «Фауст», а «Дворянское гнездо», а «Ася» и т. д.? И там радужно горят ваши линии и раздаются звуки. Зато остальное, зато создание — его нет, или оно скудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого нет в вашем характере, следовательно, и в таланте. «Дворянское гнездо»... Про него я сам ничего не скажу, но вот мнение одного господина, на днях высказанное в одном обществе. Этот господин был под обаянием впечатления и, между прочим, сказал, что, когда впечатление минует, в памяти остается мало: между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказывается история барыни (Варвары Павловны), потому что, очевидно, автора занимает не она, а картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость взятого круга жизни; но что гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске и у кареты и ночная беседа двух приятелей — совершенство, и они-то придают весь интерес и держать под обаянием, но, ведь, они могли бы быть и не в такой большой рамке, а в очерке, и действовали бы живее, не охлаждая промежутками... Сообщаю вам эту рецензию учителя (он — учитель) не потому, чтобы она была безусловная правда, а потому, что она хоть отчасти подтверждает мой взгляд на ваши произведения. Летучие быстрые порывы, как известный лирический порыв Мицкевича, населяемые также быстро мелькающими лицами, событиями отрывочными, недосказанными, недопетыми (как Лиза в «Гнезде»), жалкими и скорбными звуками или радостными кликами, — вот где ваша непобедимая и неподражаемая сила. А чуть эта же Лиза

начала шевелиться, обертываться всеми сторонами, она и побледнела. «Но Варвара Павловна, — скажут, — полный, законченный образ». Да, пожалуй, но какой внешний! У каких писателей не встречается он! Вы простите, если напомню роман Paul de Kock “Le Cocu”, где такой же образ выведен, но еще трогательней: там он извлекает слезы. Вам, кажется, дано (по крайней мере, так до сих пор было, а теперь — говорят — вы вышли на *новую* дорогу) не оживлять фантазией действительную жизнь, а окрашивать фантазию действительною жизнью, по временам, местами, чтобы она была не слишком призрачна и прозрачна. Лира и лира — вот ваш инструмент. Поэтому я было обрадовался, когда вы сказали, что предметом задуманного вами произведения избираете *восторженную* девушку, но вспомнил, что вы, ведь, — дипломат: не хотите ли обойти или прикрыть этим эпитетом другой (нет ли тут еще *гнезда*, продолжения его, то есть, одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром; если я ошибаюсь, если это — не то, то мне придется поверить вам в том, что вы, по вашим словам, может быть, *невольно*, а не сознательно *впечатлительны*, и я приму это как данное, не достававшее мне для решения одного важного вопроса на счет вашего характера). Если это — действительно, *восторженная*, то такой женщины ни описать, ни драматизировать нельзя: ее надо спеть и сыграть теми звуками, какие только есть у вас и ни у кого более. Я разумею восторженную, как fleuriste в “André” у Ж. Занд. Но таки женщины чисты; они едва касаются земли, любят не мужчину, а идеал, призрак, а ваша убегает за любовником в Венецию (отчего не в Одессу? там ближе от Болгарии); да еще есть другая сестра: «Та — *так себе*», сказали вы... Тут и все, что вы мне сказали.

«Вечер длинен и скучен, и письмо вышло таково же, но что делать! Я откровенно люблю литературу, и если бывал чем счастлив в жизни, так это своим призванием, — и говорю это

также откровенно. То же упорство, какое лежит у меня в характере, переносится и в мою литературную деятельность, да и во все, даже в это письмо... Вот с эдаким же упорством принялся я теперь составлять программу давно задуманного романа, о котором — помните? — говорил вам, что если умру или совсем перестану писать, то завещаю материал вам, и тогда рассказал весь. Теперь произошли значительные перемены в плане, много прибавилось и даже написалось картин, сцен, новых лиц, и все прибавляется. Тем, что сделано, я доволен; Бог даст, и прочее пойдет на лад. Разбор и переписку моих ветхих лоскутков программы взяла на себя милая больная». «Это займет меня», говорит она. Она до слез была тронута тою сценою бабушки с внучкой, в пользу которой вы так дружески и великодушно пожертвовали похожим на эту сцену, но довольно слабым местом вашей повести, чтоб избежать сходства. Чтоб посмотреть, благоприятно ли действует мысль, ход романа, судьба двух женщин (и у меня их две: вы, конечно, помните; вы так горячо одобрили тогда роман), я читал все Дудышкину, сегодня рассказал только, но не успел прочесть всего Никитенке, может быть, покажу Писемскому и Дружинину, и если им мысль и характер героя не покажутся дики и неудобоисполнимы, а картины и сцены сухими и неестественными, я, благословясь, примусь за дело, если вдохновение не покинуло меня, если также легко будет заграницей, как было в 1857 году»...[40]

В этом письме поражает, прежде всего, самоанализ, открывающий тайну тайн гончаровской личности. Как Гончаров далек здесь от того равнодушия и спокойствия, которые

---

[40] Майков, Л. Н., там же, стр. 13—19 и след. — О прощальном обеде Тургеневу 30 апреля упоминает в своих «Записках и Дневнике» А. В. Никитенко, т. I, стр. 564. — Письмо к Анненкову см. Майков, Л. стр. 20.

казались слитыми с ним безраздельно. Он — весь волнение, весь — негодование, в нем ни одного нерва не остается без самого чувствительного раздражения. И все это взбаломутившееся море страстей, и гнев, и яд, и как бы мольба о сострадании, — все это имеет источником один предмет, захвативший всю душу писателя в свою власть, — литературу. Он любил ее всеми чувствами и мыслями, ею горел весь, от нее становился счастлив, к ней же свелся и таившийся в нем, но нигде в других случаях не проявлявшийся недуг подозрительности, доходившей до отчаяния, до бешенства. В самом деле, целая душевная драма развертывается со страниц этого письма, стоит лишь сделать попытку придать намекам Гончарова более реальные очертания. Гончаров задумал роман, и будет писать его, по обыкновению, долгие годы. Он рассказывает программу Тургеневу, который пишет романы быстро, словно на заказ. И, пока роман Гончарова тщательно разрабатывается в деталях, пока каждая его подробность вынашивается длительно, трепетно и любовно, Тургенев печатает свой роман с поразительной, кажется Гончарову, быстротой, причем оказывается, что заветнейшие его замыслы воплощены Тургеневым, словно копия списанная другим почерком. Но добро бы еще Тургенев воспользовался простодушием Гончарова, рассказавшего ему в приятельской беседе план своей работы. Но, ведь, Тургенев — дипломат: он выведывал подробности гончаровских замыслов намеренно, он, как мы знаем это из другого письма, слишком внимательно, слишком пристально вслушивался в сообщения Гончарова и чтение его отрывков — и все это для того, чтобы, вместо прелестных эскизных очерков в роде «Записок охотника», в которых он такой мастер, создать общественный роман и, в погоне за новым, эффектным, модным, отнять у автора «Обыкновенной истории» и «Обломова» лавры корифея русского общественного романа. Дело было ясно: эти лавры слишком не давали Гончарову спать!

Но рядом с этим психологическим мотивом развертывался другой. Гончарову нужно было доказать, что Тургенев взялся не за свое дело. Его роман прекрасен в частностях, но в целом, несмотря на все заимствования, он не выдерживает основательной критики. И Гончаров подвергает роман Тургенева убийственному разбору, какой только мог быть продиктован желчью раздраженного человека, утратившего присущее ему беспристрастие, ставшего придирчивым и несправедливым. Затем, он не может удержаться, чтобы, при всем том, не сообщить Тургеневу некоторых данных о ходе работы над своим романом, о тех переменах, которые он внес в свой план, и. т. д., не замечая, что тем самым впадает в непримиримое противоречие с самим собой. Он и боится Тургенева, и тянется к нему, зная, что никто, как Тургенев, своей тонкой и впечатлительной на все художественное душой, так не сумеет оценить, во всех мельчайших подробностях, творческий труд Гончарова. А чем был этот труд для Ивана Александровича видно из последних строк его письма. «В самом деле, я «юноша», как меня на смех назвал Павел Васильевич (не вследствие ли сообщенного ему вами нашего разговора? Ох, вы, две могилы секретов!) Ведь, не десять тысяч (на них мне мало надежды осталось) манят меня к труду, а, стыдно признаться, я прошу, жду, надеюсь несколько дней или «снов поэзии святой», надежда «облиться слезами над вымыслом». Ну, тот ли век теперь, те ли мои лета? А, может быть, ничего и не выйдет, не будет; с печалью думаю и о том: ведь, только это одно осталось, если только осталось, — как же не печалиться!»

Майкову кажется, будто бы «автор «Обломова» строго обдумал и взвесил каждую строку, каждое слово своего «послания», между тем как автор «Дворянского гнезда» «набросал свой ответ одним легким взмахом руки». С этим решительно нельзя согласиться. Письмо Гончарова дышит

такой нервной возбужденностью, такой непосредственностью отражения волновавших его мыслей и настроений, что о «взвешивании», «обдумывании» этих торопливых, взволнованно-перебивчатых строк не может быть и речи. Письмо Гончарова — порыв, излияние, чувство... В сравнении с ним, ответ Тургенева — обдуманное, законченное литературное произведение, своего рода стихотворение в прозе. Словно корреспонденты обменялись темпераментами, чтобы ввести в заблуждение третьих лиц.

Вот что писал Тургенев 7 апреля 1859 г.: «Не могу скрыть, любезнейший Иван Александрович, что берусь за перо на сей раз против обыкновения с меньшим удовольствием, чтобы отвечать вам, потому что какое удовольствие писать человеку, который считает тебя присвоителем чужих мыслей (plagiaire), лгуном (вы подозреваете, что в сюжете моей новой повести опять есть закорючка, что я вам только хотел глаза отвесть) и болтуном (вы полагаете, что я рассказал Анненкову наш разговор). Согласитесь, что какова бы ни была моя «дипломатия», трудно улыбаться и любезничать, получая подобные пилюли. Согласитесь также, что за половину — что я говорю! — за десятую долю подобных упреков вы бы прогневались окончательно. Но я — назовите это во мне, чем хотите, слабостью или притворством, — я только подумал: «Хорошего же он о тебе мнения» и только удивился тому, что вы еще кое-что нашли во мне, что любить можно. И на том спасибо!

«Скажу без ложного смирения, что я совершенно согласен с тем, что говорил «учитель» о моем «Дворянском гнезде». Но что же прикажете мне делать? Не могу же я повторять «Записки Охотника» ad infinitum! А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на цельность, ни на крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог

высказать, что мне приходит в голову. Будут прорехи, сшитые белыми нитками, и т. д. Как этому горю помочь? Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен; но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов. E sempre bene! Но вы, ведь, и в этом сознании увидите дипломатию: думает же Толстой, что я чихаю и пью и сплю — ради фразы. Берите меня каков я есмь, или совсем не берите; но не требуйте, чтоб я переделался, а главное — таким Талейраном, что у-у! А, впрочем, довольно об этом. Вся эта возня ни к чему не ведет: все мы умрем и будем смердеть после смерти.

Здесь у нас наступила весна, снег сошел почти весь, но как-то некрасиво, безжизненно. Дни сырые, холодные, серые; поля обнажились и желтеют мертвенной желтизной. В лесу, однако, трава уже пробивается. Дичи мало. Я надеюсь к 20-му числу здесь все кончить; 24-го — я в Петербурге (29-го, вы знаете, я уезжаю). Мы увидимся в Петербурге, а, может быть, и за границей, хотя мне, вероятно, присоветуют другие воды, нежели вам. Желаю, чтобы пребывание ваше в Мариенбаде было также благотворно во всех отношениях, как в 57-м году. Поклонитесь от меня всем хорошим знакомым и милой. Сегодня я узнал о смерти Бозио и очень пожалел о ней. Я видел ее в день ее последнего представления: она играла Травиату; не думала она тогда, разыгрывая умирающую, что ей скоро придется исполнить эту роль не на шутку. Прах и тлен и ложь — все земное! До свиданья, несправедливый человек! Жму вам руку».

Как справедливо заметил Майков, Тургенев написал свое письмо в мягком примирительном тоне; Тургенев, по-видимому, не хотел ссориться, с одной стороны, замечая преувеличенную придирчивость Гончарова, а, с другой — допуская, быть может, за собой вину в неосторожно вырвав-

шемся у него однажды признании о своей невольной, бессознательной впечатлительности.

Как бы то ни было, это письмо на время обезоружило Гончарова, и тут вскоре появилась майская книжка «Современника» со статьей Добролюбова об «Обломове». Заслуженный успех выпал, наконец, и на его долю, и Иван Александрович готов был простить Тургеневу. Последний, в двадцатых числах апреля, вернулся в Петербург из Спасского и стал собираться заграницу. Друзья давали ему 30 апреля прощальный обед, в котором принял участие и Гончаров. Обед, по-видимому, закрепил это примирительное настроение между обоими писателями, по крайней мере, Гончаров шутливым добродушным тоном писал об этом отсутствовавшему Анненкову: «Проводили и Тургенева, этого милого всеобщего изменника и баловня. Теперь, вероятно, он забыл всех здешних друзей и радует тамошних, которые с появлением его, конечно, убедились, что, кроме них, у него никогда других не было в уме: в такой степени обладает он этою мягкою, магическою привлекательностью. Но вы знаете это лучше меня, вы пользующиеся его, в самом деле, особенною симпатией, насколько он только способен обособиться в этом отношении. Мы с ним как будто немного кое о чем с живостью поспорили, потом перестали спорить, поговорили покойно и расстались, напутсвовав друг друга самыми дружескими благословениями у Donon и Дюссо».

XIX

(Гончаров и Тургенев). — Литературные успехи Тургенева. — Чтения на вечерах Литературного Фонда. — Роман «Накануне». — Третейский суд. — Подозрительность Гончарова; ее поводы и причины. — Письмо к В. А. Валуеву.

Но это было не примирение, а лишь перемирие. В ноябре Тургенев явился в Петербург, и здесь снова он дважды как

бы перерезал полосу гончаровских успехов у публики. На первом вечере в пользу Литературного Фонда Тургенев прочел свою параллель между Гамлетом и Дон-Кихотом, а на втором Гончаров прочел отрывок «Софья Николаевна Беловодова»[41]. «Я присутствовал на обоих этих вечерах, — рассказывает Майков, — я живо помню волнение публики, желавшей видеть воочию своих литературных любимцев. Тургенева встретили горячими и продолжительными рукоплесканиями, за которые он благодарил, относя это приветствие не к себе лично, а к русской литературе, одним из представителей которой он является. Нечего говорить, что и эти слова, и самое чтение Тургенева были покрыты новыми восторженными рукоплесканиями. Очень горячо был приветствован и Гончаров, но все же не с таким увлечением, как Тургенев; самое же чтение «Беловодовой» сопровождалось, сколько помню, рукоплесканиями только умеренными; этому почетному, но не более, приему соответствовал и успех отрывка в печати, когда он появился в февральской книжке «Современника» за 1860 год».

Роковое совпадение имело место и здесь; в то время, как читатели знакомились с этим отрывом, принадлежащим, как это позже сознал и сам автор, не к лучшим местам в романе, вышла несколько запоздавшая январская книжка «Русского Вестника» с новым романом Тургенева «Накануне», который вызвал еще более шума в печати и обществе, чем «Дворянское гнездо», и снова занял первенствующее место среди новинок литературы.

Это новое совпадение столь неблагоприятно сложившихся для Гончарова обстоятельств подняло со дна его души старую

---

[41] Майков, Л. Н., см. выше, стр. 20—21. Впоследствии в «Лучше поздно, чем никогда», Гончаров сам признавался, что изображение Беловодовой в «Обрыве» ему не удалось.

горечь обиды; подозрительность, для которой почва была уже подготовлена, охватила душу Гончарова, и он окончательно потерял самообладание. Отношения между писателями резко обострились, и друзьям их стало ясно, что дружбе двух романистов на этот раз пришел бесповоротный конец. Через три с чем-нибудь недели после своего выступления на вечере Гончаров написал Тургеневу письмо, в котором сообщал, что, прочитав тридцать или сорок страниц из «Накануне», он не мог не отдать должного дарованию автора, и продолжал: «как в человеке, ценю в вас одну благородную черту — это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был вам рассказан уже давно, в программе». Намек на «пристальное внимание» после всего, что произошло между ними год тому назад, был слишком ясен, и Тургенев, при всем своем стремлении щадить самолюбие Гончарова и отвращении к литературным скандалам, отказался от мысли отпарировать нападение новой уступчивостью и решился выяснить дело на глазах третьих лиц. Вот что об этом сообщает Анненков: «На этот раз Тургенев потребовал третейского суда[42]. И. А. Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии, чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон, и чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним, Гончаровым, право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего, поверхностного сходства произведений и помешать автору свободно разрабатывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством: «На ваше предположение,

---

[42] Анненков, П. «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым»... «Вестник Европы», 1885, март, стр. 39.

что меня беспокоят ваши успехи, позвольте улыбнуться, и — только».

«Эксперты, после выбора их, собрались, наконец, 29-го марта 1860 г. в квартире И. А. Гончарова; это были С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и П. В. Анненков — люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами, замечания экспертов все сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненною бледностью; он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее (я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии): «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут явиться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им, вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено.

«Позже они помирились — в 1864 г., при похоронах одного из экспертов, именно А. В. Дружинина. Во время самой заупокойной обедни, на Смоленском кладбище, перед раскрытым гробом журналиста, произошло это примирение, которое, к сожалению, все же не могло восстановить вполне прежних добрых их отношений».

Прошло несколько лет, и резкие очертания враждебности, установившейся между писателями после изложенных событий, снова смягчились. Личные сношения их восстановились, не без участия, конечно, литературных друзей; они вступили даже в переписку между собою. Но о прежней доверчивости не было и помина; напротив, прежнее признание взаимных дарований сменилось явным предубеждением, которое выразилось в очень резких отзывах о новых произведениях друг друга. Если Тургенев слишком строго осуждал «Обрыв», то и Гончаров или избегал говорить о новых произведениях Тургенева, или отзывался о них крайне недружелюбно. В одном из знакомых нам писем к Тройницкому, от 25 июня н. с. 1867 г., есть характерный образчик подобных отзывов Гончарова о произведениях Тургенева, с которым в то время у него уже возобновились личные сношения: «...Боткин и Тургенев обедали вчера у меня, по случаю моих именин, — пишет Гончаров, — причем я немного отступил от режима, предписанного после вод, и согрешил тремя рюмками шампанского, каковое прегрешение тотчас же и простил себе, как это обыкновенно делаю во всех своих прегрешениях. И ваш голос против «Дыма»: значит, я приобретаю все более и более прав не читать его. Вы окончательно утвердили меня в этом намерении. Но у меня есть и еще причина, своя, особенная — не читать этой повести. Я в своем романе еще в прошлом году дошел до страстных сцен и остановился над ними, чувствуя, что раздражение фантазии скверно действует на нервы, когда сам человек устарел и когда это надо разжигать в себе искусственно. И в «Дыме» я пробежал первые главы и лишь только

дошел до любви, мне стало частью беспокойно, частью противно. И вот книжка лежит недочитанная, о чем я и объявил вчера откровенно автору. Первые же сцены возмущают меня не тем, что русское перо враждебно относится к русским людям, беспощадно казня их за пустоту, а тем, что это перо изменило тут автору, искусству. Оно грешит какою-то тупою и холодною злостью, грешит неверностью, т. е. отсутствием дарования. Все эти фигуры до того бледны, что как будто они выдуманы, сочинены. Ни одного живого штриха, никакой меткой особенности, ничего, напоминающего физиономию, живое лицо: просто, по трафарету написанная кучка нигилистов. Это я тоже сказал автору».

Позже, с годами, когда Гончаров начал все более и более прихварывать и слабеть волей, недружелюбное чувство к Тургеневу развилось у него в высшей степени. По временам оно ослабевало, но иногда достигало необыкновенных размеров, при которых мог иметь место факт, рассказанный нам людьми близкими и расположенными к обоим писателям. Однажды — это было в семидесятых годах — Тургенев, взволнованный и бледный, рассказал своим друзьям, что он встретил на прогулке в Летнем саду Гончарова, который бросился от него в сторону, крича: «вор! вор!» и отмахиваясь палкой... Друзья успокоили Тургенева, объяснив поступок Гончарова бессознательной вспышкой его болезненной мнительности, хорошо им известной. Тургенев долго не мог успокоиться, затем махнул рукой и просил только не звать его обедать в дни, когда у общих знакомых будет обедать Гончаров.

Болезненная мнительность, принимавшая такие формы, имела своим происхождением некоторую душевную ненормальность, коренившуюся, по-видимому, в гончаровской крови. Отец его, как мы имели уже случай упоминать, не был чужд странностей: его определяли то «меланхоликом», то «старовером», человеком с резко выраженной наклонностью к религиозной обрядности. Брат Гончарова был, по опреде-

лению сына, т. е. племянника Ивана Александровича, «психически больной человек». Обычно задумчивый, тихий в отношении к другим людям, он жестоко сек своих детей дома каждую субботу, а после сечения водил ко всенощной... «Иногда, во время разговора с нами у него как-то вдруг глаза мутились, делались малоподвижными, и он начинал вполголоса говорить сам с собой. Временами он жаловался на мать, бранил начальство, цитировал Гёте или Шекспира, спорил, сам себе давая реплики, — это тянулось целыми часами, иногда в продолжение всей ночи. Это «бормотание», как называли в семье такое состояние отца, часто усиливалось, благодаря самому незначительному нервному расстройству или неудачам и неприятностям»[43].

Сестра Гончарова, А. А. Музалевская, делалась по временам, по выражению того же племянника, совершенно ненормальной и тогда начинала «куралесить»: «она накупала в магазинах множество разных материй и без конца кроила и шила для себя и для своих двоих приемных дочерей платья, юбки, кофты при помощи нескольких приглашенных на дом портних. Эта обыкновенно рассудительная и далеко не дурная женщина делалась в таких случаях невыносимой: лицо ее покрывалось красными пятнами, глаза мутились, и она начинала говорить всем якобы правду в глаза, — начинала всех обличать... В летнее жаркое время период сумасшествия у Музалевской продолжался иногда несколько дней. Тогда она, вся красная от прилива крови к лицу, делалась пугалом для всей мужской и женской прислуги...» Психиатр Левенштейн, муж ее приемной дочери, считал наследственность

---

[43] Суперанский, М. «Ив. Ал. Гончаров», «Вестник Европы» 1908, декабрь, стр. 450—451. — О мнительности, раздражительности и др. душевных ненормальностях Гончаровых см. воспоминания племянника Ивана Александровича, Ал. Ник. Гончарова, у М. Ф. Суперанского в «Вести. Евр.» 1908, ноябрь.

одной из причин истеричности ее натуры. В связи с этим, она была очень мнительна: «все эти сомнения у меня от гончаровской породы, — говорила она по этому поводу, — не могу от них отделаться, знаю, что напрасно хандрю и чудачу, а ничего с собой поделать не в силах». Мнительность и истеричность не помешали ей дожить до глубокой старости — она скончалась в 1898 году.

Подозрительность и мнительность, проявившиеся у Ивана Александровича во вторую половину его жизни, таились в нем, несомненно, и прежде, но были незаметны постороннему глазу, сдерживаемые под обычной маской равнодушия, силой воли, тактом, умеренным образом жизни и заботливым уходом за своим здоровьем. То, что другим казалось апатией, было в нем скорее холодным наружным скептицизмом, переродившимся из затаенных ростков отцовской «меланхолии». Он был скуп на сообщения во всем, что касалось его личности, поэтому было так мало людей, которые хорошо знали истинные свойства его натуры. Он просил своих знакомых возвращать ему его письма и весьма ревниво оберегал всякие покушения на раскрытие того, что творилось у него в душе и в мозгу, чего он не хотел обнаруживать пред другими. Литературная работа, несомненно, взяла у него большой запас душевных сил, а широкая известность обострила чувствительность его писательского самолюбия. Эта работа давалась ему с большим трудом.

Непривычка высказываться до конца во время споров приобретала вид застенчивости и какой-то особой неловкости, которую можно было принять за нетвердость убеждения, за готовность поступиться своим мнением. Так Гончаров сам объяснял эту свою особенность в письме к Тургеневу. Но эта особенность не производила впечатления мягкости в его характере, напротив, многим, и самому Тургеневу, казалось, что у Гончарова был «жесткий», даже «жестокий» характер. «Ес-

ли я накануне спорил осторожно и оставил арену, не дойдя до конца, не высказавшись весь, так это потому, что есть предметы слишком нежные, до которых трудно касаться, — оттого, что у меня, у «жестокого человека», есть мягкость там, где у других ее не бывает... Мне было неловко, я конфузился — только не от своей неправоты»... Но жестокости в своем характере Гончаров не признавал: под видом ее скрывались совсем другие чувства, о которых, как он думал, не трудно было бы догадаться его друзьям... «Решите, пожалуйста (самому мне это трудно сделать и неловко), — писал он в том же письме, — не есть ли эта кажущаяся жестокость во мне только упорное преследование до конца, до последних целей, всякой мысли, всякого чувства, всякого явления в жизни, преследование, разводимое по временам (от старости и обстоятельств) желчью, и оттого иногда несносное и мне самому, тем более — другим, особенно людям мягким, неупорным, не навязывающим жизнь, ни на что не оборачивающимся назад и не глядящим вдаль. Им я покажусь всегда темен и тяжел и жесток. Иногда говорят: «какой это неприятный господин!» про такого господина, который имеет убеждения и правила, верен им и последователен и упорен в своих намерениях, чувствах и целях. Но таков ли я в самом деле? Нет ли во мне мягкости, но бережливо издерживаемой на что-нибудь путное?..

«Впрочем, не знаю. Только знаю, что если меня что-нибудь приятно или неприятно взволнует, поразит etc., я глубоко проникаюсь мыслью или чувством, враждой ли (не ненавистью только: я не могу ненавидеть, — тут у меня и упорства нет), намерением ли, и будто против воли несу свою ношу, упорно и непреклонно иду до цели, хотя бы пришлось и потерпеть. Ох, не раздразните меня когда-нибудь и чем-нибудь».

Художественная работа поглощала Гончарова; она неотступно творилась у него в душе, у него в голове, что бы он ни

делал, с кем бы ни говорил. Отдать хотя бы частицу ее в сыром, не завершенном виде — значило отдать себя самого. Вот логика той боязни всякого постороннего глаза, который мог, по наитию, прочитать сокровеннейшие из его замыслов и пустить в свет под чужим именем его, гончаровское, кровное, родное... Нам сообщали, что заграницей, во время писания «Обрыва», Гончаров приносил рукописи г-же С., прося спрятать их «от Тургенева», хотя Тургенева в это время не было ни в Баден-Бадене, ни в Мариенбаде. Тревога не покидала Гончарова и дома. «Возвращаясь в свою квартиру, он всегда был встревожен, как бы ожидая встретить какую-нибудь неприятность. С волнением в голосе спрашивал он отворявшую дверь экономку: «Кто-нибудь был?» Он тотчас же подходил к письменному столу и нервно открывал и закрывал ящики. «У меня тут Тургенев рылся... Вообще, кто-то приходил и рылся в моих бумагах... Надо быть весьма осторожным в этом отношении... Может, и III отделение следит»... 27 декабря 1877 г., готовя к печати «Литературный вечер», Гончаров пишет Валуеву тревожное письмо, в котором явственно чувствуются страдальческие нотки души, охваченной мучительными подозрениями. Он говорит, что чувствует в себе силы исполнить задуманное, но боится, чтобы какие-нибудь неблагоприятные обстоятельства не помешали: «Я думаю, даже боюсь (оттого и не пишу), что мне просто не дадут сделать это. А сделает кто-нибудь другой: пока я соображаю, работаю (а я работаю для печати медленно), явится где-нибудь искусно замаскированная параллель: все то же и о том же.

«Я смеялся над собой, вспомнив, как я выманивал у Анны Ивановны и у вас слово сохранить секрет о моем писании: я отнюдь не позволяю себе усомниться в вашей скромности, и сам держу секрет (тем более, что в очерке дело шло о вашем сочинении): я хочу только сказать, что все мои секреты вооб-

ще, как я убедился давно, суть des secrets de polichinelle, но литературные особенно![44]

Почему это делалось? — это не вполне ясно даже для меня. Мне заглядывали в душу со всех сторон, не давали думать, писать. Под влиянием такого кошмара, конечно, и нельзя писать: я положил перо. Опять беда: зачем положил!

Кто-то контролировал даже мои авторские замыслы и распоряжался ими!

Все это заставляло меня запрятаться в свой угол, из которого я, как израненный зверь, не выглядываю и до сих пор, боясь охотников и собак!»

«Вот и теперь боюсь подумать приняться хоть бы за этот очерк, не от одного только недостатка так называемого courage d'opinion (есть обстоятельства и вопросы, побеждающие всякую нервозность), а более от другого — страха или неуверенности...»

«Мне когда-то проговорился один журналист, что будто я богат авторским содержанием, «но похож, на лежащую на сене собаку, от того-де и надо у меня таскать!» Так, кажется, он и делал! Странная логика!.. Я возразил, что Ротшильды, Штиглицы и др. — богаче меня, и тоже своего рода собаки на сене: отчего не таскают сена из-под них?

«Не знаю, кому нужно было, чтобы я не писал, но для помехи мне, кажется, как я сообразил по многим наблюдениям впоследствии, кто-то ловко, под рукой, создал мне репутацию чуть не красного, или что-то в этом роде. Этого только не доставало.»

«И вот тогда уже образовалась une meute de limiers или шайка dupes; чтобы подслушивать мои мысли, ловить слова.

---

[44] Суперанский, М. «Воспоминания Ал. Ник. Гончарова», стр. 43—44. — Письмо к Валуеву. «И. А. Гончаров в неизданных письмах к гр. П. А. Валуеву», стр. 47—50.

И други, и недруги обоего пола все совали мне свои носы в рот, чтобы узнать, не пьяница ли я? Но как я вина не пью, то и запаха быть не могло.

Но кто помешал бы этим ищейкам приписать мне тот или другой запах и цвет, по желанию? Очных ставок не делали и меня не спрашивали!

Еще нынешним летом приходил, нарочно для меня, в Летний сад один всесветный blagueur и лгун (всюду, однако, принимаемый) и наедине говорил дерзости о том, что все ждут, стараясь вызвать меня на ответ. Кроме презрительного молчания, конечно, он ничего не получил, но он не задумается вложить в мои уста ответ, какой окажется для него выгоднее, зная, что меня не спросит тот, кто употребляет эту жалкую личину.

В прошлом году явился ко мне какой-то незнакомый мне, очевидно, подосланный молодой человек, назвавшийся, кажется, Кузьминым, с вопросом: «что я думаю о революции в России?», потом повторивший этот вопрос письменно.»

«Один военный генерал настойчиво допытывался моего мнения «о представительном правлении у нас!».

«Я взял несколько примеров, какие запомнил из множества других, повторявшихся на каждом шагу. Один дошел до Геркулесовых столбов в этих допросах: он таинственно спросил меня, «не разумел ли я, создавая тип «Обломова»... кого? Нет, это до того безобразно-глупо и до нелепости смешно, что бумага не вытерпит.»

Я не мог не заключить, что все эти пытания делаются не из одного только бесцельного любопытства, или удовольствия докучать мне, но что стараются добиться правды в этом тумане лжи, которою кто-то чудовищно опутал меня для своих целей! и, конечно, правды не добились этими полицейскими приемами, от которых всегда ускользает нечто в человеке: это его душа.

Наблюдая пристальнее, я замечал потом, что и мое обломовское домоседство, и уклонение от света, особенно большого, к которому я, ни по рождению, ни по материальным моим средствам, принадлежать не могу, наконец, самая скромность моя и вечные сомнения в своих силах, нервозность темперамента, загонявшая меня в угол, — все это истолковано было ложно и подведено тоже под какую-то «красноту»!»

Это письмо не оставляет уже сомнения в душевном расстройстве его автора. Реальные представления искажены в нем бредом галлюцинирующего, бредом, который, в связи с обстоятельствами, ему предшествовавшими, может быть определен психиатром, как своего рода мания преследования. Упорная мучительная мысль овладевает человеком и, сопровождаемая внушениями расстроенного воображения, сосредоточивается на одном каком-либо предмете, олицетворяющем враждебное начало, от которого следует обезопасить себя тем или другим способом. «По моему глубокому убеждению, — пишет племянник, — присущая гончаровской семье психическая болезнь не миновала Ивана Александровича: он боялся людей, прятался от всех, всех подозревал в кознях и заговорах против него; ему постоянно казалось, что за ним следят, интересуются его бумагами и перепиской; низкий барометр оказывал на него неблагоприятное влияние: он начинал брюзжать, жаловаться, искать поводов к ссоре и говорить своему собеседнику неприятные вещи». Сколько нам известно, исключая последних лет своей жизни, Гончаров вовсе не отличался таким неуживчивым характером, а, напротив, по отзывам близких к нему лиц, был всегда приятным и желанным собеседником, проявлявшим в личных отношениях добродушный нрав, юмор и большую деликатность. Болезненная подозрительность его направлялась только на Тургенева, который олицетворил для него все враждебные ему стихии. Это он преследовал художника,

выпытывал его замыслы, подсылал к нему своих клевретов, заглядывал, никем незримый, в запертые ящики его письменного стола. Тургенев становился на пути в самые решительные для художника минуты, когда он сдергивает покрывало со своего творения и представляет его, еще с неостывшей тайной творческого восторга, очам любопытной толпы. Тургеневу мало было повредить литературной репутации Гончарова: он задался целью дискредитировать своего соперника в глазах правительства, общества, друзей. Даже, когда Тургенев умер, и тогда его призрак не давал Гончарову покоя, — оставались «злонамеренные люди», которые могли расхитить или извратить его мысль: своим актом о «Нарушении воли» он старался оградить себя от них и за пределами могилы.

Это была страшная болезнь, которая могла заставить ужаснуться и вызвать не осуждение, но сострадание к охваченному ею человеку.

XX

(Гончаров н Тургенев). — Душевные настроения последнего периода жизни Гончарова. — Отношения к П. А. Валуеву. — «Лорин». — Критический разбор «Лорина».

Вне того мрачного, злым гением заколдованного круга, центром которого был Тургенев, Гончаров сохранял все силы своего ума и обычное равновесие духа.

Впрочем, и люди, страдающие какой-либо психической аномалией, отличаются, как известно, большой рассудительностью и правильностью хода мысли особенно в области, составляющей предмет их душевного расстройства. Над Гончаровым повторилось, только в большей степени, явление, часто наблюдаемое в писательской среде. Большой талант не уберег его от чрезмерной чувствительности мелочного самолюбия.

Кто из артистов и крупных художников не знает этих трений в процессе воплощения искусства в жизнь? Но попробуем стать на одну минуту на точку зрения болезненно самолюбивого писателя, вознесенного успехом первого произведения на необыкновенную и неожиданную высоту. Как бы ни был он скромен при начале своего поприща, как бы твердо его критическая мысль ни противилась обольщениям внезапно засиявшей на ее горизонте славы, его отношение к миру и людям меняется: он видит себя на вершине, откуда ему все кажется в уменьшенном размере, все, что прежде равнялось ему. Дело его трудолюбия и таланта становится для него подвигом его жизни: он привыкает уже слышать обращаемые к нему слова признательности и удивления, видеть слезы восторга, привыкает улыбаться счастливой и доброй улыбкой на общую радость, возбуждаемую одним его появлением. Но вот рядом с ним поднимается такая же вершина, растет все выше и выше и загорается яркими огнями, и светится вся, стараясь досягнуть до небес, — и уже не к нему, а к этой вершине обращены и восторги толпы, и гул ее рукоплесканий. Еще в душе много недопетых песен, а в сердце огня, но люди уже бегут к новому кумиру и не хотят ждать, пока эти новые песни исторгнутся из сердца и ударят по струнам очарования и восхищения. Слава, как Фортуна, изменчива, прихотлива, капризна. Дважды она переходила от Гончарова к Тургеневу, и Гончаров яснее чем кто-либо в тайниках души своей сознавал, что это не минутная вспышка, а дань поклонения могучему и прекрасному таланту. С точки зрения самолюбия, Тургенев был для него действительно роковым и опасным соперником, в области тех незаметных простому глазу соотношений, при которых оба они шли перекрестными творческими путями к художественному построению общественной психологии. Он признавал и как бы прощал Тургеневу его глубокий лиризм, нежность красок,

мягкую женственность очертаний, то, что не считал главным в своем даровании. Но он не мог примириться с тем шумным успехом, который выпал на долю Тургенева, как общественного писателя, захватившего в своих романах обширный круг явлений русской жизни, — все то синтезированное, обобщенное, на что он распространял как бы исключительное право своего таланта. Два великана столкнулись на одном пути, и Гончаров потерял равновесие...

Но в те же самые годы, даже дни, насколько иначе, насколько снисходительнее относился Гончаров к произведениям других лиц, относительно которых чувствовал свое художественное превосходство! Они не посягали на глубину и красоту его изображений, ни на его славу. Ко времени особого обострения подозрительности Гончарова к Тургеневу относятся письма его к П. А. Валуеву (впоследствии графу), вращавшиеся преимущественно вокруг романа последнего «Лорин». На первый взгляд, здесь Гончаров проявил далеко не симпатичные свойства характера, — приторную любезность, доходившую до льстивости, до низкопоклонства, и уклончивую мягкость критических замечаний, готовую перейти границы самого великосветского лицемерия. И можно допустить, что будь жив Гончаров, он счел бы, по меньшей мере, медвежьей услугой напечатание именно этих писем, — так не идут они по своему общему тону к его, полной внутреннего достоинства, крупной художественной натуре. Но раз они напечатаны, их нельзя обойти молчанием по существу.

В самом деле, странно читать тонкие и меткие суждения о литературе и литераторах в письмах, как бы оправленных в рамку казенного подобострастия и той особой учтивости, которая так типична в устах подчиненного, обращающего свою речь к сильному мира сего. Особая служебная слащавость тона являлась у Гончарова, может быть, только по привычке, так как в годы, к которым относятся его письма (1877–1882 г.), Гончаров лет пять как уже не служил, да и по-

вод к письмам был вовсе не делового характера. Может быть, по этой причине, а, может быть, отдавая дань требованиям стиля бюрократической среды, Гончаров, независимый, знаменитый писатель, соперник Тургенева, «вверял» в благосклонные руки сановника «самого себя со всеми лучшими чувствами»; осмеливался выражать надежду, что свойства сановного характера и «всегдашняя благоволительность» к нему изгладят со временем неблагоприятное впечатление, произведенное на его высокопревосходительство чтением «Литературного очерка»; он боялся «украсть» своим письмом пять минут превосходительного внимания, зная, что если для всех time is monney, то для сановника оно «дороже всяких денег» и т. п. Да, почти сорока-летняя чиновничья лямка наложила свою печать на Гончарова и крепко внедрила в него определенные выражения почтительности, знаменовавшие собою такт и неистребимую никакими литературными заслугами дрессуру.

Но это формальная, несущественная сторона, которая характеризует маленького человека, устраивающего свои житейские и общественные отношения. За ней открывается другая, где начинает действовать большой человек — художник, заслоняющий и поглощающий первого. Они и в романах были не в ладах между собою, эти большой и маленький Гончаровы, и если там первого не легко будет отделить от второго, то здесь, в этой сети живых и остроумных мыслей и настроений, в ряде маленьких блестящих эскизов, внушенных внезапно вспыхивающими порывами творческого увлечения, нет необходимости неотступно следить за маленьким человеком, который хочет пригнуть другого, несущего на себе большого, независимого писателя.

Маленький человек расшаркивается, рассыпается в комплиментах, притворно улыбается, — словом, служит сильным мира сего. Большой человек служит только правде искусства, которая в то же время есть правда жизни, уничто-

жая по пути, невольно и бессознательно, все, созданное стараниями первого. В Гончарове борьба этих двух начал — художника и мелкого самолюбивого человека — привела к поразительным результатам...

Кто помнит, кто знает теперь валуевского «Лорина»? Его и в свое время знали немногие... Гончаровский разбор этого великосветски-тусклого произведения совершил над ним чудо: в его изложении роман ожил, словно по старой ветоши солнце рассыпало свои лучи, и она сразу заиграла и заблистала золотыми переливами.

Гончаров прослушал «Лорина» в чтении автора, и письмо его, уже упоминавшееся нами, является критическим разбором романа, в связи с предположениями о том действии, которое произведет роман на нашу прессу. «Все, что говорится за — есть мое, личное, — предусмотрительно заявляет Гончаров, — что против романа — относится к будущей, предполагаемой печатной критике».

Разбор «Лорина», сделанный Гончаровым, заставляет остановиться вкратце на его содержании и привести несколько выдержек, с целью дать о нем хотя бы общее представление.

Роман назван по имени главного действующего лица, которым является молодой блестящий гвардеец. Как и подобает человеку в его положении, Лорин находится в связи с красивой замужней женщиной, конечно, из того же круга, — графиней Искрицкой. «Свет не карает заблуждений, но тайны требует для них». Связь эта до поры до времени тщательно скрыта от света. Но вот случай сталкивает Лорина с молодой и тоже светской девушкой Ольгой Соболиной, в характере которой он открывает в высшей степени симпатичные, незаурядные черты. Незаметно для обоих, чувство взаимной симпатии разгорается и переходит в глубокую и нежную любовь. Графиня Искрицкая, страстная, порывистая натура,

инстинктивно угадывает опасность, надвигающуюся на нее в крепнущем чувстве Лорина к Соболиной. Она предчувствует охлаждение со стороны любимого человека и, не будучи в силах казаться равнодушной, выдает себя на балу у графов Турских.

Поднимается целая буря светского злословия и сплетен.

Вот отрывок описания бала, на котором Лорин и графиня Искрицкая обратили на себя внимание. «Бал у графа и графини Турских был всегда блистательным балом. Много зелени и цветов на лестнице, обширный ряд салонов, много в них свеч, приветливая улыбка хозяйки, обозначающая присутствие или возможность присутствия высоких гостей, лента на хозяине, хороший оркестр и под конец хороший ужин, — таковы условия, при которых успех бала заранее обеспечен.

В танцевальном зале раздавались переливные звуки вальса. Пары кружились в пестром разнообразии очертаний и красок. Танцы вел лейб-гвардии гусарского полка поручик князь Бельский»...

Далее автор подробно описывает друга Лорина, князя Бельского, который играет некоторую роль в романе. Бельский, оказывается, счастливо соединял в себе необходимые качества, чтобы быть идеалом всех дам, у которых является желание видеть своих дочерей замужем за офицерами гвардии. Лорина пока еще нет. О нем справляются самые почетные гости.

«Бельский, — сказал высокий конно-гвардейский офицер с красивым смуглым лицом, — почему не видать Лорина? Он должен быть моим vis-à-vis на четвертую.

Его еще нет, ваше высочество, — отвечал Бельский; — но он наверное будет. До четвертой есть время. Это третья. За нею опять вальс, и только после него четвертая.

А потом мазурка?

Так точно, ваше высочество»...

Наконец, является и Лорин[45]. Он, само собой понятно, верх благородства и ума. Он держится с большим тактом ... Но здесь его постигает решительная неудача. Между ним и графиней Искрицкой происходит сцена, недопустимая салонным этикетом. «Графиня Искрицкая и Лорин были на прежних местах, но разговор между ними, очевидно, принял оборот, который не мог не обратить на себя внимание посторонних. Графиня говорила с жаром, ее веер беспрерывно переходил из одной руки в другую; она не слушала того, что Лорин пытался говорить в ответ, и нетерпеливо перебивала его речь. Смущение ясно выражалось на лице Лорина; он видел и чувствовал, что на них смотрят, и ясно сознавал неловкость своего положения. Графиня, напротив того, как будто никого из посторонних не замечала. Ея взгляд скользил по зрителям, не останавливаясь на них и не замечая их. В ее чертах высказывались то огорчение, то упрек, то гнев и угрозы. Наконец, слезы брызнули из ее глаз. Она быстро поднесла к ним платок и встала. Лорин тоже встал с выражением немого отчаяния на лице. В это время к дверям кабинета подошла старая графиня Искрицкая, свекровь графини Зинаиды, и провожавшая ее княгиня Лина Мисхорская».

Несмотря на благодетельное участие одного из друзей Лорина, барона Рингшталя, того, что произошло, было слишком достаточно, чтобы считать графиню Искрицкую скомпрометированной. На утро Лорин получил письмо. Там говорилось: «Я вас люблю... Я чувствую, что не могу вырвать вас из моего сердца. Я верю, что и вы меня любите…» и т. д. в том же роде. Затем графиня Искрицкая сообщала, что она имела объяснение со своей belle-mère, которая желала, чтобы она после происшедшего уехала за-границу. «Я уезжаю; но еду одна. Если мое сердце обливается кровью при мысли об

[45] Валуев, гр. П. А. «Лорин», ч. I, Спб., 1882, стр. 28 и след.

отъезде, то только потому, что я должна расстаться с моим сыном. Я была в его комнате. Бедный ребенок спал так спокойно, так мирно, что я не посмела поцеловать его, но долго стояла перед ним на коленях и смотрела на него сквозь слезы, которые струились из моих глаз. Наконец, мое сердце сжалось так сильно, в глазах так потемнело, рыдание было так близко, что я должна была убежать. Я не могу взять его с собой. Виновная мать не может заявлять материнских прав. Это не мелодраматическая фраза, а простая правда. Я даже предложила себе вопрос: что сделала бы я, если бы судьба дала мне дочь, а не сына? И я не решилась отвечать на этот вопрос. Дочери нужно материнское сердце. Я, быть может, должна была бы ей все принести в жертву. Но сыну я менее нужна, чем он мне. Еще несколько лет, и он должен бы, во всяком случае, выйти из-под моего прямого попечения. Пока он ребенок, я уверена в нежной о нем заботливости моей belle mère. Я также могу рассчитывать на моего деверя, который человек разумный и с добрым сердцем. А потом, когда мой сын будет взрослым мужчиной и ближе узнает свет и людей, с ним можно будет объясниться иначе, чем с дочерью. Он меня услышит, мне простит, не постыдится меня и не оттолкнет от себя...

«Я не могла продолжать. Я должна была встать из-за моего стола и долго, долго смотрела в окно. Глубокая, тихая ночь. Во мне одной нет покоя. На небе ни одного облака; звезды слабо мерцают при лунном свете; Нева покрыта ровною белою пеленой. Это саван той жизни, которою я жила до сих пор. Все вокруг меня мертво и холодно. Я так одна, так от всего отрезана и так глубоко ощущаю холод, который меня пронизывает до мозга моих костей!»

Но, говоря словами поэта, «не пишут столь пространно решительный отказ». Графиня не зовет Лорина, не просит его, но «осведомляется»... О чем? — «До свидания или про-

щайте навсегда. Если первое, то напишите эти два слова на вашей карточке и пришлите ее мне. Не торопитесь ответом. Подумайте о себе; взвесьте за и против; я буду терпеливо ждать целый день. Если второе, то мне никакого ответа не нужно...»

Пред Лориным, конечно, замелькали образы прошлого, «бесповоротная действительность проникла в сознание» и охватила сердце и ум, при этом, естественно, «кровь поднималась в голову, а руки леденели». Что было делать в таком состоянии? Пришлось взять визитную карточку, написать на ней два слова... После этого Лорин поступил уже, как вполне рассудительный человек: «вложил в конверт, надписал адрес, позвонил и, приказав вошедшему слуге отнести конверт по адресу, прибавил: никого не принимать и тотчас заложить сани».

Чтобы дать кучеру исполнить приказание, автор посвящает страницы полторы философическим отступлениям. «В человеческом сердце есть изгибы, которые иногда внезапно освещаются неожиданным светом. Есть чувства, которых истинное значение и сила остаются не вполне изведанными, пока они крутым опытом не проверены. Есть чувства, по которым опыт скользит, как стекло по алмазу; и есть другие чувства, которые опыт надрезывает, как алмаз в руках стекольщика надрезывает стекло.

«Что есть опыт? Совокупность всего ожиданного и всего нечаянного и, вместе с тем, в отдельности, всякая нечаянность и всякое явление, нами ожиданное или предусмотренное, всякое затруднение, всякое усилие, всякий успех, всякое достижение предпоставленной цели, всякое новое ощущение, радостное или печальное, все длинные ряды повторяющихся с разными оттенками прежних впечатлений, одним словом, всякое соприкосновение наших чувств, нашей мысли и нашей воли с внешним миром и с внутренним миром нашей духов-

ной природы. Опыт, как воздух, нас обнимает со всех сторон; он сопровождает нас на каждом шагу; он иногда проливает медленный свет на нашу внутреннюю жизнь, иногда озаряет ее, как молния; иногда незаметно вкрадывается в наше сознание; иногда вдруг становится перед нами и говорит: я — опыт; вглядитесь в себя и дайте ответ».

Таковы многочисленные сентенции, которыми автор уснастил многие десятки страниц своего романа.

Возвращаться ли нам к его сюжету? Пересказывать ли все эти бесконечные сцены, подробности встреч, разговоров, описания природы, излияния чувств, — все, что бывает в романах у благовоспитанных людей?

Подобный пересказ был бы и утомителен, и бесполезен. Читатель, и не слишком проницательный, догадается, что Лорин уехал заграницу, предварительно выйдя в отставку, отказавшись от денег своего доброго дяди, т. е. пожертвовав всем, как говорили его друзья, из-за графини Искрицкой. Но в сердце его играл всеми лучами радуги образ Ольги, которую он еще успел несколько раз пленить при случайных встречах, на раутах и парадах. Графиня Искрицкая, как дама нервная и впечатлительная, чувствует, что Лорин уже не тот, что сердце его потеряно для нее навсегда. Она решается с ним расстаться, а затем, спустя некоторое время, умереть от чахотки.

Но мы забежали вперед и раньше срока похоронили бедную графиню. До этого момента прошло много времени в томительных, унылых разговорах, происходивших в разных модных и уединенных курортах. А пока длится это путешествие, друзья и враги Лорина, оставшиеся в Петербурге, злословят, затевают дуэли, но все это происходит чинно, тихо, благородно, как оно и приличествует в благовоспитанном великосветском кругу. И надо же было случиться, что в Белладжио, где одно время изнывал Лорин с графиней, приехала Ольга Соболина, высланная врачами из петербургского кли-

мата, а за ней и безумно влюбленный в нее ее сводный брат, граф Ракитин. Читатель понимает, что между ним и Лориным должна была произойти дуэль, которая тоже кончается почти благополучно: у Лорина оказалась простреленной рука. Но могло бы выйти много хуже: пуля ударила в грудь, и отскочила от медальона... Провидение, по-видимому, не решалось так рано отнять у земли одну из самых благородных звезд петербургского большого света. Ольга, конечно, была очень довольна благополучным исходом поединка, не на шутку ее взволновавшего. Она успела уже сообщить Лорину, что очень его любит и, как девица весьма религиозно настроенная, молится за него, и будет молиться... пока, как можно предполагать, не выйдет за него замуж. Это и случилось на самом деле, после разных перипетий и путешествий на Запад и на Восток, когда бедной графини не было уже на свете. А добрый дядя, который, в начале романа, не сочувствовал связи Лорина с графиней Искрицкой, простил его и удачной операцией спас для него имение.

Такова схема романа, при посредстве которой автор изложил целую энциклопедию понятия о благородстве, чести, долге. Среди длиннейших диалогов на серьезные темы в салонном тоне встречаются любопытные строки, имеющие непосредственное отношение к автору и роману.

В одной из сцен действующие лица заняты литературным спором; они обсуждают достоинства и недостатки нового романа. Одно из этих лиц соглашается с мнением какой-то газеты, назвавшей автора романа, о котором они говорили, «бэльэтажным». «Все происходит в тесной и условной сфере так называемых великосветских отношений. Действующие лица большею частью князья и графини. Кроме языка, нет ничего собственно русского. Герой, героиня и почти все их сотоварищи могли бы точно также быть немцами, англичанами или французами, как и русскими... Жгучие вопросы дня

оставлены в стороне. Ни одна из бытовых стихий русской жизни не затронута. Нигде не выступают на сцену лица из народных слоев, прямые представители этой жизни. Одним словом вся истинная, подлинная Россия как будто заслонена салонною публикою Петербурга и Парижа»[46].

Этот отзыв, солидный и гладкий, как выбритая щека истого бюрократа, делает особую честь автору: он от первого до последнего слова применим к «Лорину».

Гончаров был гораздо разнообразнее в оценке романа. Он и польстил, как светский человек и опытный чиновник, и не польстил автору. С одной стороны, как художник-критик, руководимый исключительно инстинктом искусства, чуждый всяким соображениям этикета, он не пощадил Валуева, и Валуев, можно думать, понял это. Гончаров отнесся к автору, словно к способному самоучке, любителю, который создал такую замысловатую самоделку, что ей нельзя не подивиться. «Изумительно», — пишет Гончаров, — так я могу выразить мое впечатление в целом, по выслушании всего того, что написано. «Изумительно!» повторяю я — что автор, не прошедший долгой приготовительной школы беллетристики, не отдавший себя всего ей, в его положении, при его знаниях, в качестве дилетанта, мог дать такое капитальное во многих отношениях произведение, между прочим, и с точки зрения беллетристики, хотя автор, по словам его, мало дорожил этою точкою». Назвать произведение, претендующее на художественность, «капитальным» во многих отношениях и только между прочим, — с точки зрения беллетристики, — похвала не особенная, во всяком случае, не такая, которой мог бы позавидовать даже заурядный беллетрист. Но, установив эту общую точку зрения, Гончаров ведет дальней-

[46] Письмо к Валуеву от 6 июня 1877 г. «И. А. Гончаров в неизданных письмах к гр. П. А. Валуеву», стр. 12, 23 и след.

шее изложение в сильно приподнятом тоне, не жалея превосходной степени и не стесняясь даже сопоставлением автора «Лорина» с автором «Войны и мира», который, видите ли, тоже изображал высшее общество и в котором тогдашние критики тоже не все одобряли. В салоне такие сравнения были допустимы, и Гончаров подчеркивает свою основную мысль о салонности, «бельэтажности» нового произведения, изображая с тонкостью, которой позавидуют восточные дипломаты, общее впечатление, произведенное на него романом: «Автор подает мне, читателю, свою мягкую, добрую руку в перчатке, вводит по широким мраморным ступеням в покои, где все блестит роскошью вкуса, в толпу изящных, умных, благовоспитанных мужчин и женщин, среди которых мне приятно быть, вглядываться в их лица, вслушиваться в их тонкие речи, входить в их интересы, волнения, страсти, радости, скорби, волноваться, радоваться и страдать с ними — потом уйти в приятном раздумье, благодаря автора...»

Только и всего, что останется у читателя от двух-томного и романа; только это и решился выразить Гончаров лично от своего имени. Все же, что можно было бы сказать против, он предпочел отнести, как мы видели выше, на счет предполагаемой критики. И здесь, цитируя воображаемых «противников», он сделал несколько таких замечаний, продиктованных его непосредственным критическим чутьем, которые никак не могли сойти за похвалы. «Укажут на Толстого, — говорит он от имени «противников», — что он (Толстой), зная отлично высший круг, не уродует русскую жизнь, отрезывая умышленно все прочие слои, а автор нового романа, изображая этот один круг, по выбору, пишет-де не русскую, а космополитическую жизнь, так как наше высшее дворянство употребляет все, чтобы не походить на русских, и так далее».

И если, — кажется Гончарову затем, — глубокая, беспристрастная и разумная критика и примет скромное заявление

автора, что его задачей было лишь провести в публику несколько тезисов, без притязаний на творчество, то летучие фельетонные отзывы не остановятся перед этим. «Они не захотят видеть в новом произведении ничего другого, кроме «пристрастного и одностороннего аристократического протеста против прогресса новых идей, против реальностей в искусстве...»

Гончаров выражает затем уверенность, что, насколько это возможно в цензурном отношении (а Валуев в эти годы мог иметь весьма решительное влияние на цензурное ведомство), критики противоположного ему лагеря непременно выскажут это; не оставят они без ответа и полемических намеков автора. В одном месте романа одна «особа», указывая на лакея, подающего мороженое графине, замечает, что «новые люди потребовали бы, чтобы графиня подавала мороженое лакеям». «Это верно и метко замечено, — соглашается Гончаров, но это перчатка, брошенная демократии, прямой вызов, и его примут».

Любопытное замечание делает Гончаров и по поводу сословной тенденции, усердно проводимой в романе. При всем неудобстве обсуждать в печати сословные вопросы, критики все же не преминут сказать, что «автор умышленно хочет поддержать барство, изящное франтовство и т. п....», что «идея свободы и равноправности, разлившаяся с быстротою света в общественных массах, исключает всякое рабское поклонение перед барскими затеями, перед их титулами»... Гончаров словно цитирует либеральные газетные статьи своего времени, с их неизбежной трафаретностью общих мест, и трафаретность эта отлилась для Гончарова в сплошной ряд своего рода формул, поражавших художественную восприимчивость его отсутствием оригинальной и свежей формы.

Далее Гончаров делает подробный разбор романа по сценам и отдельным главам. Разбор этот тонок и красив, как все, что выходило из-под критического пера Гончарова. Неуме-

ренные похвалы одним сторонам романа смягчаются в нем осторожными замечаниями отрицательного свойства о других. Суровая правда не совсем затушевывается, однако, и выглядывает довольно явственно из-за извивающихся складок комплементарного суесловия. И, если подвести итог всем замечаниям, нельзя не прийти к заключению, что Гончаров отнесся к роману исключительно с салонной точки зрения и отнюдь не смотрел на него, как на произведения «большой» литературы. Чрезвычайно уклончиво говорит Гончаров и о «тезисах», проводившихся в романе. Достаточно сказать только, что он не считал роман Архимедовым рычагом «против этого мира материалистов, нигилистов, и всяких подобных истов», но не сомневался, что роман мог удержать «слабых и склонных к идейному совращению» — и уже в этом видел великую заслугу. Тезисы эти, по его выражению, поставленные «со спокойствием на незыблемых основах правды, добра, чести, и притом в художественных образах, делают роман всесильным, неодолимым и красноречивым. Но, в смысле протеста против установившихся взглядов либеральной критики и особенно ее приемов, новый роман теряет свое величие и силу и не выдержит натиска задорных и численных противников, которых надо громить всею силою, или не трогать...»

Здесь Гончаров высказывает одно из практических соображений, входивших в сознательную часть его творческого процесса. Для вернейшего успеха он признает необходимым ставить, развивать и распространять свои тезисы, а в произведениях искусства изображать их спокойно, как в том, так и в другом случае «не трогая тезисов противника, а игнорируя их».

Но кто являлся «противником» Гончарова? Во всяком случае, не та критика, которая оценила его и представила общественному сознанию, как одного из наблюдательнейших и лучших художников своего времени. Как бы ни противился бюрократический и чопорный человечек в Гончарове, ху-

дожник брал решительный перевес, и творческим инстинктом он становился на сторону тех, против которых так остерегал Валуева. Когда же обстоятельства складывались таким образом, что Гончаров должен был решительно высказаться, на чьей стороне было его убеждение, — шло ли оно рука об руку с духом и направлением старосветской схоластики, вроде валуевских тезисов, или на стороне проповедников свободы и трезвого реализма в искусстве, — Гончаров то писал учтиво-уклончивые письма, вроде нами рассмотренных, то заставлял искусство говорить само за себя, и из-под пера его лились такие пленительно-художественные, полные тонкого и лукавого юмора страницы, из которых создался его очерк «Литературный вечер».

XXI

«Литературный вечер». — Его происхождение. — Параллель в жизни и творчестве. — Черты «Лорина» в «Литературном вечере».

Этим очерком мы обязаны Валуеву, и потому художественные грехи его «Лорина» заслуживают самого большого снисхождения... Как видно из некоторых указаний в цитированных письмах, Гончаров устанавливает несомненную связь между чтением этого произведения и тем, что происходило на вечере у Григория Петровича Уранова. И там, и здесь сановный автор, несогласный с духом и направлением новейшей критики, пишет поучение в форме романа, с целью дать урок хорошего тона и благородства мыслей новейшим поколениям, среди которых развилось так много всякого рода отрицателей, материалистов, социалистов и «всяких иных истов». Он читает этот роман на вечере у своего приятеля, собирающего подходящий состав слушателей и пользующегося случаем развлечь и себя, и своих знакомых. Не знаем, насколько полна была художественная параллель очерка с тем, что происходило на вечере, где Валуев действительно

читал свое произведение, и был ли у хозяина племянник студент, которому вздумалось пригласить, для общей забавы, актера Крякова. Но можно с достаточной уверенностью сказать, что все остальные персонажи очерка списаны были с натуры, в образах, несколько смягченных типичным гончаровским обобщением. Там был Иван Иванович Кальянов, помощник Бебикова (автора романа в очерке) по комиссии преобразований, кстати сказать, своей машинно-образной исполнительностью напоминающий собою Ивана Ивановича же Аянова. Несомненно, был и профессор словесности, читавший потом за ужином целую лекцию о достоинствах романа, и лица, приглашенные или за свою причастность к литературе, или вовсе к ней не причастные, но близкие знакомые хозяину дома. Пришел под именем Скудельникова (как он и сам говорит об этом в письме к Валуеву) и «пожилой беллетрист» Гончаров. Он как пришел в общество, где запахло литературой, так и закрылся от всех маской равнодушия, чтобы не видно было, что у него творилось на душе. В этом состоянии он «как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза, взглядывал на автора и опять опускал их. Он, по-видимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе, — вообще ко всему вокруг себя». Кроме этих лиц, составлявших кружок «своих», более или менее хорошо знакомых между собою людей, Гончаров вывел на сцену еще загримированного артиста, под именем Крякова, который должен был взять на себя роль проповедника «новой правды» в искусстве и жизни. Вывести «настоящего», какого-нибудь перелицованного Волохова, Гончаров не решился, потому ли, что считал бы малоправдоподобным его появление за блестящим столом Уранова, потому ли, что предполагал, что «настоящий» не мог остановиться на той границе между вольностью нигилиста и светским приличием, которая была всегда ощутима для артиста. Но, несмотря на то, что Кряков

явился фальсифицированным провозвестником новых идей, он выполнил свою роль блестяще, и не трудно объяснить почему: с одной стороны, он был взят автором очерка из круга актеров, т. е. из круга людей, наиболее чутких к новым течениям в искусстве, а, с другой, Гончарову было легко писать его, потому что в его образе воплотился он сам своим художественным темпераментом, чувством меры, критическим чутьем, со всем складом своих, для изображаемого круга демократических, воззрений на искусство и жизнь.

Гончаров не любил точного, фотографического снимка с жизни, где фантазии и критической мысли, ищущей художественной мерки для каждой детали, не было места. Он любил разрушать в наблюдаемых явлениях те конкретные грани, которые делали то или иное явление частным случаем, любил давать изображение не в резких контурах, а в мягких очертаниях, как бы колеблющихся в переливах лучей. Жизненность общего впечатления поглощала у него конкретную точность схваченного наблюдением. Поэтому он так заботился, чтобы изображаемые им лица не были портретами. Первоначальный набросок «Литературного вечера», который Гончаров читал Валуеву, был, вероятно, гораздо ближе к житейской основе, чем тот, который он получил в окончательной обработке. На это указывают следующие строки, относящиеся именно к этому очерку, из его второго письма к Валуеву: «Конечно, все требует коренной переделки: прежде всего, следует исключить все личное, все портреты, заменив их типами, другую обстановку и т. п. Это не трудно. Труднее обобщить главные тезисы этого essey и провести объективно насущные вопросы».

Значит, перед нами конкретный случай, художественно рассказанный в чертах тщательно обдуманного, художественной интуицией внушенного обобщения. Типичным образчиком того, к чему приводил этот обобщающий процесс

гончаровского творчества, может служить любопытная форма, которую придал автор «Литературного вечера» своей передаче содержания того романа, который служил предметом обсуждения в этом очерке. Роман этот, несомненно, «Лорин». Возьмем из него лишь несколько характерных штрихов.

«Роман начался с описания блестящего бала, на котором являются два главные лица романа, или герой и героиня. Он — граф, она — княгиня. Она — блестящая звезда большого света по красоте, изяществу, уму. Он — красивый, ловкий и тоже блестящий молодой человек, офицер одного из первых гвардейских полков».

Дальше идет чрезвычайно искусная импровизация на сюжеты из «Лорина». Те же манекенные разговоры, благородство поступков, светская изысканность банальных выражений. Граф и княгиня любят друг друга, но с того времени, когда начинается роман, между ними пробегает черная кошка.

Накануне бала княгиня увидела из экипажа графа с какой-то дамой. Они прогуливались по набережной Фонтанки, оживленно разговаривая и смеясь. Княгиня приняла даму за барышню своего круга Лидию Н., «прелестную молодую блондинку, в цвете лет, стройную, грациозную, с умными глазами, просто и со вкусом одетую». Но княгиня ошиблась: это была французская актриса, а вовсе не Лидия Н., смелость которой не шла далее посещения инкогнито, но с разрешения папаши и мамаши, больной подруги, нарушившей приличия света. Лидия, описанная в таком валуевском стиле и соответствующая знакомой нам Ольге Соболиной, сделалась жертвой светского злословия, которое не пощадило при этом и графа с княгиней. Бедняжка занемогла, и заботливые родители отправили ее со старой теткой заграницу.

И граф, и княгиня тоже не вынесли «пытки». Княгиня отправилась в свое родовое имение, а граф решился на «смелый

шаг», отбыл якобы заграницу, но туда не поехал, а вместо этого пробрался в соседнюю с имением княгини деревню и стал бродить около ее парка.

Валуевская манера в описаниях и разговорах так и светится, в передаче Гончарова, наивно затаенным юмором,— та манера, в которой было, говоря выражениями Гончарова, «более желания соблюсти тон и изящность речи», что создавало «некоторую чопорность, мерность и холодность», чем «движения мысли, искр страсти, вообще характерности, портретности или типичности»...

Не можем не привести еще отрывок из этой блестящей пародии на творение Валуева.

Конечно, переодетый граф с ружьем и княгиня не могли не встретиться, и... ах, что здесь произошло!

«Наконец, он увидел ее сидящею в глубокой задумчивости на скамье под вязом; возле на траве валялась книга. Он тихо подошел кустами сзади; на него вдруг залаяла ее собачка, но, узнав его, начала радостно визжать и ласкаться к нему.

Кто тут? — с испугом спросила княгиня.

Я, — сказал он, упав на траву и прижимая ее руки к губам. — Простите!

Вы... Ты... вы... — оторопев, произнесла княгиня и залилась слезами... От чего? От негодования? От оскорбленной гордости? Нет, от радости, от счастья!

Я ждала тебя, я знала, что ты будешь — шептала она отвечая на его поцелуи. — Если бы ты не приехал, я не простила бы тебе...

О рай! О небо! — твердил он...»

Их любовь ликовала в течение лета здесь, в глуши, потом отправилась ликовать заграницу, и там счастливые часы их текли то в Германии, то в южной Франции и Италии. Затем, дав повод автору изобразить целый ряд грациозных и целомудренных сцен любви, налюбовавшись природой и искусством, «герой и героиня, насыщенные страстью, оба, наконец,

смутно начинают чувствовать неловкость своего взаимного положения». В это время снова подвертывается *Лидия*, сначала в Париже, а потом в Швейцарии, и после разных нравственных перипетий дело кончается чрезвычайно благородно. Героиня украдкой уезжает от героя, а герой остается на заре «той любви, которую в припадках ревности предугадывала княгиня».

Добродушная улыбка, с которой, может быть, пересказывал Гончаров содержание романа, превращалась, против его воли, в злую иронию, в сатиру над усилиями автора создать роман из одних голых «тезисов», не воплотив их в живые образы, не вдохнув в них жизнь магической силой таланта. И снова, как ни распинался маленький учтивый человек, практик житейской мудрости, сидевший в Гончарове, сила художественной интуиции взяла над ним верх и повела его на те вершины критической мысли, куда он не дерзнул бы забраться в минуты трезвого раздумья, при свете одной лишь житейской философии.

Отдельные замечания общего характера, высказываемые Гончаровым в развитии сюжета, также согласуются со всем, что нам известно о романе «Лорин», и представляют собою сплошные параллели к тому, что им было высказано в письмах. Таковы замечания о житейской мудрости, высоких правилах чести, рыцарском благородстве, которым исполнены представители старого поколения, о трогательной гармонии между ними и молодежью, о преобладании военного элемента над гражданским, об особенном интересе автора к парадам и вообще чертам из военного быта, об отсутствии в романе лиц «из простого звания» и т. п.

Тон писем к Валуеву не оставляет никакого сомнения, что Гончаров менее всего думал о сатире, когда пытался представить свой почтительный разбор. Посылая «Литературный вечер» Валуеву 1 января 1880 г., он писал: «Она (статья) ро-

дилась по инициативе и под влиянием вашего пера. Многие или не усмотрят совсем, — говорил он далее, — или, введенные в заблуждение каким-нибудь враждебным шепотом обо мне, усмотрят и растолкуют криво, как это было с моим «Обрывом», например. Что касается до меня, то я и здесь остался верен тем началам и убеждениям, какими руководился всегда, как писатель и как человек»[47].

«Если вы изволите пробежать очерк до конца, то, конечно, найдете, как и я сам нахожу, что мнения Красноперова и Крякова отличаются крайностями, а у последнего еще грубостью и резкостью; но я не старался смягчить ни крайних воззрений на старый лад первого, ни грубости последнего, чтобы не лишать портретов сходства с действительностью.

Сам я, как автор, являюсь здесь, так сказать, в тени, мельком, стараясь заставить говорить других. Я хотел подслушать и нарисовать мнения и толки разных представителей общества, т. е. публики и прессы. В этом собственно состояла половина (артистическая) моей задачи. Не знаю, успел ли я сделать это занимательно, как художник: не мне судить об этом».

---

[47] Письмо от 6 июня 1877 г. Там же, стр. 42. — Гончаров писал Валуеву: «Слушая меня, вы довольны тем, что вызвали меня на это описание — и этим несказанно обрадовали меня, угадав мое главное свойство: впечатлительность, способность отзываться и отражать. Прибавьте, что я воспринимаю и отражаю только то, что сильно меня затрагивает. Таким образом, главный виновник отражения, т. е. очерка — вы и ваше произведение». — И дальше: «Всего более мне хотелось изобразить будущее отражение вашего произведения в прессе и обществе, с прибавлением от самого себя несколько мелких заметок». Там же, стр. 45 и след. — В другом письме, 21 декабря 1877 г., Гончаров писал Валуеву: «...я отнюдь не позволю себе усумниться в вашей скромности, и сам держу секрет (тем более, что в очерке дело шло о вашем сочинении)... «Гончаров в неизданных письмах к Валуеву».

Если вместо почтительного разбора «Лорина» и в письме к Валуеву, и особенно в «Литературном вечере» получилась сатира на мертвое, с точки зрения искусства, произведение и на тот круг людей, который был в нем изображен, то это случилось помимо воли Гончарова. Это сделал талант, который имел над Гончаровым больше власти, чем его трезвые намерения и практические взгляды, это сделала правда искусства, которую он не мог изменить, не рискуя перестать быть художником. Эта правда не осенила своим крылом никого из сторонников автора мертвого произведения, судивших о романе за ужином у Уранова. Напротив, она обнаружила их органическое непонимание наиболее жизненных задач искусства, их индиферентизм, отсталость, боязнь каждой новой мысли. И при всем несходстве в способе выражения своих мыслей, при всем различии в темпераментах и степенях образования, они все объединены одним духом обороняющейся ненависти против того, что наступало на них со стороны новых и не принадлежавших к их кругу поколений, проникнутых веяниями свободного духа в искусстве и жизни. Как ни глухо прикрыл Гончаров ставни снаружи, как ни тяжелы были гардины Урановской квартиры, полоска яркой утренней зари пробилась в комнату к концу ужина, затерявшись, впрочем, в фальшивом свете канделябров и люстр... Эта полоска света, которую внес с собой актер Кряков, слишком ничтожная, чтобы дать какое-либо понятие о борьбе классов и поколений семидесятых годов. Но пробравшись помимо воли автора, она драгоценна для всей истории его творчества, заканчивая изображенный им процесс ломки старых понятий и нравов. «Лорин» — достойное завершение круга идей, искусственно взрощенных в экзотической атмосфере, чуждой стихиям широких общественных и народных масс. Его крушение в обстановке, создавшей и взлелеявшей его, под натиском одного только Крякова, этого преображенного Райского, прошедшего школу Марка Воло-

хова, само по себе знаменательно. Играя, шутя, разбивает Кряков «бабушкину мораль» всех этих Красноперовых, Лилиных, профессоров словесности, Чешневых и пр., с оцепенелыми, схоластическими представлениями об общественной роли литературы, и к концу вечера сила морального превосходства остается на его стороне. С ним, оказывается, «весело», его готовы охотно слушать, а для гостей Уранова, готовых в другом случае «звать полицию», это уже не малого стоит. Пусть бы только слушали, а там горячая и честная мысль сама примется за дело. И, что любопытнее всего, Гончаров сам к концу вечера стал решительно на сторону Кракова, вложив все остроумие, весь блеск своей наблюдательности и памяти в его меткие афоризмы, а за ними скрывалась далеко не внятная и самому Гончарову, в своем целом, символика освободительных идей, с их молодым тогда еще задором и увлечением.

Как типичны речи Красноперовых для своего да, пожалуй, еще и для нашего времени!

«Правительство ослабело, строгости нет, — вот и порядка нет! Страху бы нам, страху! вот что нужно, а не свободу печати!» И Красноперовы, и им подобные то упрекают власти, то утешают себя надеждой, что «все эти отрицатели и разрушители, если не обо что-либо другое, так о собственность лоб себе разобьют», то грозят коммуной, если не будут приняты меры... Кряков называет Красноперова Фамусовым. Гончаров не подписался бы под Фамусовским взглядом. Не подписался бы он и под навязанной Кракову волоховщиной — отрицанием Пушкина. Как теоретик, он ближе всех стал бы, можно думать, к тому профессору, который складом своих убеждений, своей общественной психикой, жил заодно со старым поколением, но для бесед с молодежью, для выражения новых идей имел в запасе готовый словарь общих мест. «Дух века пробивается, — поучал он генерала: — кипит

работа, совершается великая борьба идей, понятий, интересов... исхода которой, мы, конечно, не увидим». Последняя фраза в устах профессора означала не что иное, как признание за собой права удовольствоваться эстетически благодушным констатированием «великой борьбы» и личную самодеятельность сдать в архив: «нужно терпение... не мы, так дети увидят тот порядок, который должен выработаться из этого хаоса».

Гончаров-художник значительно перерос профессора. Перерос непосредственным чувством, бессознательным движением творческого импульса. Кряков ничего не мог сказать положительного в защиту того направления, которое он представляет. В качестве артиста, актера, он имеет право не выступать активным защитником того нового порядка вещей, который был так страшен людям красноперовского закала. И Гончаров уклонился от неблагодарной и для него непосильной роли суфлера без тетради, по памяти, наизусть. Кряков ограничивается только ролью критика, но эту роль он выдерживает с необыкновенным искусством, метко поражая противников в самые больные места. Итог его критических замечаний, относившихся к роману, приобрел сразу общественный смысл. «Незачем распространять свои допотопные идеи, — сказал он, — и возвращать нас за сто лет назад! Это все отжило! А если написал для забавы, так читай на ухо тому глухому графу, что подле него сидел, да вон господину Красноперову! А он (Уранов) собрал вон сколько народу — это уж публика; значит, у него не просто забава была на уме, а поучение, претензия...»

В этой оценке, понимаемой и в литературном и в общественном смысле, сходятся все незаметные на первый взгляд нити художнической впечатлительности Гончарова. В письме к Валуеву он затушевал учтивостями и комплиментами правду своего впечатления, но в очерке весьма решительно

выразил его от имени критика, который, по выражению одного из урановских гостей, «крокодила объелся».

За ужином был еще один гость — «синие очки», отличавшийся смиренным видом и большими способностями по части чтения в сердцах. «Синие очки» завели речь об «истории одного крестьянина» Эркмана Шатриана. Следующая затем сценка дорисовывает образы спорящих сторон и особенно фигуру Крякова.

«Да что там описывается? — добивался Уранов.

Революция! — вызвался объяснить Кряков, но прежде шепотом спросил студента: «Не вру ли я? я забыл! кажется, там революцию превозносят?

«И я забыл; да ничего, сойдет!» отвечал тот и засмеялся.

Там герои первой французской революции уподобляются древним римлянам! — смело провозгласил Кряков громко Уранову. — Так вот ваши гости, господин Красноперов, да господин (он поглядел на синие очки) Синеоков, кажется, и собираются высечь меня за то, что я хвалю этот роман. — Так ли? — прибавил он, глядя на них обоих.

— Да, теперь Марата, Робеспьера и Дантона чуть не в святые возводят; это все новые... со своим прогрессом! — добавил Красноперов.

Кряков был нетверд по части революции. Волохов, видно, дальше отрицания Пушкина его не повел. Поэтому ему нечего сказать в ответ Красноперову, и дальнейший разговор искусно обходит камни преткновения. Революционное настроение Кракова не идет далее протеста против роскоши богатых: «Выгляните только в окошко. Все это (серебро, бронзовые канделябры, тонкий ужин) ненужное, излишки... и они составляют ваше и вот всех их счастье. Можно есть на глиняных тарелках, а не на серебре, пить, воду или квас, ну, пиво, а вы пьете и едите все ненужное, излишек»...

Такие речи слыхала еще Софья Беловодова от Райского, умолявшего ее отдернуть толстые гардины, раскрыть окно,

пустить к себе свет дня и шум жизни. Еще момент, и Кряков заговорит и о трудящемся народе, и о беременной бабе, жнущей в знойный июльский день на урановских полях...

И Кряков-Райский сказал это — не теми словами, которые затерялись в «Обрыве», но более категорично, более горячо. В ответ на вопрос Чешнева: «Кто поставил ее (Россию) на высокую ступень извне и кто держит силу, порядок и ход жизни внутри как не лица того же круга, из которого автор (прочитанного романа) взял своих героев?» — «Нет! трудом, кровью и духом народа держится все! — рыкал, как лев, Кряков, с блистающими глазами».

Это — высшая точка его революционного подъема. Он произнесет еще слово «социализм», но испугается дать ему объяснение, и отошлет вопрошавшего генерала к фельдфебелю, которого Скалозуб хотел определить в Вольтеры. После Крякова заговорил Чешнев о псевдо-либерализме, который «избрал своим девизом разрушение гражданственности, цивилизации, не останавливается ни перед какими средствами — даже пожарами, убийствами... и не знает сам, чего хотеть, и мчится...» Но, куда он мчится, этого Кряков искренно не знает и, когда Чешнев поясняет, что воплощаемый, по недоразумению, в Кракове псевдо-либерализм мчится к той бездне, от которой, «умирая, отвернулся и Герцен и куда отчаянно бросился маньяк Бакунин, увлекая за собой Панургово стадо», Кряков засмеялся и сказал с прежней искренностью, которой нельзя не поверить: «Ну, я туда вас не зову». Туда было слишком далеко для Крякова, этого переодетого Райского, запомнившего кое-какие волоховские слова.

За полицией, во всяком случае, не послали, и дело кончилось милым и неожиданным сюрпризом. Кряков оказался известным артистом, вовлеченным в урановский кружок потехи ради, и приятели признали в нем, если не одного из своих, то, во всяком случае, человека из «общества». Очерк заканчивается трогательной сценой оваций, оказанных арти-

сту на благотворительном спектакле в Павловске; среди них выражения признательности со стороны участников урановского вечера отличались особенной горячностью и знаменательностью подношений.

XXII

«Обыкновенная история». — Автобиографические черты. — Адуевы: племянник и дядя в отношениях к Гончарову. — Отношение Гончарова к родственникам.

«Обыкновенная история» была первым романом Гончарова по времени своего создания; в ней естественно искать и более непосредственного отражения личных черт самого автора.

Вчитываясь внимательно в это произведение, нельзя не заметить, действительно, что все оно — скорее художественный мемуар, с самонаблюдением на первом плане, чем роман, и менее всего какая бы то ни было «история». История предполагает известную последовательность в переходе героев из одного состояния в другое. Здесь же мы видим не то: в целом ряде сцен изображается борьба дяди с племянником, переходящая, наконец, в примирение, в полное совпадение в одном типе. Дядя разочаровывает племянника в его юношеских мечтах о любви и дружбе, осмеивает его творческие опыты, его незрелый идеализм, излагает перед ним практическую философию жизни. Но проходит несколько лет, и дядя видит, что племянник — живое воплощение его, Петра Ивановича Адуева. И насколько много этих сцен, делающих чтение романа подчас утомительным, настолько мало постепенности и равномерности в изложении «истории» в узком смысле. Последняя совершается за спиной читателя; о ней в коротких словах рассказывает сам Гончаров. «Прошло более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала?..» — так связывает Гончаров начало и продолжение своего повествования, но это — чисто внешняя связь. Провинциал изменился только

по наружности — он возмужал, «черты лица созрели и образовали физиономию», и хотя Гончаров и добавляет, что «физиономия обозначила характер», однако, внутренняя перемена еще не наступила. Александр все тот же — с первой до последней главы, за которой следует знаменитый эпилог. В этой главе дана попытка раскрыть внутренний процесс совершившихся в Александре перемен, — попытка, без которой совпадение дяди и племянника в одном типе было бы необъяснимым и случайным.

Поездка Александра Адуева в деревню, после нескольких лет службы в столице, может найти себе параллель в последней поездке Гончарова на родину, через четырнадцать лет по окончании университетского курса. Мать нашла Александра Адуева похудевшим, задумчивым, волосы значительно поредели. Камердинер его, Евсей, объяснял эту перемену «писаньем», которому ежедневно предавался его барин: запомнил он еще слово «разочарованный», подслушанное в отзыве Петра Ивановича об Александре, но других, более глубоких мотивов перемены в барине не мог указать.

Во время этого посещения родного города Гончаровым, Потанин, автор уже цитировавшихся воспоминаний, впервые увидел «знаменитого литератора» и «отчаянного питерского франта». Застенчивый гимназист с трепетом ожидал встречи с ним, но, к его счастью, в гостиной, куда его привели, «не было ничего страшного»... И Потанин набрасывает любопытную жанровую сцену из жизни. — «Иван Александрович беседовал с гувернанткой, Варварой Лукинишной, и, должно быть, очень весело, потому что гувернантка хохотала чуть не до истерики. Передо мной предстал обыкновенный мужчина среднего роста, полный, бледный, с белыми руками, как фарфор; коротко остриженные волосы, голубовато-серые глаза, как на портрете отца, но улыбка не отцовская, насмешливая. Одет он был безукоризненно: визитка, серые брюки с лампасами, прюнелевые ботинки с лакированным

носком, одноглазка на резиновом шнурке и короткая цепь у часов, где мотались замысловатые брелоки того времени: ножичек, вилочка, окорок, бутылка и т. п. Петербургские франты того времени не носили длинных цепей на шее. Гончаров был подвижен, быстр в разговоре, поигрывал одноглазкой, цепочкой или разводил руками.

Брат, вот тот учитель, о котором я с тобой говорила, господин Потанин[48].

А, приятно слышать!.. отозвался он небрежно и осмотрел меня с головы до ног, впрочем, подал руку и пригласил: — присядьте, побеседуем.

Я, как Акакий Акакиевич, присел на кончик стула. А литератор задумался, точно соображал, о чем ему побеседовать с гимназистом. Он с того и начал:

Так учительствуете, господин, как вас по имени?

Да, учу и учусь, Иван Александрович.

Это похвально-с.

В это время за матерью вбежали два мои ученика.

Ну, а как вот эти сорванцы, мои племяши, зовут вас в классе: педàгог или педагóг?

Не так и не этак, Иван Александрович. Они просто зовут меня «учитель». А если б вздумалось им, по незнанию, искалечить слово «педагог», так моя обязанность, как учителя, поправить, и я, конечно, поправлю.

Так-с, резонно.

Он взглянул на гувернантку, та улыбнулась, а я покраснел»...

Но вернемся к «Обыкновенной истории».

«Прошло два-три месяца»... «Так прошло года полтора»... В Александре Адуеве, на протяжении нескольких страниц, происходит, под влиянием уединенного размышления, то, что на языке Петров Иванычей называется отрезвлением, со-

---

[48] Потанин, Гавр. Н. «Исторический Вестник», 1903, апрель.

знанием сделанных ошибок и готовностью идти на компромисс. И что я здесь делаю? за что вяну? — спрашивает себя Александр Адуев, уже тяготясь деревенским бездельем. — Зачем гаснут мои дарованья? Почему мне не блистать там своим трудом?.. Теперь я стал рассудительнее. Чем дядюшка лучше меня? Разве я не могу отыскать себе дороги? Ну, не удалось до сих пор, не за свое брался — что ж, опомнился теперь: пора, пора!.. нельзя же погибнуть здесь! Там тот и другой — все вышли в люди... А моя карьера, а фортуна?»

В этих словах выразилась вся «история» волшебно-быстрого превращения племянника в дядю; по отношению к ней весь роман является не более, как введением. Другими словами, Гончаров не столько заботился о том, как племянник переходил в дядю, сколько говорил нам: вот каким был Петр Иванович в молодости, и вот каким он стал, когда сделался старше, рассудительнее, благоразумнее. Читателям предоставлялось судить, что было лучше; на них же возлагалась и ответственность за то или другое толкование заглавия романа.

Симпатии Гончарова, как мы уже упомянули, лежали всецело на стороне дяди. Когда создавался роман, автор и по годам и по миросозерцанию был весьма близок к Петру Ивановичу. Добрая половина жизни была уже прожита; ранние увлечения и разочарования, вместе с юношеским романтизмом, отошли в область невозвратного прошлого. О них можно было вспоминать — когда с улыбкой, когда с легким вздохом сожаления, потому что в них было очень много хорошего, теплого, искреннего, было много наивной сердечной поэзии. «Ах! если бы я мог еще верить в это! — думает Александр, вспоминая беседы матери о Боге и Божьих ангелах. — Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?.. ничего: я нашел сомнения, толки, теории... И от истины еще дальше прежнего... К чему этот раскол, это умничанье?.. Боже! Когда теплота веры не греет сердца, разве

можно быть счастливым! Счастливее ли я?..» Гончарову не трудно было взять верный тон человека, который рассказывает об увлечениях и заблуждениях своей собственной молодости, набрасывая на рассказ легкую дымку иронии. Но под этой дымкой еще теплилась любовь к тому, чем украшалась молодость, чем она жила, во что верила, и легкая грусть кое-где сквозила между строк, проникнутых, на первый взгляд, неподдельным юмором. В жизни своей, в сфере родственных отношений, он был в те годы в положении «дяди», имевшего не одного, а нескольких племянников, с которыми немало приходилось «возиться»: он женил одних, других пристраивал, третьими с любовью интересовался.

Читая переписку Ивана Александровича с Кирмаловыми, нельзя не удивляться тому, как близки были ему интересы родной, затерявшейся в глухой провинции, семьи: в течение всей его жизни радости сестер и их семейств были его радостями, их горести — его горестями[49]. Занятый службой, литературой, часто сильно больной, он находил возможность на всякое письмо из Ардатовского уезда немедленно и обстоятельно отвечать. Иногда, долго не получая ответа, он не на шутку беспокоился и вновь писал полу-сердитое, полушутливое письмо... Он был вполне прав, говоря: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго я бы ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки»; в молодости, на всю последующую жизнь, з а е х а л Гончаров в Петербург, но кровная связь его с семьей не порвалась.

Живой, наглядной иллюстрацией семейного начала в Иване Александровиче служат его письма к сестре Анне Александровне. Письма эти представляют двойной интерес — и в биографическом смысле и для истории творчества Гончарова, для изучения тех путей, которыми жизненные

---

[49] Переписка эта напечатана г. Суперанским. «Вестник Европы» 1907 февраль и 1908 ноябрь и декабрь.

впечатления переливались у него в художественные образы. При чтении этих писем сами собою возникают сопоставления практических взглядов Гончарова с их художественными воплощениями в романах, начиная с «Обыкновенной истории». В письме от 1 декабря 1858 г. Гончаров сообщал сестре, что ее сыну — несомненно, не без хлопот дяди — дали штатное место помощника секретаря с таким-то окладом и с такими-то надеждами на будущее. «Его любят на службе, — замечает он; — начальник его, встречаясь со мной, всякий раз хвалит его усердие и говорит, что все его любят в сенате, и что он может научиться делу и будет полезен и себе и службе». Но провинциал-племянник, подобно молодому Адуеву, на первых порах его петербургской жизни, не удовлетворил дядю своей манерой держаться в обществе. «Приучить его к обществу порядочных людей мне не удалось, — пишет Гончаров. — Со знакомыми он действует по-бараньи, склонив голову вниз, как будто хочет бодаться. Если ему и удается иногда победить деревенскую застенчивость, то он придет в чужой дом, не скажет почти ни слова, вернет хвостом и уйдет. И добро бы я знакомил его с чопорными, модными домами, а то люди простые, умные и ласковые... Я толковал ему, что карьера делается не в одной службе, но и в обществе. Он не слушает, и я оставил его: пусть делает, как сам знает, он не маленький, лишь бы не пенял на меня. Я сделал, что мог»[50].

---

[50] А. А. Мазон, продолжая свои изучения архивного и фактического материала биографии Гончарова, напечатал в мартовской книжке «Русской Старины» 1912 года весьма ценные отрывки писем Гончарова к А. А. Краевскому. Эти письма прекращают давнишний спор о том, помещал ли Гончаров иногда анонимные статьи в «Голосе». 14-го января 1864 г. Гончаров писал Краевскому: «Ну, дотащил я воз; делайте что хотите с прилагаемым листом. То ли дело об извозчиках писать?.. Если бы у вас поблизости случился бы

Гончаров, действительно, делал по отношению к родственникам все, что мог, гораздо больше, чем Петр Иванович для Александра. Его забота о них была не внешняя, но действительная, любовная забота. Особенно близко принимал он к сердцу интересы образования своих племянников, облегчал им служебную карьеру. «Меня ужасно огорчает, — пишет он Кирмаловой в 1851 г., — твое затруднительное положение насчет детей». Дело шло о выборе учебного заведения, и Гончаров подробно характеризует различные виды специальных училищ, но решительное предпочтение отдает общеобразовательному типу. Пять лет спустя он пишет сестре по поводу университета, выясняя при этом его практическое значение: «Университетское образование все-таки лучшее. Теперь особенно опять всем позволили вступать в университет, и, конечно, многие будут этим пользоваться, и образование в обществе распространится заметно. Впереди всегда будут университетские, как были до сих пор, и в военной и в статской службе. Людям малообразованным будет невыгодно. Пусть же все трое твои идут по этому пути». Тот же взгляд был высказан Гончаровым впоследствии в первой части его «Воспоминаний».

Племянник Гончарова рассказывает иное об отношении писателя к родственникам, но мы знаем, что к его сообще-

---

А. Д. Галахов, он бы, может быть, что-нибудь прибавил или изменил отчеркнутое у меня место синим карандашом о значении университетского образования»... Статья эта, под заглавием «Обед бывших студентов московского университета» без подписи автора была напечатана в Газете «Голос», 15-го января 1864 г. «В ней — совершенно справедливо замечает г. Мазон, — читатель найдет подтверждение тех чувств любви и благодарности к университету, которые так и высказываются на каждой странице его университетских воспоминаний, опубликованных впоследствии в «Вестнике Европы».

ниям надо относиться критически: пристрастие слишком явно чувствуется в его словах. Он не стеснялся изображать своего дядю в весьма неприглядном виде. Гончаров будто бы сухо и недружелюбно отнесся к Музалевским после их разорения, наконец, совершенно забыл о них и не вспоминал никогда, как и о своем брате Николае Александровиче. «Если он спрашивал иногда об отце, то всегда со злобой и ехидством, выбирая предметом разговора что-нибудь смешное или грустное из жизни несчастного старика». Не любил будто бы Иван Александрович и родственных посещений...

Примечания, сделанные г. Суперанским к воспоминаниям племянника, опровергают большинство его сообщений в этом роде. К семье своей сестры Музалевской Иван Александрович относился хорошо, отзывался о сестре как о близком человеке, и Музалевская говорила о брате с любовью, «чувствуя какую-то верховную и родственную связь с ним». Отношения Ивана Александровича к брату г. Суперанский также не соглашается признать «эгоистическими»: «отказ писателя в пользу последнего (т. е. брата) от следовавшей ему половинной части старого гончаровского дома, — каменного дома, с большим местом в центре города, — в то время, когда сам он нуждался..., показывает в нем далеко не «эгоиста». Мы знаем и другие примеры отзывчивости Гончарова на нужды родственников, но и приведенного достаточно, чтобы судить о нем, как добром человеке. Только в характере его совершенно не было той патриархальности, которая доставляла бы ему удовольствие принять на себя звание и обязанности старшего в роде Гончаровых и стянуть к себе кровные узы расплывшейся в разные стороны семьи.

О нерасположении Гончарова к родственным посещениям идут довольно дружные сообщения с разных сторон. Но подавляющее большинство их относится к тем годам, когда Гончаров был уже дряхлым и больным человеком; при этом

не малое значение приобрела та присущая ему в последние годы подозрительность, которая в связи с болезнью внушала ему боязнь и родственных и не родственных посещений. Но было время, когда Гончаров совершенно иначе относился к посещению близких лиц. В нашем распоряжении есть рассказ, в передаче г. Суперанскаго, со слов Елиз. Ал. Гончаровой, о посещении Ивана Александровича Левенштейнами в Баден-Бадене. Этот рассказ интересует нас не столько изображением приема, оказанного Гончаровым своим родственникам, сколько яркостью той картинки, в которой наш писатель рисуется как живой, своим характером и манерами.

«Когда Левенштейны[51] (в 1867 г.) приехали в Баден-Баден, то, пробегая Cur-Liste, доктор был приятно поражен, прочитав имя M-r. Jean Gontscharoff среди приезжих. Помня привычку знаменитого дядюшки рано вставать, они решили навестить его утром на следующий день. Встав в 5 час. утра, они около шести постучались в его дверь, за которой слышался плеск воды. По голосу Ив. Ал. сейчас же узнал Евдокию Петровну. — «Это ты, Дунечка? Очень рад. И с мужем?! Принять сейчас не могу, делаю ablution. Пойдите в сад; я приведу себя в порядок и явлюсь к вам». Около получаса ждали они его на променаде около гостиницы, одной из лучших в городе. «Радушно и вполне по-родственному, — рассказывала Евдокия Петровна, — встретил он нас, по-прежнему называя меня Дунечкой... Он угостил нас кофе, повел на дальнюю, ежедневную свою прогулку, причем часто справлялся, не устала ли я, не желаю ли я отдохнуть». Евдокия Петровна не запомнила всех разговоров за этот день, но дядя оставил в ней воспоминание чего-то светлого, приятного, родного. «Возвращаясь с прогулки, они встретили рас-

[51] Левенштейн — доктор-психиатр. Муж приемной дочери А. А. Музалевской, Евдокии Петровны.

франченных дам, которые окликнули Гончарова по-русски. Он извинился, оставил Левенштейнов и подошел к этим дамам, которые изредка, во время разговора с ним, лорнировали Левенштейнов, что было тем неприятно, особенно потому, что они были в дорожных, далеко не элегантных костюмах. Они отошли в сторону, чтобы не помешать дяде. Вскоре он их нагнал в веселом настроении, извинился, что оставил их, и пригласил пройти в курзал, где показал рулетку. На счастье «Дунечки» он бросил два-три золотых и проиграл их; а затем угостил их обедом за table d'hôtes. Они несколько стеснялись своих костюмов среди beau mond'a этой людной гостиницы. Ив. Ал. успокаивал их, что это сущий пустяк, был очень весел и настойчиво удерживал их до другого дня, когда обещал показать им окрестности Баден-Бадена, которые, — как он говорил, — очень интересны. После обеда отправились втроем в парк. Но темные тучи заволокли с запада все небо, чувствовался холодок, какой-то сыроватый туман оседал в низинах... Гончаров замолчал, а затем, круто повернувшись к своим спутникам, вдруг сказал: «А знаете что? Поезжайте-ка лучше сегодня. Погода, видимо, переменится, пойдут дожди, и это продлится недели две. Я это чувствую уже на себе: сейчас ухо заболело, стреляет. Неможется мне. Уезжайте лучше: что вы тут будете делать? Ничего более интересного здесь нет. Уезжайте!» Эта перемена в его настроении очень поразила Левенштейнов; но, видя его нервное, возбужденное состояние, они поспешили успокоить его, обещали уехать в тот же день и, поблагодарив за его любезность, распрощались с ним. Он облегченно вздохнул, пожал им руки и пожелал «счастливого пути».

Рассказ этот сходится, в своих психологических основаниях, с другими сообщениями, которые свидетельствовали о том, что Иван Александрович, страдая болезнью печени, был человеком крайне нервным, раздражительным и ворчливым,

но ни в каком случае не злобным, как отзывался о нем племянник. «Напротив, — свидетельствует г. Суперанский, — в отношении других он был до крайности деликатен, и если в минуту раздражения ему случалось сказать что-нибудь неприятное, например, прислуге, то потом он старался всеми способами искупить свою вину».

XXIII

(«Обыкновенная история»). — Черта деловитой практичности, отразившаяся в романе.

Гончаров, исключая эпилога, нигде не ставит Петра Ивановича в комическое положение, подобное тому, в какое ставит он на каждом шагу Александра. Писатель не допускает и мысли, чтобы дядя хотя на минуту перестал быть резонным и верным себе. Принципы его выработаны раз навсегда, взгляды ясны, житейская философия цельна и закончена. Низведи его Гончаров с пьедестала, и роман его получил бы совершенно другой смысл, который, — кто знает? — может быть, более соответствовал бы заглавию «Обыкновенной истории», чем теперь, когда это заглавие является некоторой загадкой. Ведь, если перемена, совершившаяся в Александре, естественна, логически необходима, если Петр Иванович представляется Гончарову положительной величиной вообще, личностью в некотором роде идеальной, то, с точки зрения автора, обыкновенная история должна представляться историей прекрасной, достойной подражания и сочувствия: в таком случае — побольше бы таких обыкновенных историй, и в результате окажется больше порядка в общественной жизни, больше ясности в сложных человеческих отношениях, наконец, больше практической и государственной пользы.

Едва ли Гончаров задумывался над теоретической постановкой вопроса о значении Петра Ивановича как общественного типа, и о том, в каком отношении находится этот тип к

общему смыслу романа и, в частности, к его заглавию. Это и для нас вопрос второстепенный. Важно то, что Александр Адуев и Петр Иванович тожественны в своей сущности и писаны с одного лица, только в разные периоды его жизни[52].

Тожественность эта прямо поразительна. Биография Александра оказывается весьма схожею с биографией Петра Ивановича в молодости. Детство обоих проходит в одинаковых условиях; они получают одно и то же воспитание, учатся в университете и — каждый в свое время — одинаково относятся к науке, искусству, литературе. Каждый в свое время — оба влюбляются по нескольку раз, сначала у себя на родине, в деревне, где оба плачут над озером, рвут желтые цветы, пишут в одинаковых выражениях влюбленные письма, потом в столице то очаровываются, то падают с небес, «беснуются, ревнуют», наконец, остывают, становятся благоразумными и стараются забыть «глупости» молодых лет. В итоге у обоих — крупный чин, орден на шее, лысина, седина на висках и в бакенбардах, хорошее состояние, а главное — одинаковое отношение к благам жизни, одно и то же миросозерцание, вкусы, привычки..., даже боль в пояснице и манера выражаться и те, по духу ближайшей родственности, перешли от старшего к младшему. Одна и та же личность — в два разных момента. Из стремления сопоставить эти моменты, сделать из

[52] Приводим из воспоминаний Потанина рассказ о том, как Иван Александрович сам объяснял заглавие «Обыкновенной истории»: «Автор кончил тем, как кончали многие тогда: послушался практической — чиновной — мудрости дяди, принялся усердно работать по службе, и хотя пописывал в журналах, но уже не стишки; словом, проживши эпоху юношеских волнений, он, как большинство в Петербурге, достиг положительных чинов благ, то есть: занял по службе прочное положение, получил видное место, выгодно женился, словом, ловко обделал свои дела». — Мнение Старчевского о тождественности героев этого романа мы уже приводили.

них большую и малую посылку и возникает «обыкновенная история», — автор упустил лишь из вида необходимость исторической перспективы при обрисовке развития каждого из героев. Петр Иванович лет на пятнадцать, на двадцать старше Александра. В эти пятнадцать-двадцать лет русская жизнь, — заключим ее в промежуток двадцатых, сороковых годов, — несмотря на все преграды, все же значительно ушла вперед в смысле умственного и общественного самосознания, в смысле отношения к коренным явлениям ее современности. Эта сторона сама по себе совершенно не затронута в романе, а, между тем, в ней-то и следовало искать раскрытия общественного значения романа, как оно представлялось автору. В этом отношении Гончаров не дал ни одного намека на смену поколений, на борьбу отживающих традиций с новыми веяниями, на все то, что создает неизбежную и вечную разницу между отцами и детьми, разницу, необходимость которой столько же коренится в законах природы, сколько в условиях исторического развития общества. То что мелькает, как новое веяние в Александре, в свое время промелькнуло в Петре Ивановиче и, как в одном, так и другом случае, оставило после себя след в воспоминаниях, которых впоследствии стыдились оба героя «Обыкновенной истории». Словом, историческая точка зрения была чужда Гончарову, когда он писал этот роман: его занимали не последовательность в развитии тех или иных общественных типов, как он наблюдал их в окружающей жизни, а собственные воспоминания, попытка разобраться в том, чем он был пятнадцать — двадцать лет назад и чем стал, успокоившись от напрасных стремлений и бесплотного романтизма юношеских порывов.

В этом смысле «Обыкновенную историю» можно назвать не романом, а художественной автобиографией. В ней рассказана выработка формально-деловой, житейски-практической стороны миросозерцания Гончарова, тот внешний уклад его, которым он был обращен, как чиновник, к госу-

дарству и, в частности, к людям, с которыми он сталкивался в повседневной жизни.

Эта сторона деловитой практичности, возведенной в своего рода искусство, затронута и в других романах. В «Обрыве» мы видели ее в лице Аянова. В «Обломове» ее олицетворяет заводчик Штольц, весьма напоминающий «тайного советника и заводчика» Петра Адуева, и столь же любезный сердцу Гончарова, скрасившего, так или иначе, свое, полу-дворянское, полу-купеческое происхождение чином действительного статского советника. И тот факт, что генералы обратились к практической деятельности в области промышленности и торговли, играл в глазах нашего писателя немаловажную роль; от этого, казалось, возвышалось самое звание промышленника и купца, самое дело приобретало оттенок особой порядочности и благородства. Раньше, говорит он в своей исповеди, считалось чуть не унижением отдаваться практическому делу заводчика. «Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно».

Если бы Гончаров дал себе труд проверить, сколько среди бюрократических дельцов прошло на его глазах индивидуально-честных Адуевых и гуманных Штольцев, он увидел бы, что таковых было весьма немного. Не ими гордится русское общество, останавливаясь мыслью на недавнем прошлом, о котором мог говорить Гончаров: в его настоящих, передовых, активных деятелях за этот период было немного истых бюрократов, в духе Петра Ивановича, а бюрократов-заводчиков и того меньше.

Но Гончаров не делал попыток проверять жизненность своих типов, в том значении, какое он придавал им, на примерах действительной жизни. И это, конечно, говорится не в укор ему, — мы далеки от мысли пред являть подобные требования к художникам, — но, когда последние, не довольствуясь созданием образа, начинают морализировать по

поводу его, их невольно хочется иной раз перенести из мастерской, из мерцающих сумерек вдохновения и гармонии, в обычную людскую толпу, с шумом и гамом, заботами и смехом повседневной жизни, так, чтобы они на время забыли свою художническую исключительность, свою одинокую надуманность, в которой поэзия красок жизни блекнет, словно окутывается вечереющими туманами осени.

Жизнь Гончарова рано приняла ровное и слишком уж обособленное течение, чтобы явления общественного или массового характера могли захватить и увлечь его. Может быть, это течение как нельзя более подходило к необходимейшим условиям его творческой деятельности, менее всего требовавшей толчков и побуждений извне, из жизни, из самого горнила ее, где кипят страсти и бьется в противоречиях мысль. Но оно, это спокойствие, делало его мало отзывчивым на запросы окружающей среды, как только они выходили из круга идей известного порядка, из рамок органически развившегося и ставшего привычным миросозерцания.

Это характерное для Гончарова, привычное миросозерцание выражалось вполне определенным отношением к служебным обязанностям. Здесь Гончаров был человеком внешнего долга, добросовестным работником, однако, никогда не доводившим своей исполнительности до настоящей, сознательной любви к службе. Но едва ли не с большей полнотой выражалось это миросозерцание в том укладе и порядке, который завел Гончаров у себя дома, куда уходил от назойливой суеты светски-общественной жизни и от «исполнения» нужных и ненужных бумаг.

XXIV

«Обломов». — Двойственность в изображении Ильи Ильича. — Автобиографические черты. — Домашний уклад, неподвижность, апатия. — Вялая обыденность жизни в представлении

Гончарова. — Кругосветное путешествие, как средство скрасить действительность.

На сходство автора с Ильей Ильичем Обломовым указывалось с давних пор, еще при жизни Гончарова.

Рассказывают, что у него самого однажды вырвалось признание в этом смысле. Дело было около 1883 г., когда Гончаров как-то сидел у книгопродавца Вольфа и выслушивал упреки последнего в том, что он медлит с новыми изданиями своих сочинений, которые быстро расходились[53].

---

[53] Приводим все сообщение:

Это было около 1883 года. Гончаров сидел у книгопродавца Вольфа, с которым он был знаком. В это время в лавку заходит господин и спрашивает у Вольфа, нельзя ли получить роман Гончарова «Обломов»... На вопрос покупателя Вольф отвечает, что сейчас уже нет романа в продаже.

— А почему? — спрашивает тот.

— А потому что все второе издание разошлось без остатка, а третьего пока не печатают...

— Вот как... Жаль, что не печатают... Говорят, это уж очень интересный роман...

Вольф недоумевающе разводит руками, давая этим понять, что не его вина в том, что третье издание не печатается.

Гончаров сидел и молчал. Кстати, первые два издания «Обломова» разошлись так быстро, что на этот раз в магазине не оказалось ни одного экземпляра романа. Гончаров же не решался выпускать третье издание.

Покупатель, сожалея, уходит.

По выходе последнего из магазина, Вольф обратился к Гончарову с вопросом, почему он не заботится о выходе третьего издания «Обломова». Гончаров ответил, что еще пока он не думает об этом. Тогда Вольф ему заметил:

— Должен вам сказать, И. А., что вы прямо-таки настоящий Обломов, какого вы описали...

И посыпались на Гончарова из уст книгопродавца попреки и обвинения за халатность и непрактичность. Тогда Гончаров минуту

— «Должен вам сказать, Иван Александрович, — заметил книгопродавец, — что вы — настоящий Обломов, какого вы описали...

Гончаров минуту помолчал, затем, пристально заглянув Вольфу в лицо, сказал: «Да вы совершенно правы... Я — Обломов, и Обломов это — я. Вы не ошибаетесь. С себя я и рисовал Обломова...»

Этот рассказ носит, конечно, анекдотический характер. Вообще же Гончаров избегал высказываться определенно по этому поводу. Он замечал только иногда сам, что читатели не раз старались «подводить» его то под одного, то под другого из его героев, отыскивая его личные черты в созданных им типах и угадывая в них тех или других лиц. «Чаще всего, — говорил он, — меня видят в Обломове, любезно упрекая за мою авторскую лень и говоря, что я это лицо писал с себя. Иногда же, напротив, затруднялись, куда меня девать в каком-нибудь романе, например, в дядю или племянника в «Обыкновенной истории».

Однажды, впрочем, в письме к Д. Л. Кирмаловой [54], в начале 60-х годов, Гончаров заявил о себе вполне определен-

---

помолчал, затем, пристально заглянув Вольфу в лицо, сказал:

— Да, вы совершенно правы... Я — Обломов, и Обломов это — я. Вы не ошибаетесь. С себя я и рисовал Обломова…

Гончаров вышел из магазина с намерением «как-нибудь подумать, стоит ли искать издателя для печатания третьего издания». «Биржевые Ведомости», 1912, сентябрь.

[54] Жена племянника писателя — Кирмалова, Дарья Леонтьевна с 1862 г. единственная корреспондентка Гончарова из ардатовских родственников. Она впоследствии сделалась настоящей хозяйкой ардатовского имения, много им занималась и на своих плечах вынесла бремя воспитания и материального обеспечения детей. Гончаров всегда очень любил ее и ценил за все то, что она сделала для семьи. Переписка его с Д. Л. Кирмаловой напечатана М. Ф. Суперанским.

но: там, где требовалось строгое исполнение служебного долга и трудолюбие, он был прямая противоположность своему герою. «Работа поглощает меня всего, — писал он, — а это имеет именно ту хорошую сторону, что не дает замечать времени, жизни. Равнодушие ко всему делает меня до того прилежным, что министр третьего дня выразил удивление, сказав, что он не ожидал от меня ничего, или что ожидал всего кроме трудолюбия, считая меня за Обломова»...

Несколько далее, характеризуя процесс своей творческой работы в прошлом, когда он писал то, что, казалось ему, носилось около него в воздухе, и было далеко от «выдумки», он приводил любопытный пример близости к нему создававшихся образов. «Мне, — говорил он, — прежде всего, бросался в глаза ленивый образ Обломова — в себе и в других — и все ярче и ярче выступал передо мной. Конечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека — и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образ был верен характеру».

Роман «Обломов» писался, тоже по обыкновению Гончарова, очень долго — лет одиннадцать, с перерывами для «Фрегата Паллада», с отвлечениями в сторону «Обрыва», образы которого уже начинали тревожить творческую впечат-

---

— Сохранилось свидетельство одного из самых близких к Гончарову лиц, о том, какое впечатление производил «Обломов» при первых ознакомлениях с ним. В своих записках 10-го сентября 1858 г. Никитенко писал: «Вечером у И. А. Гончарова слушал новый роман его «Обломов». Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много таково еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического воодушевления, много ума и тщательной умной обработки». «Записки и дневник» А. В. Никитенко, т. I, стр. 526.

лительность писателя в 1849 г., когда он ездил на Волгу повидаться с родными. Не говоря уже о том, что во втором романе обнаружилось значительно большее мастерство кисти художника и более глубокая вдумчивость в построении романа и обрисовке центральной фигуры, самое отношение Гончарова к своему герою должно было измениться с годами, и оно, действительно, изменилось.

В этом отношении нам придется несколько разойтись с тем общераспространенным мнением, что Обломов ближе других героев подходит к самому Гончарову. Если бы это было действительно так, Гончаров не относился бы к нему с таким неизменным чувством иронии, какого, например, у него вовсе нет, как только речь заходит о Петре Ивановиче Адуеве или Штольце. В этой иронии нет злости, нет и оттенка желчи и раздражения, порождающего сарказм. Напротив, добродушное, даже любовное отношение придает ей особую задушевность и прелесть. Так пожилой и ласковый по натуре человек снисходительно улыбается слабостям своего младшего приятеля, слабостям, которые далеко не чужды и ему самому. И эта улыбка так искрения, так непосредственна на устах Гончарова, что читатель невольно поддается ее обаянию, и сам начинает улыбаться тою же снисходительной и доброй улыбкой.

Мы отметили — в характеристике Обломова немало автобиографических черт. Их не трудно подметить в истории детства Обломова, в отдельных частностях, несомненно, и в обрисовке характера, с слабостью волевого элемента на первом плане и с сильно развитым сознанием, внешним и внутренним, доводящим иногда процесс самоанализа до глубокого и истинного страдания. Но от Обломова до Гончарова — расстояние гораздо большее, чем от обоих Адуевых. Кстати сказать, Илья Ильич первой половины романа отличается, на наш взгляд, от Ильи Ильича второй половины. Это

два типа, равно свойственные русской жизни, близко родственные, но не вполне одинаковые. Первый — с несомненным трагическим началом сознания своего бессилия — так и умирает, не сделав ничего полезного и высокого в жизни, к чему стремился так пламенно, но — увы! — платонически; его тревога не утихает с годами, — она может перейти в тихую жалобу, в покаяние Рудина, но ни на минуту не станет пошлой и плоской. Сильное возбуждение, страсть, негодование могут воспламенить их пожаром, правда, на одно мгновение, но в это мгновение они могут явиться героями, способными пожертвовать собой, во имя идеи или за улыбку красавицы, смотря по моменту. Вторая категория Обломовых — иного свойства. Если у них и было какое-либо миросозерцание, в смысле известных «умственных» идей и нравственных требований, то это миросозерцание уснуло у них раньше, чем глаза успели заплыть жиром от вечного спанья и в груди появилась одышка от неподвижной жизни. Проза будничной домашней жизни, низменность желаний, не выходящих из круга инстинктов пищеварения и элементарного животного довольства — вот атмосфера, из которой никогда не вытащат их на свет Божий никакие Штольцы и Ольги Ильинские. Пошляки Маниловы — их ближайшие родственники, если они одарены благожелательно-настроенной душой, но никак не «коптители неба» Тентетниковы, всю жизнь собирающиеся заняться большим сочинением о России, словно Обломов в первой части романа со своим грандиозным планом переустройства Обломовки.

Кроме общей медлительности и лени, общей вялости, мы не видим у Обломова крупных черт, роднящих этот образ с самим Гончаровым. На присутствие этих черт в характере нашего писателя указывают его же собственные слова — там, где он довольно недвусмысленно рисует свою собственную наружность. В детстве он — здоровый, краснощекий мальчик

«с мечтательными глазами», как Ильюша Обломов; студентом — цветущий, жизнерадостный юноша; ко времени трезвости и благоразумия — он, как две капли воды, напоминает остепенившегося Александра Адуева, с брюшком и плешью, с начинающейся сединой в висках и бакенбардах. Пройдет еще несколько лет, и Гончаров, дописывая последние строки в «Обломове», такими штрихами очертит свой автопортрет: «литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами». Этот отзыв напомнит собою «пожилого беллетриста Скудельникова» (в «Литературном вечере»), который «как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза на автора (читавшего свой роман) и опять опускал их. Он, по-видимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе — вообще ко всему вокруг себя. Григорий Петрович (Уранов, хозяин) вытащил его из его гнезда, обещал хороший роман, хорошее общество, хороших, даже прекрасных, дам и хороший ужин. Он и приехал».

Последние слова чрезвычайно важны, пожалуй, важнее самого портрета. В них выразились основные привычки и вкусы «пожилого беллетриста». Он не прочь бывать в обществе, но предпочитает и тишину своего «гнезда». Общество он посещает только избранное, где может встретить, как художник, красоту и грацию аристократического женского лица, услышать остроумную беседу и веселый смех; как гастроном и бывший обломовец, он оценит по достоинству тонкий ужин и хорошее вино. Но, вообще говоря, к людям его не особенно тянет. И, переживая в том кругу, где он бывал, привычные и милые сердцу ощущения, он сам не вносил в общество ни веселья, ни даже оживления, хотя ни в уме, ни в остроумии ему отказать было нельзя. Он, как художник, накапливал впечатления, но расточал их в разговоре неохотно и скупо.

В общем представлении жизнь казалась Гончарову вялою и скучною. Уезжая из усадьбы, Райский собирается написать роман — картину вялого сна, вялой жизни. Изображение зевоты и мечтательной задумчивости встречается у него так же часто, как изображение еды и сна.

Часы еды и сна являются священными для Гончарова при всех положениях, в которые он ставит своих героев. Даже более: отношением к этим благам жизни характеризуются у них душевные состояния, причем Гончаров нигде не упускает случая отметить значение тонкого обеда или ужина, присутствие или отсутствие аппетита у того или другого героя, благодетельное влияние сна или бессонницу. Райский волнуется по поводу Веры, раздумывая, от кого она получила другое, загадочное, письмо, и волнение это выражается у него в том, что он «машинально обедал»; страницей ниже Гончаров отмечает по тому же поводу, что Райский «ночью не спал, мало ел и даже похудел немного». Волнение редко, впрочем, отзывается у Райского бессонницей; обыкновенно сон не покидает его, в качестве «друга», в самые тяжелые минуты, навещает и днем после обеда, и Райский спит долго и крепко. Вернувшись на рассвете домой после страшной драмы, разыгравшейся у обрыва, Райский до того был измучен, что сам не узнал себя в зеркале. «Ему было не легче Веры», и он наверно бы заболел, если бы его не выручил спасительный сон. Райский отдался ему, как «здравому другу, поручая себя его попечениям. И сон исполнил эту обязанность»... «Ему снилось все другое, противоположное»... «...Приснилось ему, что он сидит с приятелями у Сент-Жоржа и с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый вздор, обыкновенно рассказываемый на холостых обедах, что ему от этого стало тяжело и скучно, и во сне даже спать захотелось. И он спал здоровым, прозаическим сном»... Вера, душу которой «раздирает» страсть к Марку, неизменно появляется перед читателями в часы еды и чая. «Она, поздоровавшись с ба-

бушкой, попросила кофе, с аппетитом съела несколько сухарей»... «...Прошло два дня. По утрам Райский не видал почти Веру наедине. Она приходила обедать, пила вечером вместе со всеми чай, говорила об обыкновенных предметах, иногда только казалась утомленной». Но, какие бы драмы ни разыгрывались в душе героев, какие бы страсти ни волновали их, обычный ход жизни не нарушался, — «в доме у Татьяны Марковны все шло своим порядком, отужинали и сидели в зале, позевывая»... Негодующее или разгневанное сердце бабушки успокаивалось сразу, как только виновные выражали желание позавтракать или пообедать; в таких случаях она готова была примириться даже с безобразником Марком. Эта бытовая черта проходит по всем романам Гончарова. Влюбленный Александр Адуев приходит к дяде сообщить ему о своем намерении вызвать на дуэль соперника, графа Новинскаго, у него «дело идет о жизни и смерти», а Петр Иванович предлагает ему поужинать, — «ужин не портит дела» — и ужинает, на протяжении нескольких страниц, пока Александр, который «не ужинал двое суток», рассказывает ему обстоятельства своего трагического положения.

Остановимся еще на одной черте — апатии, неизменно появляющейся, как только Гончаров начинает говорить о самом себе[55]. По отношению к человеку, неустанно работавшему в тиши кабинета над созданием ряда произведений, техника которых, по его собственным словам, стоила ему большого труда, это слово должно иметь особый, условный смысл. Это менее всего — внутреннее разочарование в том, во что верилось в юности, в идеалах, надеждах, наконец, любви и дружбе. Наоборот, мощью здорового идеализма звучат последние произведения Гончарова; ласковый юмор их дости-

[55] В письмах к родным и друзьям Гончаров нередко говорит о равнодушии и апатии. См. переписку с родными, опубликованную М. Суперанским в «Вестнике Европы».

гает местами удивительной свежести, изящества и даже глубины. Это не бессилие человека, который вышел на борьбу, и увидел, что руки у него связаны. Борьба не была в натуре Гончарова, и менее всего он подходил бы под понятие борца во имя чего бы то ни было. Правильнее всего признать, кажется, что гончаровская апатия, если не принимает в расчет некоторой доли скептицизма, свойственного всем пожилым людям, видевшим свет, сводилась преимущественно к внешним проявлениям, к внешнему виду или, вернее, к тому впечатлению, которое производил Гончаров на людей своей неподвижной, по виду вялой, по разговору равнодушной фигурой. В голове и в сердце творилась невидимая глазу сложная работа, из которой слагалось творчество образов и картин; на эту работу и уходила значительная доля энергии и органической самостоятельности художника.

Будь Гончаров только Обломовым, в нем и не пошевельнулось бы желание променять свое насиженное «гнездо» на каюту готового ко всякого рода случайностям, беспокойствам и опасностям фрегата «Паллады». Но в нем жило какое-то особое начало, которое разжигало и мучило его. Слишком серая действительность давила его своей однотонностью, как он ни скрашивал ее цветами фантазии и поэзии. «Дни мелькали — так характеризует он свою жизнь в первой главе «Фрегата Паллады», — жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями: дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно однообразную массу годов. Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле и та же зевота в шумном собрании и приятельской беседе!»

Зевота и апатия — неотъемлемые признаки Гончарова; без них он и представить самого себя не может. «Между моряками, *зевая апатически*, лениво смотрит в безбрежную даль» океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? Но этого апатического литератора

манит поэзия путешествия, простор и «ряд неисчерпанных наслаждений» — и он объедет весь мир, хотя бы для того, чтобы сказать потом, что в нем нет ничего чудесного, что и вдали, как и вблизи, «все подходит под какой-то прозаический уровень». Но самое путешествие является для него праздником, радостным воплощением с детства лелеянной мечты.

Ничего подобного нет в Обломове, не только второй, но и первой половины романа. Илью тянет вдаль только тогда, когда его соблазняет своими рассказами Штольц, и то лишь пока тот не ушел из комнаты. Но, едва Штольц оставляет Обломова одного, в нем начинаются колебания, сомнения, ему жаль расстаться с диваном и халатом, и все планы падают, как карточный домик, от самой ничтожной причины: ячмень вскочит или губа раздуется накануне отъезда. «Нельзя же с этакой губой в море!» — скажет Илья Ильич и махнет рукой.

Гончаров любит комфорт, — Обломов к нему совершенно равнодушен. Гончаров задает вопросы о сандвичевских прачках, — у Обломова по нескольку дней не подметается квартира. Гончаров весь на стороне порядка — и дома, и в обществе, и в государстве; Обломов заговаривает о порядке исключительно с целью донять Захара «жалкими словами». Для Обломова порядок определяется временем завтрака, обеда, ужина, сна. Гончаров бесконечно целостнее и шире; по отношению к нему Обломов — только часть, близкая кровная, но не важнейшая...

XXV

Юношеские увлечения в романах. — Любовь в музыке и пении. — Автобиографические черты. — «Неуместное и смешное отступление». — «Норма любви».

Об одной полосе жизни Гончаров ни слова не говорит в воспоминаниях. Полоса эта — юношеские увлечения, грезы,

муки и радости застенчивой первой любви. Рискованно высказывать какие-либо предположения по отношению к самому Гончарову, но у героев его нельзя не отметить нескольких черт, указывающих на то, что эта полоса пережита ими приблизительно одинаково[56]. Пусть Петр Иванович Адуев смеется над стихами и желтенькими цветами Александра, — в молодости он сам писал стихи и вздыхал, глядя на луну. «Я докажу, — уличает его Александр, — что не я один любил, бесновался, ревновал, плакал... позвольте, у меня имеется письменный документ»...

Беснуется от любви и ревности не один Александр Адуев, выполняющий до мелочей биографическую программу своего дядюшки; таков же и Борис Райский, готовый влюбиться

---

[56] А. А. Мазон, разбирая статьи, напечатанные Гончаровым анонимно в «Голосе», свидетельствует, что литературные достоинства этих статей весьма незначительны и, в большинстве случаев, даже ничтожны. «Достаточно указать лишь на главные темы, затронутые автором, — говорить он, — и выделить из его заметок некоторые наиболее характерные фразы или даже слова, чтобы доставить читателю ценные психологические данные для характеристики Гончарова. Тот Гончаров, которого мы видим здесь скрыто выступающим в качестве газетного сотрудника, — это будничный Гончаров с некоторыми его будничными интересами и заботами. Он возмущается всяким нарушением порядка и, так сказать, комфорта улиц, проклинает извозчиков, мчавшихся как вихрь по улицам столицы, и преследует письмами в редакцию бродячих собак, кусающих прохожих. Он, здесь, убежденный гражданин Петербурга, типичный бюргер, постоянно озабоченный всякими материальными невзгодами городской жизни, неослабленно, хотя с ироническим видом и будто шутя, отзывающийся на них и, в то же время, с упорным безразличием относящийся ко всему тому, что выходит из круга его мелких интересов». См. «Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова», «Русская Старина», 1912, март, стр. 550.

то в Марфиньку, то в Верочку, то в обеих племянниц разом. Обломову в его за-тридцать лет не пристало, сообразно с отведенной ему ролью, бесноваться и плакать, однако, и он, полюбив Ольгу, «встает в семь часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки... Сброшен халат, хотя и ненадолго. А для Обломова этого было немало...

Ни Обломов, ни его сородичи не принадлежат к тем натурам, которые принято называть пламенными, огненно-страстными, для которых любовь к женщине являлась бы роковым интересом, способным подчинить всю душу человека. Чувство их неглубоко, недолговечно и себялюбиво; требуя жертвы от любимого человека, само оно не ведет к самопожертвованию, на добровольное страдание во имя любви. Александр Адуев с легкостью мотылька переходит от одной привязанности к другой. Обломов, после разрыва с Ольгой, безропотно отдается вдове Пшеницыной и находит в ней осуществление своего идеала — «неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства»: «ведь, это — норма любви». Человек, вносящий в мечты о взаимной любви соображения о норме этого чувства, всего менее подходит к типу людей, способных беззаветно увлечься не только любовной, но и всякой другой страстью. Своего рода нормой любви кончает и Александр Адуев.

Райский всегда влюблен — и никого в сущности не любит. Его влюбленность — чувство тонкого артиста-эстета, столько же ищущего красоты в жизни, сколько настраивающего себя на восторженно-артистический лад. Чувство берет в нем решительный перевес над работой мысли. Ему особенно близки и свойственны те состояния духа, при которых мысль погружается в сладостную негу, дробится мириадами грез, тонет в пленительных ощущениях красоты и поэзии, в легкой дымке мечтательной грусти и неясных предчувствиях блаженства, еще неизведанного и влекущего «мерцанием тайны». Ком-

позиторы-лирики старой школы — величайшие чародеи в этой области; чувство сладостной и неопределенно-томной влюбленности, прежде всего, отзывается на их звуки. И это чувство было свойственно всем героям Гончарова.

Все они любят музыку и пение; у Александра Адуева и Обломова любовь готова вспыхнуть при первых звуках родственной их душе музыки. Тогда они преображаются, становятся истинными поэтами, речь их блещет вдохновением восторга, яркостью и грацией образов. «А голос, голос! — восклицает Александр: — что за мелодия, что за нега в нем. Но, когда этот голос прозвучит признанием ... нет выше блаженства на земле! Дядюшка! как прекрасна жизнь! как я счастлив!»

Обаяние голоса Ольги Ильинской еще сильнее действовало на Обломова. «От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни... Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы»...

Еще один такой же вечер, еще «Casta diva» — и Обломов влюблен. «У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего его счастья: наполненный слезами взгляд устремлен был на нее».

В эти мгновенья Обломов был способен на подвиг, на труд, на самопожертвование и смерть.

Ольга замечает слезы и внутренно «скромно торжествует», чувствуя силу своего обаяния. «Как глубоко чувствуете вы музыку!» — восклицает она. — «Нет, я чувствую... не музыку... а... любовь! — тихо сказал Обломов». И, взглянув в его обезумевшие от страсти глаза, Ольга понимает, что это слово вырвалось у него само собой, и что оно — истина.

Райский не менее Обломова восприимчив к музыкальным ощущениям. В школе он заслушивался одного из своих товарищей — Васюкова, когда тот играл на скрипке. По лицу Васюкова «бродит нега, счастье». Райский слушает и «нервы поют ему какие-то гимны, в нем плещется жизнь, как море, и мысли, чувства, как волны, переливаются, сталкиваются и несутся куда-то, бросают кругом брызги, пену». Ласки покойной матери вспоминаются ему, «как, после музыки, она всю дрожь наслаждения сосредоточивала в горячем поцелуе ему», как она водила его на Волгу, и они смотрели на гору, освещенную солнцем, на темную зелень, плывущие суда, облака, — все, что видел Гончаров в родном уголке своего детства. И, когда играл Васюков, перед Райским «открывалось глубокое пространство, там являлся движущийся мир, какие-то волны, корабли, люди, леса, облака», и Райский видел тот же сладостный сон, которому улыбался и Обломов, как только послушная мечта уносила его в родные места с невозвратным прошлым.

Весьма возможно, что и Гончаров был похож на своих героев в отношении юношеских увлечений и грез. И он был очень юн в ту пору, когда университетские годы подходили к концу, был беззаботен, мечтателен и, можно допустить, наивен не меньше Александра Адуева.

...«— Мне так много, так много надо сказать вам... ах!» — говорит влюбленная Наденька Любецкая влюбленному Александру.

«И — мне тоже... ах!»

«И ничего не сказали, или почти ничего, так кое-что, о чем уже говорили десять раз прежде. Обыкновенно что: мечты, небо, звезды, симпатия, счастье. Разговор больше происходил на языке взглядов, улыбок и междометий»...

Передав эту сцену, происходившую в полусвете весенней петербургской ночи, Гончаров от себя задает несколько во-

просов читателю. «Какая тайна, — спрашивает он, — пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? Зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме, среди людей?»

В тоне этих вопросов звучат отголоски живых воспоминаний пережитого, и тихой поэзии этих воспоминаний не в силах отогнать обычная наклонность к рефлексии, усмешка много пожившего и обманутого жизнью человека. «Как могущественно все настраивало ум к мечтам, сердце — к тем редким ощущениям, которые во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями... да! бесполезными, а, между тем, в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят».

Неуместные и смешные отступления в правильной и строгой жизни... под этими словами охотно подписался бы Петр Иванович Адуев, и не один он: их мог бы высказать и сам Гончаров от себя. Он был человеком порядка, прежде всего; правильная и строгая жизнь была для него идеалом. И, тем не менее, эта жизнь не прошла без неуместных и — в одних случаях смешных, в других — грустных отступлений. Одно из них занесено на страницы «Обрыва»; его психологическая канва, в смысле творческих возможностей, отмечена всеми чертами автобиографического происхождения.

«Отступление» это приписано в романе Борису Райскому. Размышляя о связи искусства с жизнью, рассказывает автор, Райский нашел свою тетрадь, озаглавленную «Наташа». В ней сохранился «старый эпизод» ранней юности, когда он любил и его любили. «Он записал его когда-то под влиянием чувства, которым жил, не зная тогда еще, зачем, — может быть, с сентиментальной целью посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруги, или оставить для себя заметку и воспо-

минание в старости о молодой своей любви, а, может быть, у него уже тогда бродила мысль о романе, о котором он говорил Аянову, и мелькал сюжет для трогательной повести из собственной жизни».

«Он после говорил о себе в третьем лице, — рассказывает дальше Гончаров. — Думая впоследствии о своем романе, он предполагал выработать этот очерк и включить в роман, как эпизод».

Положительно Гончаров вводит читателя здесь и позже — в авторской исповеди — в легкое заблуждение, но только в самое легкое; умысел его слишком прозрачен. Читатель не задумается ни на минуту отнести к самому автору то, что он говорит о Борисе Райском. Не Райский, а сам Гончаров говорит о себе в третьем лице в этом очерке, который и ввел в свое произведение, в виде эпизода, не вяжущегося с общим ходом романа и ненужного для характеристики Райского. Предположение «выработать» этот очерк так и осталось невыполненным; рассказ остался бледным и растянутым, как он и был записан в черновой тетради.

Это — сентиментальная, наивная, старая, как свет, история несчастной любви легкомысленного студента к простой и милой девушке. «Он уважал ее невинность, она ценила его сердце — оба протягивали руки к брачному венку — и оба... не устояли». Она любила просто, он же мечтал о страсти, столь же колоссальной, как страсть молодого Адуева, и кончилось тем, что он, как и надо было ожидать, охладел к девушке, забыл об ее существовании, проводя время в толпе «веселых приятелей, художников, красавиц», она же зачахла от любви и — умерла[57].

---

[57] М. Ф. Суперанский высказывает предположение о двух увлечениях Гончарова, отразившихся в романах: «Варвара Лукинишна Лукьянова — одна из женщин, игравших заметную роль в жизни Гончарова. Есть основание полагать, что она была героиней одного

Раскаяние не долго мучило Райского. История несчастной любви отправилась в папку с набросками для будущего романа, а сам он с легким сердцем уехал к себе в деревню, где ждали его новые любовные «эпизоды».

В «Обломове» находим дальнейшее, по внутренней последовательности, развитие мыслей о роли женщин в жизни.

Во второй половине романа, когда прежний Обломов окончательно опускается и пошлеет, под влиянием кулинарных талантов вдовы Пшеницыной, его роль по отношению к Ольге Ильинской переходит к Штольцу. История любви последнего в высокой степени напоминает роман Обломова с Ольгой. «Он не хотел бы порывистой страсти, как не хотел ее и Обломов, только по другим причинам. Но ему хотелось бы, однако, чтобы чувство потекло по ровной колее, вскипев сначала горячо у источника, чтобы черпнуть и упиться в нем, и потом всю жизнь знать, откуда бьет этот ключ счастья»...

из «старых эпизодов», имевших место в жизни автора «Обрыва». «Вестник Европы», 1908, декабрь, стр. 455. — «В Симбирске Иван Александрович часто бывал в семействе Рудольф, где были две сестры жены его брата — девицы. Старшая из них, Аделаида Карловна (вышедшая потом замуж за Дмитриева, брата поэта), очень ему нравилась своей серьезностью, начитанностью и светлым и правдивым умом. Он одно время очень увлекался ею и проводил целые часы в разговорах с ней. Она поразила его своею силой воли и характера, и ее черты находили впоследствии в его «Вере», героине «Обрыва». Другая, младшая сестра, Эмилия Карловна, была беззаботное, веселое существо, любила заниматься хозяйством, кормить кур и коров. У нее до сих пор хранится какой-то старый календарь, на котором сделана Иваном Александровичем надпись: — «Кузине миленькой, Кузине маленькой, — Кузине, пьющей молоко». — Вместе с ними он совершал большие прогулки и проводил в их доме целые вечера»... Там же, стр. 422.

Обломов, рассказывает Гончаров, «среди тупой дремоты и среди вдохновенных порывов, всегда мечтал о женщине, как жене и иногда — как любовнице.

Грезилась ему на губах ее улыбка, не страстная, глаза, не влажные от желаний, а улыбка, симпатичная к нему, к мужу, и снисходительная ко всем другим; взгляд, благосклонный только к нему и стыдливый, даже строгий, к другим.

Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячей мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом бешеного перехода к радости. Не надо ни луны, ни грусти, она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы...»

— У таких женщин любовники есть, — говорил он, — да и хлопот много: доктора, воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя спокойно!

«А подле гордо-стыдливой покойной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает с уверенностью, проснувшись, встретит тот же кроткий, симпатичный взгляд... И так до гробовой доски!»

И Гончаров, устами Обломова, спрашивает, не составляет ли тайной дели любящих «найти в своем друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства? Ведь, это норма любви»...

И продолжает, высказываясь уже гораздо больше от своего имени, чем от имени Обломова: «Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке, для блага целого края, — это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую лезут все эти Жорж Санды, да сбиваются в сторону. За решением ее, ведь, уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно-ровное биение покойно-счастливого сердца, следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье». Несколько странная выходка против несимпатичных Гончарову течений в современной ему европейской литературе всего менее идет к Об-

ломову и скорее должна быть отнесена к числу непосредственно-субъективных воззрений самого автора, каких у него вообще немало разбросано в романах.

«Страсть! все это хорошо в стихах, да на сцене, где, в плащах, с ножами, расхаживают актеры, а потом идут, и убитые, и убийцы, вместе ужинать...

Хорошо, если б и страсти так кончались, а то после них остаются: дым, смрад, а счастья нет! Воспоминания — один только стыд и рвание волос.

...Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе»...

Это рассуждение в высшей степени характерно для самого Гончарова. Во всем в жизни должна быть своя мерка, своя норма; страсть труднее всего подвести под эту норму: она — «несчастие», и, когда такое несчастие постигает человека, «так это все равно, как случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой лошади падают и седок изнемогает». Страсть — несчастие, потому что нарушает покой жизни и равновесие духа, выводит человека из того естественного, нормального состояния, в котором внутренняя духовная деятельность происходит жизнерадостно, свободно, без толчков, отвлечений и стеснений, получаемых извне.

XXVI

Эгоизм, по определению Адуева-дяди. — Страсть и ее выражения в произведениях Гончарова. — Автобиографические черты. — Отношение к браку.

В кодексе нравственных правил Петра Ивановича Адуева есть любопытное рассуждение об эгоизме. По его определению, настаивать, например, на том, чтобы человек, переставший любить, оставался верен, являлось бы верхом эгоизма. «Требовать верности от жены — тут есть еще смысл: там заключено обязательство; от этого зависит часто суще-

ственное благосостояние семейства; да и то нельзя требовать, чтоб она никого не любила... а можно только требовать, чтобы она... того...» Эта холодная рассудительность, вполне понятная у человека, который мог быть так уверен в своей жене, как Петр Иванович в Елизавете Александровне, подходит и к общим взглядам Гончарова на страсть, стихийность которой ставит ее вне контроля рассудка и воли. Стихийность страсти явится для Гончарова, как увидим ниже, основным смягчающим и даже оправдательным мотивом при суждении о «падении» и «грехе».

Но страсть Гончаров понимал не в одном обыденном смысле.

Выше, говоря о грезах Обломова, Гончаров, быть может случайно, мимоходом, сделал одно замечание, на наш взгляд чрезвычайно ценное. Женский образ грезился Илье Ильичу «среди тупой дремоты и вдохновенных порывов». Тупая дремота — это та серая действительность, — о ней Гончаров говорил, припомним, перед поездкой в кругосветное плавание, — те сумерки, те вечные будни, от которых единственное спасение — в полете мечты, в мире фантастических грез. Область мечты и фантазии и есть то заколдованное царство, куда направляется «вдохновенный порыв» художника, и a priori можно сказать, что образы, взятые из этого мира, в часы «тупой дремоты» и в моменты «вдохновенного порыва», будут неизмеримо различны.

Будут глубоко различны и понятия страсти, порожденные мечтами той и другой категории. В первом случае, мечты окрасятся страстью, которая на практике жизни приведет или к «законному исходу», в домике вдовы Пшеницыной, или к воспоминаниям стыда и раскаянья.

Этого рода страсть была знакома всем героям Гончарова, и тем в большей степени, чем был моложе их автор. Иван Савич Поджабрин — типическое воплощение этой страсти, по качеству однородной с теми «колоссальными» страстями, о ко-

торых мечтали в свое время и Александр Адуев, и Обломов, и Райский.

Но последнему знакома гораздо в большей степени другая страсть — страсть «вдохновенных порывов», ведущих к творческому «пафосу», к радостям и скорбям творческой работы.

Роль этой страсти — совершенно иная. «Зачем гроза в природе?... — спрашивает Райский у Веры. — Страсть — гроза жизни... О, если б испытать эту сильную грозу!... Нет, не к раскаянию поведет вас страсть: она очистит воздух, прогонит миазмы, предрассудки, и даст вам дохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слишком чисты, светлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказит вас, а только поднимет высоко»...

В этих словах художник и влюбленный, а главное — влюбчивый человек нераздельны. Так и должно было быть, по воззрению Гончарова. «И что за материальная любовь? — возражает у него Адуев-дядя племяннику: такой любви нет, или это не любовь так точно, как нет и одной идеальной... — мы не духи и не звери».

Райский поочередно влюбляется в Марфиньку и Веру. Чувство его к первой, конечно, гораздо элементарнее и проще. Но вот он видит Марфиньку рядом с Викентьевым, и в нем это чувство еще молодого, здорового и праздного человека сразу уступает восторгу художника перед грацией и цельностью образа. «Он любовался уже их любовью и радовался их радостью, томясь жаждой превратить и то, и другое в образы и звуки. В нем умер любовник и ожил бескорыстный артист».

Это возвышенное начало, придающее красоту и благородство самосознанию охваченного страстью человека, неизменно проскальзывает в его отношениях к Вере. Здесь оно гораздо сложнее, глубже и тоньше и, вместе с тем, гораздо мучительнее и тревожнее. «Вера не подозревала его тайных

мук, — замечает по этому поводу Гончаров, — не подозревала, какою страстною любовью охвачен был он к ней — как к женщине человек и как к идеалу художник».

К страсти художника, проникнутого порывом к идеалу, нам придется вернуться в одной из следующих глав. Теперь нам важно отметить основной характер определения страсти и любви, в высшей степени последовательно проведенный в романах и являющийся, таким образом, коренной чертой миросозерцания их автора. С одной стороны, страсть — состояние, близкое к сумасшествию, стихийное явление, от которого надо стараться избавляться возможно скорее, как от «несчастия», постигающего человека, с другой — она необходима в жизни, будничной и серой, как «гроза в природе», которая очищает атмосферу и прогоняет миазмы. Она бывает прекрасна, когда в нее входит возвышенный элемент художественного восприятия, поднимающего дух человека над ее низменной и узко-эгоистической стороной. Вообще же, по выражению Райского, — «все непременно чувствовали, кто раз, кто больше — смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно — смотря по воспитанию, но все испытали раздражение страсти в жизни, судорогу, ее муки и боли, это самозабвение, эту другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру сил»...

Если человек умеет, тем не менее, бороться с нею, ограничивать и переживать ее так, чтобы не было повода раскаиваться впоследствии, он испытает высочайшее наслаждение в последующие моменты, когда буря утихнет, и рассудок вступит в свои права; тогда-то душа и отдастся истинному счастью — сладостному отдыху и покою. «На остывший след этой огненной полосы, — проповедует Райский Вере, бурно, едва успевая говорить, — этой молнии жизни ложится потом покой, улыбка отдыха от сладкой бури, благодарное воспоминание к прошлому, тишина. И эту-то тишину, этот след любви люди и назвали святой, возвышенной любовью,

когда страсть сгорела и потухла». Охваченный сам страстью. Райский говорит «бурно» — о чем же? — о покое, отдыхе от страсти, тишине, говорит не раз, не замечая неестественности подобных речей, на которые не отваживался даже Обломов в разговорах с Ольгой Ильинской. Ясно субъективное участие самого Гончарова в этом поэтизировании тишины и отдыха после страсти. Так менее всего может говорить человек в минуту аффекта, с ураганом в мыслях и огнем в душе, и так вполне естественно может говорить художник, подобный Гончарову, у которого между лично пережитой страстью и творческим воспоминанием о ней лежит промежуток десяти-двадцати лет.

Еще нагляднее раскрывается отношение Гончарова к вопросу о браке[58].

---

[58] 19 октября 1861 г. Гончаров писал свой сестре А. Кирмаловой по поводу женитьбы ее сына Виктора на Дарье Леонтьевне: «Я получил сегодня твое письмо, милый друг Александра Александровна, недавно писал и еще одно (от 20 сентября 1861 г. См. там же, стр. 423) — все о Викторе Михайловиче. Что с ним делать: я и другие приятели мои и жены их говорили ему, что надо бы ему подождать, что нужно прежде устроить свое положение, знать, на что он способен, чем прокормит себя и жену, и тогда уже жениться. Но он, как ты пишешь, должно быть, и в самом деле слаб, потому что лезет, как бабочка в огонь, тает и худеет и думает все об одном — жениться. Со всеми это случалось, все умели перетерпеть, а он нет. Конечно, это честно и не худо, да он едва ли вытерпит всю тяжелую школу нужды и лишений... Но, может быть, женится и переменится... Я с ним ссорился, по нитке разобрал ему все, что его ожидает, но розы загораживают ему все. В свои лета он еще все какой-то юноша. Будь у него средства или будь твердый мужской характер, я бы первый посоветовал ему жениться, потому что он домосед, людей дичится и бегает, и, кажется, способен к семейной жизни. Но дело в том, что он непрактичен, не знает жизни и ее горьких уроков, и когда постигнет его серьезное горе, он не найдет в себе ни воли, ни мужества,

В самом раннем произведении его, «Иван Савич Поджабрин», произведении, от которого впоследствии писатель с удовольствием отрекся бы, рассказана целая история увлечений Ивана Савича до любви «лаконической» включительно. Там есть, между прочим, такая сцена. Дворник явился поздравить Ивана Савича, ухаживавшего в это время за некоей Прасковьей Михайловной, со «вступлением в законный брак». Иван Савич пришел в ужас.

— «Что̀-о?

— В законный брак ...

— Как, с кем? что ты? с ума, что ли, сошел?

— Никак нет, батюшка! слышь, с верхней нашей жиличкой, Прасковьей Михайловной...

— Как!

Иван Савич остолбенел...»

История кончилась тем, что дворника вытолкали за дверь, а Иван Савич решил съехать с этой квартиры, к немалому негодованию слуги Авдея, ближайшего родственника обломовского Захара. Они поменялись ролями: там Захар пристает к Обломову с переездом на другую квартиру, а барин упрямится; здесь барин, который, по собственному выражению, любит свободу, приказывает слуге найти новую квартиру и тем «постараться вывести барина из беды». Разговор о квартире «с удобством всяким, и сараем особым, и ледником от хозяина», мог бы служить превосходным вариантом бесед Ильи Ильича с Захаром.

«Иван Савич Поджабрин», повторяем, — самое раннее произведение Гончарова. Но, в числе самых поздних, писанных спустя много-много лет, в возрасте, когда люди получают право называть итоги пережитого «домашним архивом», есть

ни уменья извернуться... Вот чего я боюсь за него. А за женитьбу бранить нельзя: в браке сохраняется чистота души и тела, не истаскивает ни того, ни другого». М. Суперанский, там же, стр. 426.

один очерк — «Слуги», в котором писатель дал художественную характеристику нескольких типов слуги старого времени. Мы уже знаем, что вопрос о слугах имел особое значение для Гончарова, домоседа, любителя порядка и комфорта, — оттого и в романах их типы вышли столь жизненны и реальны. Но дело не в том. Здесь мы находим сценку, которая наглядно иллюстрирует личное отношение Гончарова к браку.

В квартиру Гончарова забрались однажды воры и произвели погром. Слуга оказался мертвецки пьяным — мошенники опоили его. Разгром был полный; вместе с письмами, пакетами и бумагами были разбросаны на полу большие, числом до тридцати, тетради «Обломова», приготовленного совсем для печати. Досада Гончарова была беспредельна. «У меня сердце сжалось тоской, — рассказывает он. — Я чувствовал, что не живу под знаменем охраны, благоустроенности, порядка. Я предоставлен самому себе, я беззащитен. Будь я помоложе, я, может быть, заплакал бы. Никого около меня — нет опоры, нет защиты!»

Сознание довольно любопытное. Тоска одиночества не прорывалась, судя по произведениям и воспоминаниям, не давала нигде себя чувствовать, пока в жизни царил покой и порядок. Нужно было произвести настоящий разгром квартиры, чтобы вызвать жалобу, и то не на одиночество вообще, не на то, что не с кем делить радостей и горестей жизни, а на то, что не на кого опереться, не у кого попросить защиты, когда злые посторонние люди причиняют беспокойство и хлопоты.

— «Вот не женились — и наказаны! Вот вам прелесть холостой жизни! Свобода и независимость!» — говорила мне потом одна приятельница, Анна Петровна, страстная охотница устраивать свадьбы. — Была бы жена, волки-то и не забрались бы... Женитесь-ка — еще время не ушло! Я бы вам славную невесту сосватала!

— Если б женился, может быть, забрались бы другие волки, злее этих! — меланхолически ответил я».

Гончаров так и не женился, обеспечив свой покой одиночества навсегда. Но, если вглядеться в ту роль, какую играет женщина в его произведениях, можно без особенного греха вывести заключение, что в душе его неизменно жило стремление к тому «ewig Weibliche:», которое в жизни, можно думать, сказалось рядом горьких разочарований, а в творчестве озарилось лучами дивной красоты и обаяния. Жизнерадостная, веселая и ясная Марфинька была ближе душе Гончарова, чем загадочная, пытливо-тревожная Вера, не желавшая «жить слепо по указке старших»; но художника она привлекала этим «мерцанием тайны», этой гордой и, вместе с тем, благородной замкнутостью, за которой творится неустанная работа мысли и духа, этим сознанием своего женского достоинства и нравственной силы. В Вере с избытком были все данные для того, чтобы отнести ее к категории тех женщин, в руках которых должно оказаться, по выражению Гончарова, «прямое решение так называемого женского вопроса».

Это двойственное тяготение — умеренного Обломова и нервного художника в Гончарове — к женскому образу в последние годы его жизни размягчало сердце старика и приводило изредка к признаниям лирического свойства. Друзья поднесли ему в 1882 г., по случаю тридцатипятилетия его литературной деятельности, кабинетные часы с бронзовым бюстом молоденькой девушки. То была Марфинька из «Обрыва», по объяснению литераторов, и Гончаров был чрезвычайно доволен. По сделанному нам сообщению одного из близких друзей писателя, он сознавался, что Марфинька «с давних пор была его маленькой слабостью.

Но чуткие женские сердца поняли, что и Вера была не менее близка душе Гончарова. От имени «русских женщин» 2 февраля 1883 г. был поднесен Гончарову адрес, говоривший о значении созданных им женских типов для развития обще-

ственного самосознания. Несомненно, к женщинам, подобным Вере, должны были относиться слова его авторской исповеди о том, что последние идут в «открытые им двери учебных заведений, обществ, курсов, при общем участии и уважении». Эти слова были как бы искуплением и отрицанием своего же собственного неудачного и странного предположения, в минуту раздражения вырвавшегося у писателя, в конце романа, как бы русские девушки, по примеру Веры, не стали, прочитав роман, бросаться очертя голову на дно «обрыва». Решение «так называемого женского вопроса» открывало для себя пути в таких областях, о каких не мог и думать Гончаров в прежние годы.

Поэтому-то, говоря о взглядах Гончарова, необходимо держаться, прежде всего, исторической точки зрения и не упускать из вида тех влияний, которым они могли подвергаться.

XXVII

Вопрос о влиянии А. В. Никитенки на Гончарова. — Их взаимные отношения. — Несколько слов о личности Никитенки. — Его общественные взгляды. — Их общая оценка.

Прежде чем приступить к характеристике миросозерцания Гончарова, как оно выразилось в романах, нельзя не сделать попытки указать на тот общий источник, из которого Гончаров мог почерпать суждения, являвшиеся мерилом его личных взглядов. Таким источником была, главным образом, среда, в которой он провел большую и лучшую часть своей жизни, с которой сроднился душевно и умственно. Для Гончарова типичным выразителем этой среды был А. В. Никитенко, оставивший после себя драгоценное свидетельство ее настроений, мыслей и верований. Сопоставление с ним коренных основ миросозерцания Гончарова чрезвычайно поучительно. Действительно, внимательное чтение соответ-

ствующих мест дневника Никитенка наводит на мысль о возможности влияния последнего на отношение Гончарова к некоторым вопросам современной общественной жизни. Конечно, об этом влиянии следует говорить с большой осторожностью, принимая в соображение, что, ко времени дружбы с Никитенком, Гончаров был уже сравнительно пожилой человек. Однако, следует заметить, что до появления «Обрыва» вопросы живой современности почти не находили себе места в романах Гончарова, а главное, если принять в соображение солидарность во многих суждениях, сходство настроений, наконец, служебные и личные связи обоих деятелей, то вопрос о близкой родственности их взглядов не покажется столь невероятным.

Дружественные отношения Гончарова к Никитенке особенно окрепли в шестидесятые годы. Последний высоко ценил талант Гончарова, который читал ему главы своего романа по мере того, как шла работа, и, можно думать, руководствовался его мнениями. «Вечером Гончаров читал мне новую, написанную им в Дрездене, главу своего романа, — отмечает Никитенко под 16 сентября 1860 г.[59] — Он перед тем читал мне кое-что из него. Места, мне прочитанные до сих пор, очень хороши. Главная черта его таланта — это искусная тушевка, уменье оттенять каждую подробность, давать ей значение, соответственно характеру всей картины. Притом, у него особенная мягкость кисти и язык легкий, гибкий. В новой, сегодня читанной главе, начинает развертываться характер Веры. На этот раз я остался не безусловно доволен. Мне показалось, что характер этот создан на воздухе, где-то в другой атмосфере, и принесен на свет сюда к нам, а не выдвинут здесь из нашей же почвы, на которой мы живем и движемся. Между тем, на него потрачено много изящного. Он блестящ и

[59] Никитенко, А. В. «Записки и Дневник», т. I, стр. 615; другая запись Никитенко сделана 17 октября 1861 г., т. II, стр. 47.

ярок. Я тут же поделился с автором моим мнением и сомнением».

Через год с небольшим Никитенко заносит в дневник коротенькую заметку о том, что у него были Марк (Любощинский) и Гончаров и вели «те же бесконечные разговоры о современных происшествиях: впрочем, эти судили о них, как зрелые люди, а не как студенты». Поговорить было о чем: дневник Никитенка живо отражает отношение умеренно-либеральной части общества к общественным возбуждениям, в которых ее гуманным и просвещенным представителям многое казалось неожиданным и угрожающим привычному порядку вещей.

Несколькими строками выше сообщения о «бесконечных разговорах» на общественные темы, в которых высказывал свои зрелые суждения Гончаров, под тем же 17 октября, Никитенко пишет следующие строки, совершенно подходящие по своему характеру и содержанию к полемике Гончарова с Марком Волоховым: ...«Вы (т. е. представители новых крайних учений) говорите, что надо разрушать все старое, все, все, чтобы потом создалось новое. Но разве это возможно? Старое в человечестве: и наука, и искусство, и всякие опыты и открытия веков. Старое все то, откуда, из чего вытекает все новое. Разрушить все старое — значит уничтожить историю, образование, начать с Адама и Евы, с звериной шкуры, с дубины дикаря, с грубой физической силы... В общественном порядке бывают перестройки, а не постройки сызнова всего так, как будто ничего не было прежде. А когда перестраивают, то иное оставляют, другое исправляют, а до кое-чего даже вовсе не дотрагиваются, потому именно, чтобы не разрушить всего. Тут нужны рассудок, осмотрительность, а не безумие и страсти, попыхи и скачка сломя голову... Говорить дурно о правительстве, обвинять его во всем сделалось ныне модою. А я думаю, что если бы правительство показало, что с ним шутить нельзя, мода эта быстро прошла бы...»

Искренний и высоко-нравственный деятель, глубоко проникнутый идеями гражданского и государственного долга, Никитенко был и убежденным поборником русской науки и гуманитарного просвещения. Трогательным воодушевлением дышат те страницы его дневника, в которых он говорит, например, об освобождении крестьян, или об успехах русской науки, о светлых явлениях литературы; напротив, о репрессиях со стороны высшей администрации по отношению к печати, о недостойном поведении некоторых деятелей он говорит с негодованием и скорбью. Биография Никитенка, рассказанная им самим, очень поучительна: он происходил из крепостных графа Шереметева и своим возвышением и благотворным влиянием на современников был обязан исключительно своему уму и любви к науке. Его общественные взгляды образовались среди самых разнообразных положений, людей и умственных веяний. В нем гармонично уживались просвещенный бюрократизм, на почве стремления к идеалам государственной пользы и национального достоинства, с занятиями наукой в университете и академии, и любовь к литературе с сознательным участием в работах по цензурному комитету. Девизом его государственного служения можно поставить его же собственные слова: «я понимаю с д е р ж и в а н и я, но не допускаю системы п р и т е с н е н и я», а его политические убеждения могут быть охарактеризованы, как убеждения теоретика-конституционалиста, далекого от сознательного участия в реальной борьбе за принципы своего политического идеала. «Массы должны быть призываемы к содействию, когда это надо, — говорил Никитенко, — но не к постоянному участию в управлении. К этому они и не способны, и им некогда. Необходимы выборные люди»[60].

---

[60] Никитенко, А. В. «Записки и Дневник», т. I, стр. 623 и 626.

Никитенко находился в дружественных отношениях со многими из членов редакции «Современника». Он принимал участие в общих литературных собраниях и делах вместе с Некрасовым, Панаевым, Тургеневым, не говоря уже о Гончарове, и вообще был человеком широких взглядов, но с влиянием «новых людей» своего времени и, прежде всего, с Чернышевским и Добролюбовым примириться не мог. Последние олицетворяли собой, в глазах Александра Васильевича, опасных носителей того, что Гончаров в своих романах называл «новой правдой», ему непонятной и пугавшей его «материализмом и отрицанием небесных и земных авторитетов». Из-за обломков, бесстрашно разрушавшихся «новыми людьми» понятий крепостнического строя, надвигались на религиозного и, кажется, мнительного Никитенку грозные призраки Фейербаха, Молешотта, Бюхнера... Не давая себе труда различить научные и философские основы материалистического учения от публицистических стремлений, практической политики, Никитенко равно вооружался против всех представителей молодой оппозиции, смешивая в одном бесформенном представлении и публицистов «Современника» и П. Л. Лаврова, и материалистическую философию, и студенческие волнения, и государственные преступления. В его дневнике находим целый ряд полемических вылазок, свидетельствующих о крайне элементарном понимании им сущности материализма, которую он переводил на обыкновенный житейский язык. Мы остановимся лишь на некоторых из его возражений, весьма совпадающих, по содержанию и тону, с отношением Гончарова к учению Марка Волохова. Конечно, взгляды Гончарова не могли выразиться в художественном произведении так непосредственно и полно, как мог это сделать Никитенко в своих записках, но для общей характеристики достаточно и тех отражений субъективного авторского чувства, которые нарушали художественную

цельность и типичность образа, растворяя его в отвлеченных рассуждениях.

Под 10 ноября 1860 г. встречаем у Никитенка такого рода опровержение материализма:

«Учение материалистов, чувствуя невозможность достигнуть знания вечной и высочайшей истины, обходит ее и говорит, что она и не нужна; что можно без нее обойтись для исполнения не только обыкновенной общественной обязанности, но и высших задач человеческого существования. Без знания этой истины можно обойтись — с этим спорить нельзя: род человеческий и до сих пор без него обходится. Но без верования в нее можно ли обойтись — это другой вопрос. До сих пор род человеческий еще не открыл возможности обойтись без этого верования. На нем покоятся все наши нравственные отношения, все стремления к лучшему, все, чем человек укрощает свои страсти и возвышается до самообладания, самоуправления, до высшего понимания себя и своей жизни.

Философия материализма есть философия отчаяния. Ее можно формулировать следующим образом: «так как высшее знание, истина для человека — не достижимы, то откажемся от них и постараемся убедить себя и других, что можно устроить наилучший нравственный порядок вещей на земле, нимало не нуждаясь в основаниях нравственности, следуя единственно за физиологическими отправлениями нашего тела.

Дело не в началах, а в силе. Нынешние утописты — материалисты, социалисты, приверженцы так называемой положительной философии, думают, что они огромную услугу оказывают человечеству, толкуя о незаконности собственности, о злоупотреблениях власти и пр., и о средствах поправить зло, излагая теорию человеческих обществ, разделение собственности и труда. Они не видят, что все их понятия,

начиная с Платона, очень стары. Но дело, очевидно, не в понятиях, не в началах, а в силе осуществлять понятия, начала...

Нравственный порядок вещей невозможен, когда в том, что мы о нем знаем и должны знать, не допустим связи с тем, что мы не знаем и не можем знать.

Незнаемое есть верховный двигатель всякого стремления к совершенствованию. Закон развития есть не иное что, как побуждение из известного перейти в неизвестное».

Гончаров мог бы дополнить эту характеристику материализма теми словами, из которых он построил схему рассуждений Марка Волохова и Веры.

«Он (Марк), — повествует Гончаров от имени Веры, — во имя истины, развенчал человека в один животный организм... Самый процесс жизни он выдавал и за ее конечную цель... Угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее... Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям...

Между тем, отрицая в человеке человека — с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям»...

В сокращенном виде это обвинительный акт против Марка. Марк, по мнению Гончарова, грубый материалист, не верит не только в Бога, но даже в такие «очевидности», как губернатор и полиция, не уважает старших, беспокоит мирных людей, — и еще осмеливается распространять среди чуткой и впечатлительной молодежи свои проповеди о какой-то новой правде. Не иначе отнесся бы к Марку и Никитенко.

10 декабря того же года Никитенко заносит в дневник любопытное рассуждение, показывающее, какими глазами смотрел он на явления современной литературы, которая

едва ли не должна была играть, по его мнению, служебную роль. «У наших писателей, — говорит он, — при начале нынешнего царствования, не достало такта, чтобы воспользоваться дарованною печати большею долею свободы. Они много могли бы сделать для упорядочения некоторых начал в обществе и для склонения правительства к разным либеральным мерам. Но они ударились в крайности и испортили дело. Возгордившись первыми успехами, они потеряли меру, сделались чересчур требовательными, забыв, что год или два тому назад им едва позволили бы держать перо в руках. Им захотелось вдруг всего — и они начали сплошь на все нападать, как люди рьяные, но неспособные руководить общественным мнением. Они употребили во зло печатное слово, вместо того, чтобы воспользоваться им. Тщетно старался я стать примирительным лицом между литературой и правительством. Первая так далеко занеслась, что вдруг встала в жестокую и открытую оппозицию с последним. Последнее встрепенулось и стало усерднее подтягивать вожжи. Такие господа, как Чернышевский, Бов (Добролюбов) и прочие, вообразили себе, что они могут взять силой право, на которое они еще не приобрели права. Они взяли на себя задачу несвоевременную и непосильную и, вместо того, чтобы двигать дело вперед, только тормозят его»...

Любопытны и дальнейшие рассуждения Никитенка.

«Считая себя передовыми людьми, руководителями общественного мнения, — продолжает он свою характеристику несимпатичных ему деятелей, — они действовали, как зажигатели, как демагоги, чем и доказали свою незрелость и неспособность управлять общественным движением. Перед ними была роль действительно прекрасная: быть именно руководителями умов там, где все так шатко, незрело, неразвито. Но они не поняли ее и, увлекаясь лирическими порывами, упали сами в толпу тех, которым нужно вразумление и руководство. Они как будто захотели бросить перчатку пра-

вительству, вызвать его на бой, вместо того, чтобы соединить прогрессивные свои стремления с лучшими его видами — в которых нельзя ему отказать... — и, таким образом, сделать его, так сказать, своим помощником, с своей стороны помогая ему во всем благом и не стремясь вдруг, одним ударом, сломить его ошибки и старые предания.

«Они, притом, смешали людей, стоящих около центра, с самим центром, и то, что в отсталых прежних правителях было дурного, они отнесли к самой идее правительства. Словом, это были люди, жаждавшие отличия, желавшие, во что бы то ни стало, сделаться популярными и, по примеру западных корифеев, публицистов, быть политическими деятелями, вместо того, чтобы быть только общественными, предоставив времени и постепенным успехам нашего развития делать свое дело».

Люди, жаждавшие отличия и популярности... — так наивно понимал Никитенко Чернышевского и его единомышленников. Что же сказать о теоретическом обосновании их взглядов? Начала «постепенности», приведшие, в либеральных стремлениях известной группы лиц в обществе и литературе, к «постепеновщине», как общественно-историческому явлению, получили у Никитенка несколько позже (в 1864 г., под 10 апреля) такую формулировку, по поводу тогдашних событий в прусской палате общин: «Прусская палата общин стремится, писал Никитенко, к нивелированию сословий во имя демократического принципа, но на самом деле для того, чтобы захватить власть в свои руки и управлять страною на основании какой-то представительной олигархии. Бисмарк это очень хорошо понимает, и вот откуда весь антагонизм ... Самая консервативная страна в мире, без сомнения, Англия... Дело не в стремлении остановить движение ко всеобщей реформе, а в том, чтобы сделать это стремление, во 1-х, не столь разрушительным, каким оно угрожает быть, а во 2-х, подчи-

няя его в известной мере закону постепенности, тем самым обеспечить благие его последствия. Это борьба, но без борьбы никакая истина, никакой успех не могут быть прочными. Вот почему я, в моих либеральных тенденциях, придерживаюсь начала постепенности. Настоящее и будущее должны иметь связь с прошедшим. Не перестроив планеты, нельзя радикально строить ни человека, ни общества. Всякие крайние и абсолютные покушения в этом роде ведут к рабству, бедствиям и гибели. Зачем это?»

В этих немногих выдержках из дневника Никитенки выразились основные взгляды их автора, как на явления текущей жизни, так и на общественные стремления и идеалы.[61] Гуманист и ученый деятель, с несомненным либеральным оттенком, вдумчивый и искренний, благородный патриот и религиозный человек, он был, однако, для идейных стремлений шестидесятых годов несколько запоздалым, что и делало его типичным постепеновцем, примирявшим крайности двух порубежных эпох в культе того «доброго» и «хорошего», что с одной стороны, оставалось от старого, а с другой — что мелькало перед ним в пестрой смене явлений нового порядка.

К началу шестидесятых годов у Никитенка, несомненно, вполне уже сложился взгляд на ум и дарования Гончарова, применение которых к службе по цензурному ведомству казалось ему крайне желательным, как с точки зрения интересов литературы, так и государственной пользы: по крайней мере, около этого времени начинаются усиленные хлопоты Никитенка о служебных назначениях Гончарова.

Присмотримся ближе к тем взглядам, которые мы можем считать несомненно принадлежащими духовному облику Гончарова.

---

[61] Никитенко, А. В. «Записки и Дневник», т. II, стр. 174.

XXVIII

Отражение личности Гончарова в «Обрыве». — Правильность и последовательность в жизни. — Гончаров и Райский. — Художник и моралист.

Требования правильности и последовательности являются для Гончарова обязательными не только в узком применении их к домашней жизни и службе. Их он ставил во главе своих суждений вообще о ходе человеческих событий. Порядок и целесообразность зависели, по мнению Гончарова, исключительно от человека, от того, как он понимал общие и частные явления жизни, и как он определял свое к ним отношение. В самом понимании этих явлений должны, казалось Гончарову, скрываться априорные требования известной закономерности и общей гармонии, и только сообразно этому пониманию мир принимал в человеческом представлении ту или другую форму и окраску. Теоретические рассуждения Гончарова о жизни не отличались особенной отвлеченностью. Сама по себе жизнь не бывает ни хорошею, ни дурною, или, с другой стороны, и хорошею, и дурною, смотря по тому, какой ее делают и представляют себе люди. Стремление объяснить ее одним каким-либо началом или понятием казалось Гончарову простой игрой слов. Жизнь неуловима для сколько-нибудь точных определений, она — эластична, по выражению Райского: «подводили ее под фатум потом под разум, под случай — подходит ко всему»... «Во что хочешь веруй: в божество, в математику или в философию, — развивает он свою теорию дальше, — жизнь поддается всему»... У бабушки для объяснения жизни были Бог и судьба, у дворни — чаще всего домовой и нечистая сила, но сущность оставалась без изменения: жизнь поддавалась всякому пониманию и в то же время оставалась необъяснимой и загадочной.

Отсюда должен был неизбежно вытекать естественный вывод: всякого рода системы, метафизические умозрения,

«умствования» были совершенно бесполезны по отношению к жизни. Жизнь может быть весьма простой и разумной, если просто и разумно смотреть на нее, притом не задумываться над нею, а брать ее такою, какова она есть. Марк Волохов сходится в этом требовании непосредственного отношения к жизни с Райским, хотя, в практических применениях этого взгляда, они приходят к одному и тому же итогу диаметрально-противоположными путями. Итог этот — удовлетворение и оправдание эгоистических запросов своего «я», самоосвобождение от борьбы внутренней при посредстве борьбы внешней, создающей стремление к господству и власти над другим существом.

«Он (Марк) показал ей (Вере) на кучку кружившихся друг около друга голубей, потом на мелькнувших одна в до гонку другой ласточек. — Учитесь у них, они не умничают!

— Да, — сказала она, — смотрите и вы: вот они кружатся около гнезд.

Он отвернулся»...

Взгляды Гончарова, — независимо от тех, что высказывались в романах его многочисленными alter ego, — находили отражение непосредственное и в его общих рассуждениях и сентенциях. В них Гончаров нередко выходил за пределы художника, создающего известным образом ограниченный тип, личность или характер, субъективизм его развертывался во всю ширину, и речь принимала оттенок свободного излияния своих излюбленных идей и настроений. Тогда в особенности становится заметным, что автор в гораздо большей степени старается выразить свое «я», чем оттенить ту или другую черту в своем герое. Нередко автор настолько увлекается этим свободным, всегда красивым и плавным излиянием, что последнее становится в явное противоречие с предполагаемым миросозерцанием героя, который всегда одностороннее и уже Гончарова.

Поразительный пример такого противоречия — не по существу, а с точки зрения логики художественного творчества — представляет собой начало третьей части «Обрыва». Здесь Гончаров хочет уверить нас, что Райский, этот легкомысленный, но талантливый художник, каким он рисуется в романе, менее всего думавший о серьезных общественных и нравственных вопросах, отличался столь же определенным и устойчивым миросозерцанием, как сам Гончаров. Все, что он говорит в данном случае, менее всего подходит к Райскому, в смысле типа, и более всего — к самому автору.

«Райский считал себя, — рассказывает Гончаров, — не новейшим, т. е. не молодым, — но отнюдь не отсталым человеком»... Имея давно уже за тридцать, Райский, конечно, мог считать себя таковым, но и в эти годы он только и живет, что предчувствиями творческих восторгов и жаждою страсти, особенно последней. Сердце то и дело сжимается у него тревогой ожидания грозы и страсти, «вздрагивает от роскоши грядущих ощущений», но ни на минуту не увлекает его, если не считать младенческих грез, в мир общественной борьбы и гражданской деятельности. Напротив, к подножию страсти он готов бросить не только ту область высших стремлений, ради которой иные отказывались от самомалейших личных запросов, но и то, что для него дороже всего в жизни — искусство и славу. «Что искусство, что самая слава перед этими страстными бурями! — не без комического трагизма вздыхает он, обуреваемый страстью к Вере. — Что все эти дымно-горькие, удушливые газы политических и социальных бурь, где бродят одни идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы, без огня, без трепета нерв. Эти головные страсти — игра холодных самолюбий, идеи без красоты, без палящих наслаждений, без мук... часто не свои, а вычитанные, скопированные!»

Эта вдохновенно-бессвязная речь простительна влюбленному человеку, который носится по саду и «орет», по бук-

вальному выражению автора, что он хочет «обыкновенной, жизненной и животной страсти, со всей ее классической (непременно классической!) грозой». Но и тут ясно, что, и не будучи влюбленным, — а последнее бывало с ним в высшей степени редко, — Райский отдал бы все свои идеи о политической и социальной жизни за один благосклонный взгляд не только Веры или Марфиньки, но и той смазливенькой мещанки, которую он заприметил как-то, возвращаясь к себе верхом из города.

Что же, однако, рассказывает нам Гончаров?

«Он (Райский) открыто заявлял, что, веря в прогресс, даже досадуя на его «черепаший» шаг, сам он не спешил укладывать себя всего в какое-нибудь едва обозначившееся десятилетие, дешево отрекаясь и от завещанных историей, добытых наукою, и еще более от выработанных собственной жизнью убеждений, наблюдений и опытов, в виду едва занявшейся зари quasi-новых идей, более или менее блестящих или остроумных гипотез, на которые бросается жадная юность»...

А, между тем, весь роман построен на том, что у Райского нет никаких убеждений, того, что сказалось в поэтической формуле — «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», и в этом отношении он остается более юным и непоследовательным, чем действительный юноша — Марк.

Не идет к Райскому, как к типу, и то, что как нельзя более подходит к самому Гончарову, будто «он (Райский) ссылается на свои лета (и не такие уж были у Райского лета, иное дело Гончаров — в период создания «Обрыва»), говоря, что для него наступила пора выжиданий и осторожности: там, где не увлекала его фантазия, он терпеливо шел за веком».

Но, во-первых, когда же не увлекала фантазия Райского, который, в противном случае, перестал бы быть самим собой; а во-вторых: видал ли кто когда-либо Райского терпеливым?

Гончаров продолжает импровизировать, и в этой импровизации явственно слышатся размеренные речи Петра

Ивановича Адуева и благожелательно-корректного Штольца, которые и Пушкина любили, и заводы устраивали. «Он (Райский все) приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но не насильственное рождение новых ее требований, как праздновал весну с новой зеленью, не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал, веря в их историческую неизбежность и неопровержимую, преемственную связь с «новой весенней зеленью», как бы она нова и ярко-зелена ни была».

Райский, если верить этой характеристике Гончарова, являлся своего рода выжидающим постепеновцем, шедшим наравне с веком лишь в тех случаях, когда прогресс совершался без ломки, без резких переходов и сильных контрастов. Однако, в четвертой части романа рассказывается, как тот же Райский «шел к бабушке, и у нее в комнате, на кожаном канапе, за решетчатым окном, находил еще какое-то колыхание жизни, там еще была ему какая-нибудь работа — ломать старый век»...

Какая из двух характеристик вернее — решить не трудно. Гончаров-художник рельефнее определил натуру Райского; зато моралист превосходно передал существенейшие черты миросозерцания Гончарова, как человека. Его именем должно быть подписано все, чем выше он наделил неповинного Райского, и что так противоречит образу Райского в первой половине романа.

XXIX

Отражение общественных взглядов Гончарова в образе Райского. — Вера в идеальный прогресс; разлад действительности с красотой идеалов. — Отношение к окружающей жизни; крепостное право; воплощение «новых» веяний в образе Марка Волохова.

Итак, нам пришлось уже отметить, что Райский «досадовал» на черепаший шаг прогресса. Но тот же Райский, по словам Гончарова, был равнодушен ко всему на свете, кроме красоты. Он служил ей, как раб, был холоден ко всему, где ее не было, — «и был груб, даже жесток ко всякому безобразию». Это самое существенное из противоречий, отразившихся в создании образа Райского. Оно не устранимо само по себе, но происхождение его вполне ясно.

Во вторую половину пятидесятых и в шестидесятые годы Райский вносил положительный анахронизм, как представитель своего поколения, своим исключительным культом красоты. Но этот культ был так понятен в Гончарове, как заветное наследие того круга идей, в котором жили художники в тридцатые и сороковые годы. Философия и поэзия вступали тогда в трогательный союз, направленный к указанию высочайших идеалов человечеству, служение которым обеспечивало блаженство сознания всемирной гармонии и первенствующую роль человека в истории мироздания. Красота одна определяла законы развития мира; стремление к ней приводило к познанию божества, являло свои откровения наиболее ревностным жрецам искусства — художникам и поэтам. Последние смотрели на себя, как на призванных вождей человечества на пути его развития и нравственного совершенствования.

Эти сладостные иллюзии наших романтиков разбились не столько о позитивизм, неудержимо захвативший нашу общественную мысль во второй половине пятидесятых годов, сколько о подводные скалы русской действительности, неожиданно выглянувшие на поверхность и резко ударившие в глаза. Старики, именно те, что не пошли за веком, остались верны кумирам лучших лет своей молодости, но молодежь решительно двинулась по другому пути. И образовалось две правды: старая и новая, о которых говорит Гончаров. Кем бы

ни был Райский в смысле типа, он не мог быть на стороне старой правды, — для этого он должен был родиться двадцатью-тридцатью годами раньше.

Райский — слишком прозрачная ширма, за которой скрывается Гончаров. «Не только от мира внешнего, от формы он настоятельно требовал красоты, но и на мир нравственный смотрел он, не как он есть, в его наружно-дикой, суровой разладице, и не как на початую от рождения мира и неоконченную работу, а как на гармоническое целое, как на готовый уже парадный строй созданных им самим идеалов, с доконченными в уме чувствами и стремлениями, огнем, жизнью и красками... У него не доставало терпения купаться в этой возне, суете, в черновой работе, терпеливо и мучительно укладывать силы в приготовление к тому праздничному моменту, когда человечество почувствует, что оно готово, что достигло своего апогея, когда настал бы и понесся в вечность, как река, один безошибочный, на вечные времена установившийся поток жизни... Он только оскорблялся ежеминутным и повсюдным разладом действительности с красотой своих идеалов, и страдал за себя и за весь мир... Он верил в идеальный прогресс — в совершенствование, как формы, так и духа, сильнее, нежели материалисты верят в утилитарный прогресс; но страдал за его черепаший шаг и впадал в глубокую хандру, не вынося даже мелких царапин близкого ему безобразия».

Таковы были *общие* взгляды Гончарова, осмысливавшие для него сложный процесс «эластичной» жизни. Их нельзя было подвести ни под одно из ходячих общественных направлений. Они самобытны, своеобразны, далеки от новизны, но проникнуты гуманнейшими веяниями лучших сторон современной им европейской мысли. Они в такой же мере «эластичны», как сама жизнь в его определении, и название их либеральными страдало бы такой же неточно-

стью, как и отнесение их к разряду так называемых консервативных.

Достоинство это или недостаток? — вопрос для настоящего случая праздный. То обстоятельство, что это взгляды Гончарова, а не той или иной партии, служит достаточным ответом на подобного рода вопросы, до сих пор обращаемые к Гончарову иными из его критиков.

При всей «эластичности» житейской философии Гончарова и расплывчатости ее общих черт, является, тем не менее, возможность выделить некоторые частные взгляды, более или менее отчетливые и положительные. Как бы ни обобщал он свои наблюдения над явлениями жизни и в какое бы положение ни становился он сам по отношению к изображаемому, его *личность* была неотделима от предмета изображения, она входила в это изображение той или другой стороной его духа и клала на нее свой особый, чрезвычайно характерный для Гончарова, неизменно субъективный отпечаток. Она прокрадывалась, как мы видели, в характеристики и речи героев, являлась в отступлениях, больших и малых, в выражениях добродушного резонерства. Последнее обличало в Гончарове постоянно бившуюся дидактическую жилку, малозаметную в «Обыкновенной истории» и в «Обломове», но весьма явственную в «Обрыве», позднейшем из крупных произведений писателя. В первом из романов оно сказывалось, между прочим, вскользь, в обращении к авторитету общепризнанных истин, в сентенциях вроде того, например, что «уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви»... «ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас — это так заведено у людей»... В «Обрыве» личный рассудочный элемент Гончарова проявляется особенно в разграничении понятий «старой» и «новой» правды.

Будучи врагом ломки и каких бы то ни было насильственных переворотов, Гончаров любил старую жизнь, усто-

явшуюся, патриархальную, не только потому, что чувствовал в ней поэзию мира и семейных преданий: в ней он чтил ту внутреннюю подготовительную работу вчерашнего дня, без которой не могло бы в таком виде существовать его «сегодня», столь гордое успехами знания и прогресса. С некоторыми ограничениями к Гончарову могут быть отнесены слова, сказанные им об ушедшем в классическую жизнь Козлове. Последний видел в ней родоначальницу наших знаний, а главное — отчетливые, устоявшиеся, легко определимые формы. Козлов настолько отдался ей, что от него «ушла и спряталась современная жизнь».

Гончаров сам уходил от современной жизни и с любовью погружался в старую жизнь, но он был бесконечно шире Козлова, и потому с современной жизнью его связывали интересы прогресса, знания, в широком смысле слова, и искусства. Многому в современной жизни он готов был радоваться, но многое вызывало в нем искреннее раздражение и досаду. Изображая непосредственно примыкавший к нему круг явлений, он первоначально не придавал своим изображениям значения социальных или политических обобщений. Общественное значение его романов сложилось само собой, помимо воли автора. «Злоба дня» вообще была чужда Гончарову, и если ему приходилось иногда отзываться на нее, как это было в «Обрыве», то виною тому были не столько сами крупные явления жизни, выражавшиеся в тех или других формах, сколько то, что эти формы бывали иногда безобразны и безобразием своим оскорбляли эстетическую щепетильность Гончарова.

Нельзя не поражаться, как мало уделяет Гончаров внимания крепостному праву: переживая настоящую эпоху бури и натиска и пытаясь, по его собственному объяснению, наглядно показать борьбу старых понятий с новыми, он не шутя видит в Райском героя пробуждения, которому, будто бы, суждено произвести постепенную и мирную революцию

в уме Марфинек и бабушек, и противополагает ему Марка Волохова, который, в сущности, идет к тому же, но только путем насилия, беспочвенного фанатизма, слепого увлечения скороспелой идеей, и потому не достигает цели. И Райскому и Марку Волохову Гончаров впоследствии придал всеобъемлющий, почти символический смысл, а, между тем, в романе отсутствует фактическая сторона их отношений, то, что явилось бы самым существенным показателем их обоюдного отношения к наиболее живым и горячим вопросам своего времени.

Из таких вопросов крепостное право стояло, конечно, на первом плане. Но Гончаров изображал современные ему события из такого прекрасного далека, что этот исключительный и коренной фактор многовекового уклада русской жизни, приковывавший к себе умы и таланты всех, кому приходилось с той или иной стороны касаться общественных явлений этой эпохи, терял под пером Гончарова все свое великое значение и низводился на степень одного из элементарнейших начал русской жизни, которые у него как будто сами собой подразумеваются, и потому о них в общественном романе и говорить не стоит. Фактически такое отношение легко объясняется тем, что Гончаров, в сущности, всегда стоял далеко от подлинной народной жизни и создавал свои романы по воспоминаниям детства, прошедшего в смягченной обстановке городских влияний и полупомещичьего и полудворянского довольства.

В «Обыкновенной истории» есть сценка, в высшей степени характерная для суждения о том, как Гончаров изображал крепостное право. Это в начале романа, где провожают Александра Адуева в Петербург. Его крепостной «человек» — Евсей, мил друг кухарки Аграфены Ивановны, принужден расстаться с ней, и бедняга мучится подозрениями относительно верности своей подруги во время его отсутствия.

— «Кто-то сядет на мое место? — промолвил он со вздохом.

Леший! — отрывисто отвечала она (Аграфена).

Дай-то Бог! Лишь бы не Прошка! А кто-то в дураки с вами станет играть?

Ну, хоть бы и Прошка, так что же за беда! — со злостью заметила она»...

Но Евсей упрашивает Аграфену, уж если случай такой придет — лукавый, ведь, силен, — посадить тут не Прошку, но Гришку: по крайности, малый смирный, работящий, не зубоскал...

К этой сцене, проникнутой неудержимым внешним комизмом, Гончаров дает и ключ, открывающий другую, оборотную сторону медали, с попранием личности, гнетом и безнадежностью на первом плане. Ключ этого — барская воля, узаконявшая беззаконие и произвол в человеческом общежитии. «Если бы не барская воля, — говорит тот же Евсей, уверяя в своей любви Аграфену, — так... Эх!.. — Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у нее, наконец, горе обнаружилось в слезах».

В этом «эх», которого, действительно, не передашь никакими словами, сказались горе и безнадежность целых миллионов Евсеев и Гришек, имевших, не меньше надворных и тайных советников Адуевых, право на будничное человеческое счастье. Но у Гончарова подобные сцены изображаются таким образом, что из десяти читателей, наверно, девять улыбнутся и пройдут мимо и только десятый задумается над «общей идеей» вопроса.

При всем этом неясное и даже несколько странное отношение Гончарова к такому вопросу, как крепостное право, доходит до того, что читатель может быть поставлен в серьезное недоумение: какая эпоха изображается, например, в «Обрыве»: до или после реформы? С одной стороны, Марк Волохов, со своей проповедью новой свободы, со своим отрицанием «небесных и земных авторитетов», есть несомненное порождение шестидесятых годов. С другой стороны,

Бережкова управляется в имении Райского, как полновластная крепостная помещица, имеющая власть сослать в наказание блудливую Марину в дальнюю деревню, и Гончаров определяет положение последней в помещичьей усадьбе, как «обеспеченное состояние крепостной дворовой девки». Тит Никоныч, даря к свадьбе Марфиньки дорогой дамский туалет, рассказывает, как этот сервиз был доставлен в город из его родовой вотчины: «на руках несли полтораста верст шесть человек попеременно, чтоб не разбилось», — затея чисто в крепостном духе. Наконец, и Райский, отзывающийся, между прочим, о Вере, что она «рабов любит», обращается к бабушке с просьбой отпустить мужичков на волю. Все это указывает слишком ясно, что крепостное право остается в полной силе, а, между тем, Марк только и делает, что говорит Вере о том, что прежняя жизнь отжила, — «теперь потекла другая жизнь, где не авторитеты, не заученные понятия, а правда пробивается наружу». О духе свободы проповедует и Райский, и видит признаки этого духа в сознании своих прав у Веры — так, как вопрос об этих правах поставили шестидесятые годы. «Видишь, ты молода, — говорит он ей, — отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвеял дух свободы, у тебя уж явилось сознание своих прав, здравые идеи. Если заря свободы восходит для всех, ужели одна женщина останется рабой?» Тот же Райский, увлекшись в разговоре с Беловодовой изображением печального положения крестьян, спохватывается и спешит оговориться, что он не проповедует коммунизма, — оговорка, весьма идущая к Гончарову.

Как бы то ни было, Марк вносит с собою новое учение. Гончаров дальше «дерзкого» отрицания авторитетов и проповеди новой свободы, не выходящей из пределов призыва к свободной любви, не идет в своем объяснении. Он связывает новое учение с именами Фейербаха, Прудона, но этим упоминанием обыкновенно дело и кончается; в чем состояла новая правда — так и остается невыясненным. Читатель

догадывается, что дело здесь не в доброй воле Гончарова, а, прежде всего, в том, что общественно-политическая сторона учений этих писателей оставалась чужда ему, и даже более того — можно с уверенностью сказать, что сам он едва ли близко вникал в сущность их содержания. Отсюда понятно, что то, что из «новой правды» молодые умы стремились применить к общественно-политической стороне русской жизни, шло в разрез с коренными убеждениями Гончарова. Оно было ему органически непонятно и потому, останавливаясь на внешних до карикатуры утрированных признаках носителей этой «новой правды», он лишил Марка Волохова наиболее положительной черты людей его типа и, вместе с тем, исторической основы.

Крайне интересен в этом отношении рассказ Ф. М. Достоевского, в одном из писем о том, как отозвался Гончаров о новых течениях современности. «Имея 53 года, — писал Достоевский Х. Д. 9 апреля 1876 г., — можно легко отстать от поколения при первой небрежности[62]. Я на днях встретил Гончарова, и на мой искренний вопрос: понимает ли он все в текущей действительности, или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое перестал понимать... Конечно, я про себя знаю, что этот большой ум не только понимает, но и учителей научит, но в том известном смысле, в котором я спрашивал (и что он понял с полуслова), он разумеется, не то, что не понимает, а не хочет понимать. «Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни, — прибавил он, — я и хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались, а штудировать этих (он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте) мне обременительно, потому что на них пойдет мое дорогое время». Эти слова очень типичны для Гончарова: он чувствовал себя уже не в

[62] Письмо Достоевского к Х. Д. приведено у М. Ф. Суперанского. «Вестник Европы», 1908, ноябрь, стр. 41.

состоянии глубоко заглянуть в новое общественное течение и приблизиться к шедшим за ним поколениям, с которыми не чувствовал духовных связей. Если он, тем не менее, взялся за Марка Волохова, то потому, что был задет — не в области общественного темперамента, а как художник: уж слишком била ему в глаза крайность и необычность тех форм, в которых новые идеи пробивали себе дорогу. И эти формы испугали художника в гораздо большей степени, чем самые идеи. От последних Гончаров просто отвертывался, с первыми сделал попытку вести борьбу.

Направление, которое Гончаров пытался охарактеризовать в образе Марка Волохова, не поражало писателя своей новизной; напротив, в стремлении к ней он готов был увидеть неуменье справиться со старой правдой. Новизна сводилась в этом случае, по мнению Гончарова, к слепому презрению ко всему прошлому, презрению, которое не различало старого зла от старого добра. Новые люди, подобные Марку, не заслуживали доверия уже потому, что они явились на арену общественной деятельности, так сказать, самозванно — «без имени, без прошедшего, без истории, без прав». «Это наша партия действия», — саркастически отзывается Райский о Марке (конечно, отзыв этот не мог быть сделан в дореформенную эпоху) и тут же определяет сферу ее деятельности: «Да, из кармана показывает кулак полицеймейстеру, проповедует горничным да дьячихам о нелепости брака, с Фейербахом и с мнимой страстью к изучению природы вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этаких слабонервных умниц». А в разговоре с Верой Марк называет себя «новой грядущей силой» и говорит, что сила эта вербуется из рядов той молодежи, которая тянется к свету, потому что ее держат в потемках, и к свободе мысли, потому что умы их питают мертвечиной: они, представители учащейся молодежи, — наши настоящие миссионеры, — добавляет Марк. — Они пока сослепа лезут на огонь, да усердно...

«На какой огонь? — спрашивает Вера.

—«На свет, к новой науке, к новой Жизни»...

Это все речи, которые едва ли могли быть ранее 19 февраля. Наслушавшись их, Вера осмеливается и сама задать вопрос Райскому о свободе личности и чувства.

«Какая ты красная, Вера: везде свобода! — восклицает Райский. — Кто это нажужжал тебе про эту свободу? Это, видно, какой-то дилетант свободы!»...

Эпитет, приданный Вере, — такой же анахронизм по отношению к крепостной эпохе, как и целый ряд приведенных выше. Не будет, кажется, слишком смелым предположение, что Марк Волохов введен в роман уже после того, как в голове художника сложился план романа с личностью Райского в центре и сюжетом, развивающимся все в той же знакомой Гончарову дореформенной обстановке, и соответственно с этим были сделаны вставки в речи Райского, вызванные его новым положением относительно Марка. Это предположение тем более правдоподобно, что оно находит в себе подтверждение в авторской исповеди. «В «Обрыве» больше и прежде всего меня занимали три лица, — говорит Гончаров: — Райский, бабушка и Вера, но особенно Райский»... Первоначально роман носил даже название «Художник»; ясно, что осложнение сюжета и введение тенденциозного образа Марка явилось значительно позже. В той же авторской исповеди Гончаров говорит мельком, что в первоначальном плане 1848–1850 гг., на место этого «резкого» типа, тогда еще не существовавшего, был предположен просто сосланный под надзор полиции «либерал», нагрубивший начальству или «проврввшийся дерзко» про власть. «Но, — замечает он там же, — как роман развивался вместе со временем и новыми явлениями, то и лица, конечно, принимали в себя черты и дух времени и событий. От этого и предположенный зародыш неблагонадежного превратился к концу романа уже в резкую фигуру Волохова, которая появилась кое-где в обще-

стве. Но напрасно было бы вслед за Скабичевским предполагать то или иное определенное лицо, изображенное с фотографической точностью, и что «нигилистов», подобных тому, о котором рассказывал Скабичевский в статье «Из воспоминаний о пережитом», было много, когда Гончаров набрасывал своего Волохова. В 1862 г., когда я ездил вновь по Волге, прожил лето на родине, был в Москве, мне уже ясно определилось это лицо». Другими словами, образ Волохова воспринял свои наиболее характерные черты из непосредственной действительности в первые же годы освободительной эпохи.

XXX

(Миросозерцание Гончарова). — Субъективность Гончарова при создании образа Марка Болотова. — Старая правда Гончарова. — Ее религиозные и нравственные устои.

В создании Марка субъективность Гончарова сама собой пробилась наружу, и его личность выразилась при этом тем отчетливее, чем меньше удалось ему придать индивидуальным чертам Марка типическое значение[63]. Иногда автор вступает с ним в непосредственную полемику, даже не очень скрываясь за ширмы того или другого героя. Это особенно заметно в рассуждениях, в которых художник иногда поясняет читателям, что делается за сценой, где лицедеи снимают с себя костюмы и грим и становятся совсем обыкновенными, совсем простыми людьми; иногда же подчеркивает значение художественно рассказанного факта, словно боится, что читатель поймет не так, как следует. «После всех пришел Марк — и внес новый взгляд во все то, что она (Вера) читала, слышала, что знала... Он, с преждевременным триумфом,

---

[63] О том, с каких лиц писал Гончаров своего Марка Волохова, идут разные сведения. Об этом см. у М. Суперанского. «Вестник Европы», 1908, ноябрь, стр. 33 и след.

явился к ней, предвидя победу, — и ошибся». Делая подобный вывод от своего имени, художник превратился в обыкновенного повествователя, который не столько заботится о яркости изображения, сколько принимает личное участие в передаваемом событии, и в данном случае лично радуется ошибке Марка.

Самый протест против всего, чему учит Марк, указывает на присутствие в миросозерцании Гончарова черт противоположного свойства. Его «старая» правда покоилась на глубокой религиозности, не той, которая зовет человека на подвиг самоотречения и самопожертвования и является уделом немногих натур, с высоким строем души и сильной волей, но иной, доступной самым обыкновенным людям, которые почерпают в вере спокойствие совести и душевный мир, и живут больше чувством, чем умом. Эта религиозность не является результатом страстного самоуглубления, борьбы с сомнениями и искусами, — она никогда не испытывает муки крайнего отрицания, с тем, чтобы возродиться после этого еще более возвышенной и просветленной. Религиозность, присущая Гончарову, была, как мы видели, привита и воспитана в нем в патриархальной обстановке детства нежными заботами матери, примерами старших. Она поддерживалась нелюбовью к каким бы то ни было «умствованиям», выходившим за пределы художественных концепций и только нарушавшим душевный покой, и, что особенно было дорого Гончарову, она сливалась в нем с поэзией семейных традиций, с воспоминаниями о самых трогательных моментах детской жизни, вроде тех, которыми согреты лучшие страницы «Сна Обломова».

В роковые минуты своей жизни, спасаясь, как от наваждения, от новой правды Марка, Вера «во взгляде Христа искала силы, участия, опоры»... Однажды, в сумерки, Райский застает ее у часовни и поражается спокойным и светлым вы-

ражением ее лица: в этом взгляде она нашла отраду покоя и мира, которой не могло ей дать учение Марка.

Но Вера еще доступна колебаниям и сомнениям; Марфинька и бабушка их не знают. Их вера — непосредственное, чуждое и тени рационализма, чувство любви к Богу, как промыслителю, помощнику и защитнику рода людского. На этой вере, прежде всего, держится весь строй убеждений и понятий, из которых слагается их «старая» правда.

Вера, по мысли художника, искупила страданием свои временные увлечения речами Марка и осталась верна «старой» правде; ей помогли в этом инстинкт правдивой женской души и здоровая натура. «Его (Марка) новые правда и жизнь не тянули к себе здоровую и сильную натуру, а послужили только к тому, что она разобрала их по клочкам и осталась вернее своей истине». Веками установившийся строй верований, убеждений и взглядов выдержал борьбу с болезненной накипью насильственно вводимых в жизнь новых теорий и идей, «старая» правда восторжествовала, — такова мораль и основная тенденция второй половины романа.

Старая правда обусловливала, казалось Гончарову, ясный и цельный взгляд на жизнь, высшим счастьем которой было свободное проявление индивидуальных особенностей личности, ее законных требований и желаний, но при одном условии — «не стесняя воли другого», не забираясь насильно в чужую душу, не оскорбляя того, что другому дорого и свято. Уважение к личности являлось основным требованием в отношениях мужчины к женщине. Момент, когда Бережкова проявила твердость духа и самостоятельность в знаменитой сцене с чиновным наглецом Нилом Андреевичем, приводит Райского в восторг; ему кажется, что Татьяна Марковна стояла в этот момент «на вершине развития умственного, нравственного и социального».

В отношении свободы чувства Гончаров не был узким моралистом. Его герой «пробуждения», Райский, проповедует

Вере о том, что пора перестать бояться чувства: «люби открыто, всенародно, не прячься, не бойся ни бабушки, никого», — потому что наступила новая жизнь, «старый мир разлагается, зазеленели новые всходы». Но свобода чувства нисколько не потеряет, а, наоборот, выиграет в своей красоте, если обеспечит за собой не только право на наслаждение, но и сознание взаимного нравственного долга, налагаемого любовью. В этом отношении новая правда расходилась, думалось Гончарову, со старой.

«Любовь — счастье, данное человеку природой... — говорит Марк. — Это — мое мнение...

«Счастье это ведет за собой долг, — сказала она (Вера). — Это — мое мнение».

На смену Марку, на помощь Вере приходит Тушин и восстановляет в ее душе окончательное торжество «старой» правды. На Тушине сосредоточиваются все гражданские упования и симпатии Гончарова. Тушин, в противовес Марку, является нашей истинной «партией действия», в ней — «наше прочное будущее, которое выступит в данный момент, особенно, когда все это — оглядываясь кругом на поля, на дальние деревни, решает Райский, — когда все это будет свободно, когда все миражи, лень и баловство исчезнут, уступив место настоящему «делу», множеству «дела» у всех, когда «с миражами исчезнут и добровольные мученики», тогда явятся на смену им работники, Тушины, на всей лестнице общества».

Великодушный и сильный Тушин — в то же время богатый помещик и делец-практик. В этом смысле он — параллель Петру Адуеву и Штольцу, даже более: он — дальнейшая ступень в развитии этого типа — уже не чиновник и не немец. Пусть только падет крепостное право, — думает Райский, за спиной которого стоит Гончаров, — тогда во всех слоях общества явятся свои Тушины, которые возьмутся за живое,

нерутинное дело устроения русской народной и общественной жизни.

У Гончарова нет, таким образом, скептицизма или равнодушия по отношению к вопросам личной и общественной свободы, понимая последнюю в самом широком смысле. Наоборот, отношение его к этим вопросам было таково, что можно смело говорить об его искреннем и внутренно-деятельном сочувствии идеям и принципам, которые можно назвать передовыми для той эпохи. Но для него, «думавшего образами», воплощение этих идей в жизни, в формах, казавшихся ему уродливыми, было равносильно оскорблению артиста, который видит профанацию искусства в толпе, и в своем гневном негодовании он провел слишком резкую грань между собой и той «партией действия», к какой причислял себя Марк.

По многим принципиальным вопросам между Гончаровым и Марком не было существенного различия, и «старая» правда его, во всяком случае, была не очень старая, гораздо моложе правды фамусовского кружка или героев Гоголя. Оставляя в стороне коренное различие в способах «действия» и принадлежность к двум разным поколениям, как причины естественные и исторические, станет совершенно понятным то утверждение, что Гончаров, с его верой в прогресс и науку, с его признанием начал свободной жизни, с его отношением к факту освобождения крестьян, отчетливо выраженном в его авторской исповеди, был весьма близок в своем миросозерцании, к умеренной, но несомненно, либеральной части нашего общества.

XXXI

Отражение общественных взглядов Гончарова в полемике с «новой правдой» Марка Волохова. — Отзыв Гончарова о «новых людях» в романе «Что делать?« — Волохов, как полемический ответ

Гончарова современной публицистике. — Из воспоминаний Головачевой-Панаевой.

Марк — не из этого общества, но с Марком-то и произошло недоразумение у Гончарова.

Марк поразил художника внешней грубостью и своего рода циническим фатовством в проявлении своей, если можно так выразиться, новой идейности. Он воровал яблоки, зачитывал книги, брал без отдачи деньги, не веровал в губернатора и полицию, — за этими признаками, из которых только последний разве можно было бы отнести на долю «типа», Гончаров не усмотрел родовых черт народника-нигилиста шестидесятых годов. Значительно позже, в авторской исповеди, Гончарову пришлось дать неловкое объяснение по поводу Марка. По этому объяснению, писатель в лице Марка менее всего хотел охарактеризовать молодое поколение, «которое бросилось навстречу реформе и туда уложило все силы». Земские деятели, работники на поприще крестьянской реформы, жадно учащаяся молодежь, публицисты — «неужели это все Воловы?!» — восклицает Гончаров.

«Нет, — отвечает он сам, — это не Волоховы, а представители новой правды, воцарившейся с освобождением крестьян и с другими великими реформами, внесшими новую жизнь в русское общество».

Но в жизни, — замечает Гончаров. — рядом с правдой уживается ложь: представителем этой новой лжи и явился Волохов. Таково объяснение писателя.

Искусственность его сказывается сама собою.

Мы теперь знаем, кто были истинные представители той «новой правды», кто были те «новые люди», расплывчатым изображением которых явился Марк Волохов. «Новая правда была определенно и резко заявлена радикальным кружком «Современника» с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым во главе. Она была провозглашена во второй половине

пятидесятых годов, как лозунг рационально поставленного мировоззрения, соответствовавшего тому установлению нового порядка вещей, первым актом которого должно было явиться освобождение крестьян. Новое мировоззрение в основу свою полагало такие социально-этические начала, которые не столько страшили Гончарова своим существом, сколько картиной грядущего переворота, перспективой бурных потрясений, нарушением установившихся традиций и форм. Страшные призраки надвигавшейся, как ему казалось, бури настолько волновали его своей внешней, чисто зрительной стороной, что под нею он не разглядел той социально-этической сущности, которая покоилась на им же признаваемых началах разума, справедливости и свободы. Поэтому-то носители новой идеологии внушали ему отвращение и ужас.

Он боролся с ними в романах, он боролся с ними и в жизни, как цензор. Сохранился драгоценный документ из эпохи цензурной деятельности Гончарова, в котором его общественно-политические взгляды выразились наиболее положительным образом, без художественных обобщений и уклонов. Это — отзыв Гончарова по поводу статьи Писарева «Новый тип», заключающей в себе обширный разбор только что появившегося тогда (1865) романа «Что делать?» Сдержанный и осторожный в людских отношениях, но решительно не скрывавший своих мнений, когда представлялась необходимость высказывать их по существу, Гончаров с небывалой дотоле ясностью раскрыл и глубину своего понимания умственных течений современности и степень своего общественного интереса к ним. Как совершенно верно заметил г. Военский, опубликовавший упоминаемый отзыв, «цензор здесь слился с писателем, и официальный характер литературной критики дает лишь особенный оттенок этому отзыву, выражающему истинный взгляд Гончарова, а не про-

стую канцелярскую отписку, в который не участвуют ум и сердце».[64]

Вот что писал Гончаров в своем отзыве, представлявшем собою собственно возражения на доклад цензурного комитета, подвергшего статью Писарева уничтожающему разбору и требовавшего применения к ее автору крутых репрессивных мер. Здесь все характерно: и признание у Писарева «ума и дарования», и мысль, что с писаревскими мнениями надлежит бороться по преимуществу «здоровой критикой», а не карательными мерами, и несомненное, невольно пробивающееся стремление представить «дерзостную» статью Писарева, как нечто, заслуживающее серьезного правительственного внимания и расправы. Гончаров трогательно признается, что, принимаясь судить рецензента романа «Что делать?», он не читал последнего, и суждения свои о вредном влиянии романа ограничил выписками, приведенными Писаревым.

Относясь с явным несочувствием к идеям материалистического направления, Гончаров обнаруживает, тем не менее, редкое беспристрастие и старается извлечь из статьи Писарева все доводы, которые могли быть приведены в пользу ее автора.

«Наиболее обращающая на себя внимание цензуры в рассматриваемой книге статья — «Новый тип» г. Писарева — представляет поразительный образец крайнего злоупотребления ума и дарования. Она бы, конечно, вызвала громовое опровержение здравой критики, если б парадоксы и софизмы Писарева оказались хоть несколько состоятельными перед судом зрелого анализа, а увлечения его не носили бы слишком явного отпечатка школьного либерализма.

---

[64] Военский, К. «Гончаров-цензор», «Русский Вестник» 1906, октябрь, стр. 578—583.

«Не стоило бы и карательной цензуре относиться строго к этому буйно-младенческому лепету, но в большинстве публики найдется, конечно, не мало молодых мечтателей, которые не отнесутся так легко к увлечениям Писарева и, пожалуй, примут их на веру, и притом статья «Новый тип» принимается цензурой не отдельно сама по себе, а в совокупности с общим направлением всего журнала, в котором она составляет яркую характеристичную черту.

«Статья «Новый тип» есть ни что иное, как огромная рецензия романа Чернышевского «Что делать?», исполненная страстного увлечения и глубокого уважения и к автору, и к его произведению.

Поэтому г. цензор рассматривает статью совокупно с романом: такое воззрение было бы рационально во всяком другом случае, но с цензурной точки зрения оно имеет то неудобство, что препятствует определить, в чем состоит нарушение правил печати не Чернышевским, в романе «Что делать?», а собственно г. Писаревым в статье «Новый тип».

Так, например, г. цензор говорит, что «семья, по их (т. е. автора и критика) учению, должна быть заменена коммуной, в виде мастерской, где живут вместе мужчины и женщины без всякого ограничения каким бы то ни было нравственным принципом».

Я не читал романа «Что делать?», а потому не знаю, есть ли этот вывод там, но в статье Писарева я его не нашел. Он восхищается устройством «швейной мастерской» и объявляет, «что цель устройства та, чтобы прибыль делилась поровну между работницами и расходовалась экономическим образом, чтобы вместо маленьких квартир нанималась одна большая, чтобы съестные припасы покупались не по мелочам, а оптом».

«Вот почти все, что сказал Писарев о швейных мастерских; о сожительстве же женщин с мужчинами в коммуне он не

говорил ни слова. Очевидно, что, говоря о рабочих мастерских, он увлекается теориями ассоциаций Лассаля и Шульце-Делича и потому говорит о них открыто. Собственно же в коммунистических воззрениях обвинить его на основании этой статьи нельзя, а можно только подозревать, что он им сочувствует, по тону уважения, с которым он отзывается о Роберте Оуэне и Фурье.

Точно также автор ловко замаскировал в приводимой г. цензором выписке, свою выходку против всего, что не покоряется личному уму нового человека, разумея, конечно, тут и религию, но об этом можно только догадываться по некоторым намекам, но не настолько определенным, чтобы их можно было формулировать в предостережение, как намеки на полное безверие, по выражению г. цензора.

Но, оставляя в стороне коммунизм и безверие, я нахожу в статье «Новый тип», согласно с мнением г. цензора, и другие, указываемые им случаи нарушения правил печати.

Автор статьи делит современное общество на две группы: «ветхих людей» и «новых людей». Новыми людьми он называет воплощение идеалов Чернышевского по его роману «Что делать?», а ветхими — всех остальных. К новым людям он причисляет пока только тех немногих людей, которые исповедуют начала общественного порядка, нравственности, семейных отношений и проч., развиваемых в романе «Что делать?» и называет этих людей «лучшею частью общества», а потом, с юношескою наивностью, рисует уже будущие поколения, воспитанных в духе начал Чернышевского. Идеал людей — любовь к труду и истекающая из того всеобщая честность, всеобщая любовь друг к другу, потому что эксплуатация исчезнет, один не будет стараться поживиться на счет другого, доктор будет посещать больного не для собирания денег, а для помощи больному и для решения вопроса науки у его изголовья, и будет его любить, а тот, зная это, со своей стороны проникнется любовью к нему и т. д.

Новый человек проникнут таким самоуважением, что если сделает «гадость, которая произведет в нем разлад», то сойдет с ума, или решится на самоубийство, и что это самоуважение крепче тех перил, которые отделяют старых людей от разных мерзостей. «Ветхие люди», говорит автор, только и делают, что «грешат и каются: и неизвестно, когда грешат и когда каются».

«Г. цензор уже показал, как относится автор к господствующему понятию о «труде и вознаграждении», которые, по мнению Писарева, находятся в обратном отношении друг к другу: т. е. чем меньше труда, тем больше вознаграждения, что на одном конце лестницы сидит праздность, а на другом бедность, и что от этого происходит весь разлад и неурядица в мире, т. е. раздоры, разврат, пресыщение и все материальные и моральные страдания.

В мнении цензурного комитета приведено также и оригинальное заключение автора о филантропии, которая, по его словам, развращает и благотворителя, и благотворимого. Вследствие этого, — говорит он, — не богадельня, а мастерская должна обновить человечество. Самая лучшая палата может только сберечь доходы страны, а хорошие мастерские могут удесятерить этот доход, увеличить богатство, образованность и всеобщее благоденствие. Прежние люди искали карьеры, положения, а новые ищут, прежде всего, труда по душе и по силам, и нашедши, трудятся со страстью, наслаждаются всеми благами и «когда все на земном шаре будут любить свое дело, тогда все будут новыми людьми, тогда не будет ни бедных, ни праздных, ни филантропов, тогда действительно потекут молочные реки в кисельных берегах».

«Эта юношеская идиллия стоила бы, конечно, улыбки, а не карательной меры, если б она была единственным выводом юного и не созревшего писателя. Но, кроме того, что он подходит к этому выводу, затрагивая, как показано в докладе Цензурного Комитета, неосторожно, по следам Чернышевского,

своего учителя, новые социальные доктрины, он, наконец, рукоплещет ниспровержению Чернышевским господствующих основ — нравственности и семейных начал. Он приветствует, как зарю новых семейных, свободных отношений, такую проделку, послужившую сюжетом романа «Что делать?» (как видно из статьи Писарева), за которую, по уголовным законам, определены тяжелые наказания.

«Герой романа, замечая, что не может сделать жену свою вполне счастливою, совершает мнимое самоубийство, а жену передает приятелю, за которого она и выходит замуж; сам же уезжает в Америку, женится там на другой, является через несколько лет назад и живет с прежней женой и с мужем в совершенном согласии.

«Кто в положении Лопухова (мужа), — говорит Писарев, — сделает меньше, тот перестанет быть честным человеком.

«Защищая учение Чернышевского, Писарев говорит: «Тут дело идет не о романе, не о г. Чернышевском; тут надо отстоять от тупой и злонамеренной клеветы тот тип людей, который один может освежить жалкую рутину нашей бессмысленной жизни».

«Я ограничусь этими указаниями в статье, пропитанной всеми теми воззрениями, которые здоровое большинство общества назовет нигилистическими.

«В нижеследующем проекте предостережения я полагал бы нужным привести мотивы в наиболее общих выражениях, чтобы избежать по возможности, сопоставления статьи «Новый тип» с романом Чернышевского, пропущенным, по какой-то неосмотрительности, бывшею предварительною цензурою; в противном случае, карая автора романа и критика вместе, пришлось бы карать в то же время и самую цензуру».

Таков же Гончаров и в романах.

Насколько сбивчиво и неполно отношение Гончарова к материалистическому направлению в только что приведен-

ном нами отзыве, настолько поверхностна и искусственна данная им мотивировка Марку Волохову в романе. Гончаров далеко стоял от новейших веяний жизни и насколько недостаточно знал истинную сущность новой, если не правды, то программы современного ему молодого поколения, видно из его неудавшейся попытки представить это поколение образом Тушина. Но можно ли поверить объяснению писателя, что такая цель была у него во время писания «Обрыва», когда у Тушина нет ни одной характерной черты типа, о котором мы говорим? Борьба Райского, положительного, по мысли Гончарова, героя «пробуждения», с Марком ведется исключительно из-за Веры; не будь этого мотива, Райский и Марк не нашли бы между собой принципиальных поводов для разлада и, наверное, были бы друзьями, что противоречило бы, вероятно, признанию за Марком типичности только по отношению к некоторой, меньшей и ложно направленной части молодежи начала шестидесятых годов.

Гораздо проще объяснить себе дело так, что в образе Марка Гончаров попытался дать ответ на упреки критики в отсутствии чуткости и общественном индифферентизме и, вместе с тем, выразить свое мнение о тех из новейших течений в молодежи, которые приводили к таким, по его мнению, печальным и уродливым явлениям, как самозванный проповедник вредных идей — Марк Волохов. Как ни замыкался Гончаров в тесный круг кабинетной работы, жизнь его «трогала», а известность, как писателя, была слишком велика, чтобы создание «Обрыва» могло совершиться так же незаметно, как создание «Обыкновенной истории», даже «Обломова». Весьма возможно, что Гончарова раздражал и успех романов Тургенева, к славе которого он был, как мы знаем, весьма чувствителен, и он знал, что успех этот основывался в значительной степени на чуткости соперника к нарождающимся явлениям русской жизни. И, не имея в душе задатков

художнического влечения к постепенному, медленному и любовному созданию этого типа, Гончаров присочинил его умом и воспользовался им, как мишенью, для выражения своего раздражения и досады. Вместо последовательной детальной обрисовки типа, он принял на себя роль моралиста, в одно и то же время обвинителя и судьи, и тон его речи, неторопливой и плавной, сплошь образной, сделался рассудочнее и суше. Последняя страница — сплошное pro domo sua самого Гончарова, хотя, по привычке, оно и высказывается от имени Райского. К последнему менее всего идет роль обличителя, навязываемая ему здесь Гончаровым, но зато становится совершенно понятным негодование самого писателя, которому критики, в роде Писарева или Шелгунова, не давали покоя, требуя определенных общественных тенденций и ясно выраженных нравственных принципов. «У большинства, — отвечал им Райский за Гончарова, — есть decorum принципов, а сами принципы шатки и редки, и украшают, как ордена, только привилегированные отдельные личности. У него есть правила! — отзываются таким голосом о ком-нибудь, как будто говорят: у него есть шишка на лбу».

Другой пример еще разительнее. «Я уйду», говорил он ей («честно») и уходил, но оборотился, принял ее отчаянный нервный крик «прощай» за зов!»... Это «честно» мог сказать лично задетый человек, но не художник, представляющий моральную квалификацию поведения своего героя читателям и ограниченный в своих суждениях о нем внутренними законами творческой изобразительности. Последние не подлежат спору, тогда как первая является делом индивидуальных взглядов и низводит художественное «представление» до степени «суждения» обыденной оценки. В конце романа, морализируя по поводу «падения» Веры, Гончаров обрушивается на молодое поколение и отчитывает его, в лице Волохова, строгим назидательным тоном. «Из логики и честности» — го-

ворило отрезвившееся: его отрезвившееся от пьяного самолюбия сознание — «ты сделал две ширмы, чтоб укрываться за них с своей «новой силой», оставив бессильную женщину разделываться за свое и твое увлечение, обещав ей только одно: « уйти, не унося с собой никаких «долгов», «правил», и «обязанностей»... оставляя ее нести их одну... «Ты не пощадил ее «честно», когда она падала в бессилии, не сладил потом «логично» с страстью, а пошел искать удовлетворения ей, поддаваясь «нечестно» отвергаемому своим «разумом» обряду, и впереди заботливо сулил — одну разлуку! Манил за собой и... договаривался! «Вот, что ты сделал!..»

Ясно, что Гончаров видит здесь в им же созданных образах Марка и Веры не типические явления, но конкретно, по-бытовому представляемых людей, к которым могут быть применимы обычные, бытовые мерки личных чувств и суждений.

«И, пожалуй, засмеялись бы над тем, кто вздумал бы серьезно настаивать на необходимости развития и разлития правил в общественной массе и обращении их в принципы — так же настоятельно и неотложно, как, например, на необходимости неотложного построения железных дорог. И тут *же не простили бы ему малейшего упущения в умственном развитии*: если б он осмелился не прочесть последнего французского или английского, наделавшего шуму, увража, не знал бы какой-нибудь новейшей политико-экономической аксиомы, последнего фазиса в политике или важного открытия в физике». Райскому обращать подобные речи, хотя бы мысленно, было не к кому и не для чего, но логика их от лица Гончарова, которого все обвиняли, что он отстал от века и не следит за новыми течениями общественной и умственной жизни, совершенно понятна. По-своему, он сделал уступку общественному мнению и заодно дал отповедь назойливым критикам из журналов

и публики, выводившим его, из обычного кабинетного самонаблюдения и зарисовывания, на арену широкой общественной деятельности, требующей отзывчивости и подвижного нервного темперамента.

Недоразумение с Марком Волоховым имело и еще одно объяснение: недостаточность научной подготовки Гончарова для того, чтобы уяснить сложную и противоречивую картину борьбы умственных и социально-политических течений, совершавшейся в его время.

А. Я. Головачева-Панаева, рассказывая о громадном успехе «Обыкновенной истории», когда стали разузнавать настоящую и прошлую жизнь писателя, причем были недовольны сдержанностью Гончарова, — заносит, между прочим, такой факт: «Тургенев объявил, что он со всех сторон «штудировал» Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром, и его не интересуют никакие общественные вопросы: «он даже как-то боится разговаривать о них, чтобы не потерять благонамеренность чиновника»[65].

Конечно, к отзывам Тургенева в данном случае нужно относиться особенно осторожно; нам уже известно, как оба они были болезненно самолюбивы в вопросе о литературной известности. Но некоторая правда, думается нам, была в словах Тургенева. Припомним замечание Еленева о Гончарове, читавшем, в качестве цензора, его рукопись: «Гончаров, с похвальным усердием ревнуя к букве закона, неумолимо крестил все, как то, что, действительно, может возбуждать некоторое сомнение, так еще более то, в чем не может быть никакого сомнения, пропуская только то, где именно были

[65] Головачева-Панаева. «Русские писатели и артисты. Воспоминания». Спб., 1890.

самые опасные пункты: слона-то он и не заметил. По-видимому, он весьма мало владеет нашею исторической литературой, не говоря уже о текущей политике».

Отзыв этот в значительной степени подтверждается данными сочинений Гончарова.

Мы еще вернемся к Марку Волохову по вопросу о том, насколько типичен этот образ с точки зрения психологической и художественной правды. Теперь же для нас весьма важен тот факт, что при каких бы то ни было обстоятельствах ни был создан тип Марка Волохова и относящаяся к нему часть сюжета, — на них с наибольшей яркостью отразилась субъективность писательской натуры Гончарова и существеннейшие его черты несколько расплывчатого, но определенного по колориту миросозерцания. Эта определенность колорита была в ближайшей зависимости от глубины и качества его блестящего художественного дарования.

XXXII

Характеристика таланта Гончарова, сделанная Добролюбовым и Протопоповым. — Райский, как воплощение взглядов Гончарова на искусство. — Жизнь и творчество. — Роль фантазии. — Страсть, ее значение в творческой работе Гончарова.

Художественное дарование Гончарова было в свое время охарактеризовано в статьях Добролюбова и г. Протопопова.[66]

«Нам кажется, что в отношении к Гончарову более, чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведений, — писал Добролюбов. — Есть авторы, которые сами по себе берут этот труд, объясняясь с читателем относительно

[66] Добролюбов, Н. А., Протопопов, М. См. выше.

цели и смысла своих произведений. Иные и не высказывают категорически своих намерений, но так ведут свой рассказ, что он оказывается ясным и правильным олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьет на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять их ... Зато плодом чтения их бывает более или менее полное (смотря по степени таланта автора) *согласие с идеей*, положенною в основание произведения. Остальное все улетучивается через два часа по прочтении книги. У Гончарова совсем не то. Он вам не дает и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа; это уж ваше дело: ошибетесь — пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью, а там уж ваше дело определить степень достоинства изображенных предметов: он к этому совершенно равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придает наибольшую силу и прелесть. Тургенев, например, рассказывает о своих героях, как о людях, близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ним, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которою любит всегда окружать их... И его увлечение заразительно: он неотразимо овладевает симпатией читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица. И пройдет много времени — читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями происшествий, упустить из виду характеристику отдельных лиц и положений, может,

наконец, позабыть все прочитанное, но ему все-таки будет памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, которое он испытывал при чтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его неподатлив на впечатления. Он не запоет лирической песни при взгляде на розу и соловья; он будет поражен ими, остановится, будет долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процесс в это время произойдет в душе его, этого нам не понять хорошенько... Но вот он начинает чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь в неясные еще черты... Вот они отделяются яснее, яснее, прекраснее... И вдруг, неизвестно каким чудом, из этих черт восстают перед вами и роза, и соловей, со всей своей прелестью и обаяньем. Вам рисуется не только их образ, вам чуется аромат розы, слышатся соловьиные звуки. Пойте лирическую песнь, если роза и соловей могут возбуждать ваши чувства; художник начертил их и, довольный своим делом, отходит в сторону; более он ничего не прибавит... «И напрасно было бы прибавлять, — думает он: — если сам образ не говорит вашей душе, то что могут вам сказать слова?»...

«В этом умении охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его — заключается, — продолжал Добролюбов, — сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он превосходит всех современных русских писателей. Из нее легко объясняются все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность — во всякий данный момент остановить летучее явление жизни, во всей его полноте и свежести, и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи от других предметов, и опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа. Так проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у художника: он умеет

уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже, выражение их страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он старается вызывать и отыскивать всюду, в возможно полном и живом его выражении поставляет свою главную задачу, на него по преимуществу тратит свою художническую силу. Так являются художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмою господствующего в них самих настроения. Так, у одних все подчиняется чувству пластической красоты, у других по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных во всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные стремления и т. д. Ни одна из таких сторон не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствие и полнота поэтического миросозерцания. Он ничем не увлекается исключительно, или увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороной предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и равная доля внимания ко всем частностям рассказа».

Сжато, но выразительно определяет свойства художественного дарования Гончарова и г. Протопопов.

«В распоряжении Гончарова имелись все чисто-эстетические, художественные ресурсы, и это не преувеличение. Верность действительности? Но это — элементарное достоинство, которым обладают даже третьестепенные таланты и без которого не может быть искусства. Живость и яркость изображения? Но знаменитый сон Обломова давно и по праву занял одно из первых мест в русской галерее литературной живописи. Типичность образов? Если бы Гончаров создал одного только Захара (Обломов), то и этого было бы достаточно, чтобы признать за ним эту способность. Глубина и тонкость психологического анализа? Но первая часть Обломова лишена всякого движения, не только в смысле развития фабулы, но просто даже в смысле физического движения: Обломов лежит, Захар еле двигается, действие или, вернее, бездействие происходит в четырех стенах, и, тем не менее, читатель ни разу не почувствует скуки, не заметит монотонности рассказа, благодаря именно метким, тонким и мелким психологическим штрихам, рассеянным буквально на каждой странице. Юмор? Гончарову нельзя не улыбнуться, например, над этой барышнею (Обыкновенная история), которая так отлично училась, что на вопрос: «какие суть междометия страха или удивления?» — вдруг, не переводя духу, проговорила: «ах, ох, эх, увы, о, а, ну, эге!» Или, припомните Захара, заливавшегося горючими слезами от «жалких слов» увещевавшего его барина, или Марфиньку (Обрыв), которая не утерпела надеть на себя именинные подарки и, сидя на своей кровати, в одной рубашке, но в бриллиантовых серьгах и золотых браслетах, плачет от восторга. Единственное качество, которого совершенно был лишен Гончаров, это — лиризм или пафос, которым так богаты Гоголь, Достоевский, Лев Толстой и даже Салтыков, смех которого прерывался иногда настоящими рыданиями»...

Но опять-таки самые подробные и отчетливые внешние определения художественного дарования Гончарова бледнеют перед той характеристикой, которую сделал он сам в своих романах, в тех рассуждениях и образах, где воплотились его взгляды на творчество, художника и искусство вообще. В этом отношении полнее всего они выразились в «Обрыве».

Если условно предположить, что в Петре Ивановиче Адуеве выразилась деловая, служебная сторона личности Гончарова, в Обломове — домашний обиход, отвечавший его склонности к мечтательному покою и ревнивому обереганию личной жизни от толчков и вторжений извне, то в образе Райского нашел себе выражение наиболее важный и возвышенный элемент — воплощение художнической натуры писателя. От этого воплощения нельзя, конечно, требовать всесторонней полноты и фактической точности; многое в нем является плодом творческого измышления художника, но, с другой стороны, в нем нет ни одной психологической детали, которая была бы введена с преднамеренным умыслом нарушить автобиографическую близость, ни основной черты, которой нельзя было бы разыскать, с теми или иными изменениями, в аналогичных типах других романов или в собственных воспоминаниях Гончарова. Здесь мы не будем останавливаться на сравнительной характеристике Гончарова и Райского, как и на том общественном значении, какое придавал ему Гончаров в качестве героя «пробуждения». Непосредственный интерес заключается для нас в тех общих, преимущественно внешних приемах, из которых складывается представление о Райском, как о художнике, и в которых, можно думать, отразилась личность самого Гончарова.

Райский — несомненный художник в душе и поэт по натуре. У него природный эстетический вкус и чуткая отзывчивость на все прекрасное, где бы оно ни встречалось — в жизни, в природе, в искусстве. Он наделен чрезвычайно тон-

кой и нервной организацией, в высшей степени чувствительной ко всякому внешнему восприятию и податливой на впечатления, — оттого в нем так неожиданны переходы от одной противоположности к другой, совершающиеся, впрочем, легко, без болезненных разочарований и недовольства собою.

Фантазия играет выдающуюся роль в творческом процессе; по высоте ее полета иногда можно судить о степени таланта художника. Райский наделен пылкой фантазией, но это фантазия особого рода. Она не поднимается высоко от земли, не создает сверх естественных образов, поражающих мысль и чувство своею грандиозностью или причудливостью сочетаний; она носится над жизнью невысоко, редко залетает дальше тех стран, куда доносит ее читаемая книга, и, отражая ее, раздвигает это изображение вширь, растягивает и обобщает конкретные явления. От этого в творческом сознании Райского жизнь не столько является действительностью, в ее реальной сущности, сколько творческой материей, «эластичной», ежеминутно принимающей те или другие формы. Нет точной границы между жизнью и творчеством: жизнь незаметно переходит в него, по представлению Райского, — но и вне творчества точно также нет жизни. «Он все чего-то ждал впереди — не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские, роскошные наслаждения, видя тот мир, где слышатся звуки, где все носятся картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, как в тех книгах, а не та, которая окружает его». На вопрос Татьяны Марковны, что он пишет по ночам, Райский искренно отвечает, что он и сам не знает: хочет писать жизнь — выходит роман, начнет писать роман — выходит жизнь... Невольно при этом вспоминается и Обломов, грустивший о том, что сказка не жизнь, а жизнь — не сказка...

Свое отношение к жизни Райский переносит и в область искусства; он так же смеется и плачет по поводу им же вы-

званных образов, так же страдает и радуется, живет их радостями и скорбями, как и в том случае, если бы эти образы стали живыми людьми, и он был бы связан с ними узами живого непосредственного участия в их положении и делах.

В Обрыве» есть, между прочим, такая сцена: зубоскал Егорка заглядывает сквозь дверную щель в комнату Райского в то время, как Райский, увлеченный страстным желанием воплотить жизнь в творческие формы, набрасывает страницы для будущего романа и весь отдается ощущениям своих героев. Егорка видит нечто странное и делится шепотом своими впечатлениями с дворовыми.

Все смотрели по очереди в щель.

«Глядите, глядите, как заливается, плачет никак! — говорил Егорка, толкая, то одну, то другую к щели.

Взаправду плачет, сердечный! — сказала жалостно Матрена.

Да не хохочет ли? — И так хохочет! Смотрите, смотрите!

Все трое присели и все захихикали»...

А вот что рассказывает очевидец о своих встречах с Гончаровым:

«В другой раз я видел Гончарова другим человеком, в третий — третьим, уже совсем не похожим на первого и второго, и чем больше в него всматривался, тем больше казался он мне непонятным и неуловимым: он по-петербургски мог в одно и то же время смеяться и плакать, шутить и важно говорить. Все это, конечно, оттого, что так счастливо сложилась его жизнь»...

Объяснение довольно искусственное, но факт сам по себе любопытный...

Искусство и жизнь являются у Райского рядом не случайно, Автобиографический элемент — необходимое условие его творчества. По понятиям Райского, написать роман значит слить свою жизнь с тем, что, по выражению Гончарова, к ней прирастало: «смешать свою жизнь с чужой, занести эту массу

наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств»... Свои художнические требования Райский переносит в жизнь и на последнюю смотрит почти исключительно с эстетической точки зрения, радуясь тем явлениям, на которых лежала печать красоты, и оскорбляясь разладом действительности с идеалом. В творческом процессе Райский блаженствует и мучится в одно и то же время — «радостями и муками и человека, и художника, не зная сам, где является один, когда исчезает другой, и когда оба сливаются». Подмечая в отношениях к нему Веры насмешливые нотки, он огорчается до глубины души не только как влюбленный, чувствующий в тоне ее речей насмешку над его любовью, но и как художник, обманутый в своих стремлениях к идеалам, в попытках воплотить в стройном создании высочайшие порывы своих дум. «Он стал писать дневник. Полились волны поэзии, импровизации, полные то нежного умиления и поклонения, то живой, ревнивой страсти и всех ее бурных и горячих воплей, песен, мук, счастья»...

Самый процесс работы был в высшей степени увлекателен для Райского, «как процесс неумышленного творчества, где перед его глазами пестрым узором неслись его собственные мысли, ощущения, образы»... Жизнь неизменно вторгалась в его работу и напоминала о себе конкретными образами. «Листки эти, однако, мешали ему забыть Веру, чего он искренно хотел, и питали страсть, т. е. воображение»...

Последнее пояснение особенно важно. Страсть здесь является в том высшем значении, которое уже было отмечено нами. Поднимаясь над жизнью, порождая мечты и порывы к идеалу, она переходит в кипение творческих сил и знаменует собою то особое возвышенно-тревожное и просветленное состояние духа, при котором жизнь представляется лучшею, чем она есть в действительности, и куда отрадно уйти от суеты и забот реального переживания повседневных будней. Такое

состояние духа в прежнее время любили обозначать классическим именем «пафос»; относительно Райского это слово не теряло своего прежнего значения.

В трезвые минуты, когда Райский спускался с облаков и умел находить для своей речи выражения ясные и точные, он объяснял тайну творчества значительно проще. «Все зависит от красок и немногих соображений ума, яркости воображения и своеобразия во взгляде. Немного юмора, да чувства, и искренности, да воздержанности, да... поэзии... да еще одно, — спохватывается Райский, — это — талант»... В поэзии, в таланте был весь секрет творческой натуры Райского; в Александре Адуеве все было, кроме таланта, и оттого все его творческие усилия не приводят ни к чему. «В тебя вложили побуждения, и самое творчество, видно, и забыли вложить», говорит ему Петр Иванович. Если «самое творчество», талант, поэзия является могучей, самодовлеющей и таинственной силой, не поддающейся внешнему учету, то в ряду соображений ума на первом плане стоит непосредственное наблюдение, способность инстинктивно угадывать наиболее характерную черту наблюдаемого явления. В стремлении уловить сложные и разнообразные впечатления жизни, отражающиеся в душе художника, Райский от разговоров с окружающими его людьми бросается к своим тетрадям и лихорадочно исписывает их эскизами, заметками, сценами и речами. Собирая материалы для будущего романа, Райский не упускает из виду ни одной детали, ни одного ощущения, в котором отдавал себе отчет, как художник. «Сцены, характеры, портреты, родных, знакомых и друзей, женщин переделывались у него в типы, и он исписал целую тетрадь, носил с собой записную книжку, и часто в толпе, на вечере, за обедом, вынимал клочок бумаги, карандаш, чертил несколько слов, прятал, вынимал опять и записывал, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полуслове»... Бросаясь от ощущения к

ощущению, Райский, по словам Гончарова, ловил явления, берег и задерживал впечатления почти силою и все чего-то искал, к чему-то стремился, комбинируя и соображая. В папках Райского были самые разнообразные материалы, лирические излияния, налету схваченные выражения, юношеские опыты, даже чужие письма. «Райский пришел к себе и начал с того, что списал письмо Веры слово в слово в свою программу, как материал для характеристики»... В кратком очерке изобразил и Тычкова Райский в программе своего романа, и сам не знал — зачем»...

Все это было лишь подготовительной работой для творчества, которое должно наступить, казалось Райскому, впоследствии. Отдаление от пережитых впечатлений и ощущений представлялось ему необходимым условием художественности изображения. «Потом, — говорил он, — вдалеке, когда отодвинусь от этих лиц, от своей страсти, от всех этих драм и комедий, — картина их виднее будет издалека. Даль оденет их в лучи поэзии; и буду видеть одно чистое создание творчества, одну свою статую, без примеси реальных мелочей»...

Таким является Райский, как художник-дилетант, и подобных ему, по воспоминаниям Гончарова, было немало в современном ему обществе. Он даже называл их по именам: то были гр. Виельгорский, Тютчев, кн. Одоевский. По глубине таланта Гончарова нельзя поставить с ними на одном уровне, но по художническим приемам, по отношению к процессу творчества и по взглядам на искусство Гончаров мог к отмеченным параллелям прибавить и свое имя.

XXXIII

(Взгляды Гончарова на искусство). — Две категории художников. — Избыток фантазии и таланта над идейной стороной художественного замысла. — Процесс творческой работы Гончарова. — «Застой и скука жизни»» как основной предмет его изображений. — Переход жизни в творчество.

В своей авторской исповеди Гончаров проводит границу между двумя типами художников: у одних ум преобладает над фантазией и чувством, — «тогда идея высказывается нередко помимо образа, и, если талант не силен, она заслоняет образ и является тенденцией». Создания таких писателей бывают нередко сухи, бледны. Они учат и уверяют более, чем шевелят воображение и чувство. Сочувствие Гончарова было не на их стороне.

У других — наоборот: избыток фантазии и таланта над умом заставляет образ поглощать в себе значение, идею, но зато картина говорит за себя и таит в себе сокровенный смысл, неясный вначале самому художнику и раскрывающийся позже с помощью тонких критических истолкователей, «какими были Белинский и Добролюбов».[67]

---

[67] «Гончаров в неизданных письмах к гр. П. А. Валуеву». См. выше. — Любопытное признание относительно писания с натуры сделал Гончаров в письме 9 марта 1888 г. к Д. Л. Кирмаловой: «Прекраснейшая Дарья Леонтьевна. На днях я послал на Тальцинскую станцию обещанную мною статью «На родине»... Читая ее, помните, что там, в статье, не все так написано точь-в-точь, как было на самом деле. Кое-что прибавлено, кое-что убавлено, иное прикрашено или изменено. Целиком с натуры не пишется, иначе ничего не выйдет, никакого эффекта. Все равно, что сырую говядину на стол подать. Словом — надо обработать, очистить, вымести, убрать. Лжи никакой нет: многое взято верно, прямо с натуры, — лица, характеры, например, крестного Якубова, губернатора и других, даже разговоры, сцены. Только кое-что украшено и покрыто лаком, эго и называется художественная обработка. Поездка с пьяным чиновником до Петербурга и многое другое почти целиком фотографически сняты с натуры. — Так и объявите всему вашему дому перед тем, как станете читать, если только станете». М. Суперанский, 1908, декабрь, стр. 437. — В письме к Валуеву 6 июня 1877 г. Гончаров пишет о том же: «У действительности свои законы, а у искусства свои... Художнику без психологии нельзя сделать ни одного верного

шага, несмотря на всю верность фактов». Адвокат «ищет правды в душах своих клиентов, а художнику не нужно и этого, ибо он должен писать не с события, а с отражения его в своей творческой фантазии, т. е. должен создать правдоподобия, которые бы оправдывали события в его художественном произведении. До действительности же ему мало дела». Когда сюжетом произведения является действительное событие, то художник-автор прежде всего должен «исключать все личное, все портреты, заменить их типами». Не воспроизводя фактической правды, не фотографируя событий и лиц, художник-реалист, тем не менее, изображает действительность, как он ее понимает: «как пруд в саду, отражает верно только то, что видит, знает, переживает, т. е. то, что глядится в этот пруд, будь это деревья, ближайший холм, клочок неба и т. п. и что потом перерабатывается в его фантазии. Следовательно, ему нельзя ни задать темы, ни указать со стороны на тот или другой образ, событие, к чему не привел его самого его художнический инстинкт. Если бы он и вздумал для какой-нибудь цели сделать насилие над собой и подчиниться указанию, ничего не вышло бы из того: он не мог бы подчинить фантазию, и искусство изменило бы ему. Таким художникам необходима авторская независимость, не имеющая ничего общего с разными другими независимостями. В этом смысле, кажется, и назывались когда-то искусства *свободными*, даже *вольными* (курсив автора). Но это забыто теперь». Придавая важное значение художественной технике, Гончаров, тем не менее, отводит ей второстепенное место: «она никогда не прикроет собою и не выполнит отсутствия идей, серьезного и глубокого взгляда на жизнь и вообще скудости содержания». По поводу романов Флобера «Bouvard et Pécuchet» и Гюнемана «En ménage» он пишет: «Техника доведена до изумительной верности рисунка и, между тем, более 20 страниц ни той, ни другой книги прочесть нельзя! Нет мысли, нет цемента, никакого света и тепла! Пустота во всем этом — такая же, как пустота в головах авторов».

— Многие черты, которыми Гончаров воспользовался впоследствии при создании своих типов, списывались им с натуры. Особенное внимание сосредоточивал он на способности многих барски-воспитанных русских людей быстро воспламеняться поры-

И Райский и Гончаров принадлежат, несомненно, ко второй категории. Последний так и говорит о себе, причем сознается, что он увлекается больше всего своей «способностью рисовать». «Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым, перед собою — и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими — следовательно, вижу сцену и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все, пока разбросанные в голове, части целого. Я спешу, чтоб не забыть, набрасывать сцены, характеры на листках, клочках — и иду вперед, как будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (как начало в «Обломове» и «Обрыве»), и мне самому бывает скучно писать, пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне идти. У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: он-то и ведет меня вперед — и по дороге я неча-

---

вом и столь же быстро угасать. Подобные черты Гончаров имел возможность наблюдать в ранней молодости, накапливая из них запас ассоциаций для работы над Обломовым и Райским. Припомним его мастерскую характеристику симбирского губернатора Углицкого, которую он набросал при изображении своего переезда с ним из Симбирска в Петербург. «Для дел он не сделал ничего, ни дурного, ни хорошего, как и его предместники. Были, правда, у него порывы вроде вышеописанного: разогнать немного тьму, прижать взяточничество, заместить казнокрадов порядочными людьми, но он был не геркулес, чтобы очистить эти авгиевы конюшни. Где ему? У него вдруг загорится порыв, вспыхнет, и скоро простынет»...

Если трудно представить Обломова в губернаторском ранге, то Райский, при его метании из стороны в сторону, мог бы быть губернатором не хуже Углицкого; в этой роли он оказался бы не прочь и «поприжать» кое-что из злоупотреблений, но уж «искоренить» ничего не искоренил бы, и после него, как после Углицкого, дела шли бы не хуже и не лучше, чем до него, словно бы его и не было вовсе.

янно захватываю, что попадается под руку, т. е., что близко относится к нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успевает писать, пока опять не упрусь в стену. Работа, между тем, идет в голове, лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров — и мне часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня, и мне только надо смотреть и вдумываться».

Тот же процесс с удивительной красотой самонаблюдения охарактеризовал Гончаров в своем, уже цитировавшемся нами письме к Валуеву (27 декабря 1877 г.): «Я принадлежу к числу небольших, но непосредственных художников, которые, как пруд в саду, отражают верно только то, что художник видит, знает, переживает, т. е. то, что глядится в этот пруд, будь это деревья, ближайший холм, клочок неба и т. п., и что потом перерабатывается в его фантазии. Следовательно, ему нельзя ни задать темы, ни указать со стороны на тот или другой образ, событие, к чему не привел его самого художнический инстинкт. Если б он и вздумал для какой-нибудь цели сделать насилие над собой и подчиниться указанию, ничего не вышло бы из того: он не мог бы подчинить фантазию, и искусство изменило бы ему». Не таков ли и Райский с своей погоней за впечатлениями и стремлением отдавать себе художественный отчет в том, что пережито и перечувствовано, с своей фантазией, варьирующей более воспоминания прошлого, чем творящей новые формы? «Он (Райский) закроет глаза и хочет поймать, о чем он думает, но не поймает: мысли являются и утекают, как волжские струи; только в нем точно поет ему какой-то голос, и в голове, как в каком -то зеркале, стоит та же картина, что перед глазами».

Такая работа медлительна и капризна. Она требует долгих месяцев обдумывания и многих лет исполнения. В другом письме к Валуеву (6 июня 1877 г.) Гончаров чрезвычайно

близко подошел к разгадке своей медлительности. Дело шло о некоторых недостатках романа «Лорин», которые Гончаров объяснял торопливостью: в девять месяцев Валуев написал почти весь роман. «Этот законный срок в сфере другого творчества, — шутливо заметил он, — оказывается короток для литературного чада, если принять в соображение, что литература поглощает, требует художника всего». Свою манеру писать Гончаров как бы считал общим мерилом творчества. «Пишется обыкновенно быстро, но обдумывается, обрабатывается и отделывается медленно, оглядчиво, вдумчиво, в глубоком спокойствии. Живописец отходит беспрестанно от своей картины то назад, то в сторону, становится на разные пункты, потом оставляет кисть иногда надолго, чтобы запастись новою энергией, освежить воображение, дождаться счастливой, творческой минуты. От этого и долго. Отделка половина труда, говорят, — по-моему, это — все, не только в искусстве, но и в сфере мысли. Тезисов новых нет, все дело в изложении, группировке, большей или меньшей горячности их защиты, в новом, бросаемом на них свете, в искусном его поставлении и т. д. От поспешности труда иногда страдают даже и те стороны, в которых автор так силен и непобедим, например, кое-где в вескости и определительности некоторых мыслей (pensée), афоризмов, особенно в начале (об опыте и, может быть, еще где-нибудь или о незыблемых началах в конце). Эти мысли брошены небрежно, мимоходом — очевидно, второпях, — а, они, по своей вескости и значению, должны быть огранены и вставлены, как алмаз».

Картина эта по отношению к Гончарову заключала в себе, прежде всего, его самого, а затем среду, в которой он родился, воспитывался и жил. Гончаров признается, что «все это помимо его сознания, само собою отразилось в его воображении, как отражается в зеркале пейзаж из окна». Как Райский инстинктивно схватывал в своих портретах сходство с

оригиналом, так и Гончаров писал по преимуществу инстинктом, «глядя то в себя, то вокруг». Для Гончарова важно было лишь то, чтобы образ был верен характеру. Если в этом направлении творческая работа совершается правильно и естественно, т. е. инстинктивно, то образ непременно воспримет в себя черты обобщения и типа; если же образы типичны, то в них, по мнению Гончарова, непременно отразится и эпоха, из которой они взяты: явления общественной жизни, нравы и быт. Но, стремясь к обобщению, которое было для него «второю натурою», Гончаров, по его собственному выражению, ничего не выдумывал: не он, а происходившие на глазах всех явления обобщали его образы.

«Есть два типа писателей, говорит Д. С. Мережковский в «Вечных спутниках»: — одни, как Лермонтов, Байрон, Достоевский, с жадностью и тревогой смотрят вперед, не могут ни на чем остановиться, идут к неизвестному, не любят и не знают прошлого, стремятся уловить еще не сознанные чувства, горят, волнуются, негодуют и умирают непримиренные.

Другие, как Вальтер-Скотт и Гончаров, смотрят с благодарностью назад, подолгу и с любовью останавливаются на завершенных формах действительности, предпочитают прошлое — будущему, известное — неизвестному, тихие глубины жизни — взволнованной поверхности, любуются, как на высотах меркнут последние лучи заката, и жалеют угасшего дня.

Они понимают поэзию прошлого.

В прошлом находится для Гончарова источник света, озаряющего созданные им характеры. Чем ближе к свету, тем они ярче. Бессмертные образы — бабушка, Марфинька, крепостная дворня, хозяйка Обломова, мать Адуева — все это люди прошлого, совсем или почти совсем не тронутые современностью. В переходных типах, как в Райском, в Александре Адуеве, все-таки ярче сторона, обращенная к свету, т. е.

к прошлому, к воспитанию, воспоминаниям детства, к родной деревне.

Современность представляется Гончарову серым и дождливым петербургским утром: от нее веет холодом; в ее тусклом свете потухают все краски поэзии и являются мертвые, нехудожественные фигуры, — Штольц в Обломове, дядя в Обыкновенной истории, Тушин в Обрыве.

Люди будущего кажутся призраками в сравнении с живыми людьми прошлого».

Однако, из этих явлений, которые наблюдал Гончаров, далеко не все поддавались его творческой кисти. С одной стороны, идя вслед за веком, он отражал в своей фантазии и мысли новые веяния, а с другой — под перо просились старые, устоявшиеся формы, и для него казалось необходимым отойти на значительное расстояние от предмета изображения. Трудно и, по его признанию, просто нельзя рисовать с жизни, «еще не сложившейся, где формы ее не устоялись, лица не наслоились в типы... можно в общих чертах намекать на идею; но писать самый процесс брожения нельзя». Новые люди могут отражаться, по мнению Гончарова, лишь в мелких произведениях — сатирах, легких очерках, а не в больших «эпических» романах.

В «Обрыве» есть страницы, наглядно передающие таинственный переход жизни в творчество, раскрашивание мутных и серых явлений действительности радужными красками фантазии. Одна из подобных страниц поразительна по тонкости рисунка, вышитого по ярко бьющей в глаза, хотя смягченной обобщением, автобиографической канве. Райский, не устояв против внезапно обрушившихся на него чар Ульяны Андреевны, жены Леонтия, и утешая себя тем, что у человека нет воли, а есть паралич воли, вернулся домой, с аппетитом пообедал к большому удовольствию бабушки, и почувствовал в себе позыв к творческой работе. «Эту главу (любовный

эпизод) в романе надо выпустить, — подумал он, принимаясь вечером за тетради, чтобы дополнить очерк Ульяны Андреевны... — а зачем лгать, притворяться становиться на ходули? Не хочу, оставлю как есть, смягчу только это свидание... прикрою нимфу и сатира гирляндой»... Затем Райский углубляется в свой роман. «Перед ним как будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какие-то клочки».

Но Райский недолго остается на почве художественной правды. Из-за его спины выступает Гончаров и заставляет его сделать неестественный шаг в сторону и заговорить — для Райского совершенно неожиданно — о читателях, публике, критике. Автор решительно забыл, что Райский, в качестве типа, есть только дилетант-художник, не выходивший за пределы эскизов и этюдов, что он никогда ничего не печатал и, стало быть, не имел дела ни с публикой, ни с критикой. Самому Гончарову к тому времени, когда он писал своего Райского, не раз ставили на вид, что и здесь он пишет с себя, — с его стороны было вполне естественно ограждаться от слишком пристального вглядывания в личные особенности, служившие родовыми чертами при нарастании расширенных и обобщенных черт типа. «Но ведь иной недогадливый читатель подумает, что я сам такой, и только такой! — сказал он (Райский), перебирая свои тетради: — он не сообразит, что это не я, не Карп, не Сидор, а тип; что в организме художника совмещаются многие эпохи, многие разнородные лица... Что я стану делать с ними? Куда дену еще десять, двадцать типов?»... Рискуя выслушать упрек в недогадливости, мы полагаем, однако, что не сделаем большой ошибки, если отнесем эти слова непосредственно к Гончарову и заметим, что типичность образов в вопросе об их постепенном создании не только не препятствует, но предполагает необходимым внимательное изучение могущих оказаться в основе психологических или индивидуально-бытовых черт самого художника.

Райский не один раз собирается уехать из усадьбы, где он пережил столько сложных ощущений, с тем, чтобы написать картину застоя, сна и скуки. «Ведь, жизнь многостороння и многообразна, и если, — думал он, — и эта широкая и голая, как степь, скука лежит в самой жизни, как лежат в природе безбрежные пески, нагота и скудость пустынь, то и скука может и должна быть предметом мысли, анализа, пера или кисти, как одна из сторон жизни; что ж, пойду, и среди моего романа вставлю широкую и туманную страницу скуки; этот холод, отвращение и злоба, которые вторглись в меня, будут красками и колоритом ... картина будет верна»...

«Натура моя отзывается на все, говорит он Аянову: — только разбуди нервы — и пойдет играть!» И он признается тут же, что он может искренно проповедовать всюду, где заметит ложь, притворство, злость, словом — отсутствие красоты, нужды нет, что сам он, по его выражению, бывает безобразен. Поражать отсутствие красоты — это уже цель; хотя она и недалеко ушла от искусства для искусства, но для Райского и этой цели достаточно, чтобы оправдать его намерение написать роман.

Изображение подобных картин, знакомых Гончарову с детства, было основным предметом его творчества; именно на этих картинах проявило себя в полном блеске его художественное мастерство. Общественное значение их установилось не сразу, между тем как картины, сами по себе живые, полные, естественные, действовали на читателя непосредственно и подчиняли его своему обаянию. Гончаров сознается, что он был счастлив, когда созданное им воплощение неподвижной, мертвой жизни, «переползание изо дня в день», было найдено верным, а в это воплощение по его собственному признанию, было вложено «действительно много личного, интимного, т. е. своего и себя самого». Он мог писать только то, что было близким и родным ему, к чему чувствовал «кровную» любовь.

Талант был послушным орудием в его руках всюду, где он направлял его на изображение своего «я», независимо от той или другой формы типичности или обобщения. Но тот же талант решительно оставлял писателя, как только Гончаров начинал изображать несимпатичное ему явление и к изображению подходил не от инстинкта, а от идеи. Тогда он впадал в несвойственный ему публицистический тон, становился резонером и, будучи бессилен сделать образ послушным выражением предвзятой идеи, приходил к созданию лишенных типичности, а, следовательно, и общественного значения фигур. Таков Марк Волохов, таков же и сухой и безжизненный художник Кириллов, с его отвлеченной проповедью искусства, которое должно быть «строго», которому художник должен отдать все, «исповедуя одно учение, чувствуя одно чувство, испытывая одну страсть к искусству»... Если подобные речи не кажутся сплошь проникнутыми схоластикой профессионального фанатизма, то разве потому, что в них мелькают неясные отзвуки искренних и горячих статей Белинского о значении искусства и роли художника в жизни. Сколько, в самом деле, было милого старого романтизма в тех словах, которыми опытный редактор, в «Обыкновенной истории», пытался образумить Александра Адуева: «Скажите же вашему protégé (писал он Петру Ивановичу по поводу повести Александра), что писатель тогда только напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще, — иначе выразит только свое я, до которого никому нет дела». Странно — не правда ли? — встречать именно у Гончарова подобные рассуждения, всецело навеянные Белинским ...

Гончаров, впрочем, знал фанатиков искусства, подобных Кириллову. Об одном из них рассказывает Потанин. «Один только человек в Симбирске, Дмитрий Иванович Минаев

(отец нашего сатирика Дмитрия Дмитриевича), не сходился с Гончаровым в убеждениях относительно нашей литературы, но это, конечно, потому, что Дмитрий Иванович «несть от мира сего»: у него был свой особенный взгляд на литературу. Поэзию, например, он боготворил и поклонялся ей, как римлянин богу своему Аполлону. Она была вторая религия Дмитрия Ивановича и, по понятиям его, должна была проповедовать миру только одно святое, великое и прекрасное. Писателей, которых он признавал «истинными талантами», он называл «гражданскими апостолами» и «пророками» и этим вменял в обязанность писать только добро, истину и духовное просвещение. С таким суровым взглядом на писателей натуральной школы, он ненавидел даже несчастного Гоголя, называл его «скверный пачкуля»... Понятно, что такой суровый литературный аскет не мог сойтись с Гончаровым».

Не задаваясь никакими теоретическими целями в этой области, Гончаров, тем не менее, служил искусству всю жизнь и отдал ему лучшее, что было в его распоряжении: чуткое сердце и высшие порывы своей мысли. В огромном труде, положенном на воплощение своего органического влечения к искусству, Гончаров испытал величайшее наслаждение — проявить свою личность во всей полноте, какая только может быть доступна художнику. И можно с уверенностью сказать — до тех пор, пока художественная правда картин Гончарова будет служить неостывающему интересу к пережитой им великой эпохе, его личность будет привлекать к себе внимание, как личность писателя, которому удалось, благодаря оригинальным особенностям таланта, сделать присущие ей индивидуальные черты выражением типичнейших явлений общественной жизни.

XXXIV

(Чужая жизнь в произведениях Гончарова). — Невольное стремление писателя угадывать родственные черты внешнего мира. — Степень типичности в изображениях различных явлений внешнего мира. — «Господа и слуги».

В своей авторской исповеди, отвечая на предложения друзей описать то или иное событие, такую-то жизнь, или такого, или другого героя, или героиню, Гончаров писал: «Не могу, не умею! То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал — словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало».

В предыдущих очерках мы сделали попытку разобраться в вопросе о значении фактов личной жизни для характеристики творчества нашего писателя. Не касаясь давно уже решенного вопроса о художественном и общественном значении его произведений, мы ставили своей задачей раскрыть, среди широких обобщений, черты, приводившие к уяснению личности писателя, и установить связь между ними и конкретным содержанием его творчества, изображением эпохи, характеров и основных идей. Какой бы смысл ни приобретали эти изображения в их окончательном виде, испытавшем более всего влияние сильнейшей стороны гончаровского таланта — обобщения, — нам представлялось несомненным, что в его манере полубессознательно набрасывать все, что ни попадается под руки, изображение «я» стояло всегда на первом плане. Было ли это предметом инстинктивной и, может быть, случайной работы художника

под влиянием непреднамеренного влечения к чистому искусству, или же в этом выразилось сознательное стремление воплотить свою жизнь и свою личность в художественном произведении, сделав ее интересной для других, — решить трудно, но едва ли можно сомневаться в том, что личность Гончарова и его жизнь давали основное содержание и характер его творениям. Это обстоятельство объясняет поражающее однообразие в изображениях обстановки, быта, миросозерцания героев и, наконец, приемов художнической техники.

Специально субъективное отношение Гончарова к изображаемому выразилось у него и в картинах чужой жизни. Чужой жизни вообще, со всем разнообразием характеров, внешних и внутренних положений, общественных условий, сочетанием тонов и красок, сменой радости и скорби, высокого и пошлого — в той нераздельной, вихрем кружащейся суете, в которой живет современный человек, колеблясь на грани личных стремлений и общественных запросов. Гончаров значительно суживает это понятие; чужая жизнь для него — это та жизнь, которая «прирастала» к его личной жизни, и прежде всего те люди, с которыми он приходил в соприкосновение, сначала у себя на родине, дома, а потом в сфере служебных и общественных отношений.

Задачей дальнейших очерков является определение роли и значения именно этой собирательно называемой Гончаровым «чужой» жизни в его произведениях.

Мы уже привели то место, где Райский говорит, что для него написать роман значит смешать свою жизнь с чужою, занеся на бумагу массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств — «une mer à boire» (любимое выражение Гончарова). Тут же он замечает вскользь, что для романа необходимо «раздражение», очевидно, в смысле известно нервного подъема, с элементом того, что на языке

поэтов зовется вдохновением. «Немного юмора, да чувства и искренности, да воздержности, да... поэзии» — так определяет Райский то, что ему нужно, как художнику, в дополнение к немногим соображениям ума, яркости фантазии и своеобразности во взгляде. В роман, по его словам, укладывается вся жизнь, и целиком, и по частям. — «Своя или чужая? — спрашивает Аянов, к которому обращает свою речь Райский, — ты этак, пожалуй, всех нас вставишь»... Чужая жизнь вносила освежающую струю в творчество Гончарова; впечатления внешнего мира разнообразили и усложняли подогретый воображением узор собственной жизни; они «вспрыскивали» его, как живой водой, и, сталкиваясь с чужими радостями и скорбями, он спускался с высот фантазии на землю и, наблюдая их, «отрезвлялся, как от хмеля». С другой стороны, для изображения чужой жизни необходим был широкий личный опыт, вдумчивое самонаблюдение. «Надо, — говорит Райский о значении страсти для творчества, — чтобы я не глазами, на чужой коже, а чтобы собственными нервами, костями и мозгом костей вытерпел огонь страсти, и после — желчью, кровью и потом написал картину ее, эту геенну людской жизни».

Наблюдательность, в высокой степени присущая Гончарову, направлялась неодинаково на явления внешней жизни. Из множества разнообразных черт он отбирал только некоторые, родственные его душе, затем сосредоточивал на них все внимание, тщательно изучал и, отбрасывая все частное и случайное, подвергал процессу обобщения. Стремление угадывать в окружающем мире родственные черты дает наглядное объяснение тому факту, почему в общей массе изображений далеко не все отличаются свойствами типичности. И в окружающем мире Гончаров как бы искал отражения своей личности, инстинктивно стараясь собрать аналогичные явления, понятные уму и близкие сердцу.

Кажется, мы можем считать установленным тот факт, что все герои произведений Гончарова живут в одной и той же обстановке, в одних и тех же условиях материальных, общественных и духовных. Нетрудно заметить, что представители чужой — по отношению к Гончарову — жизни находятся или в условиях, тожественных с главными героями, или же настолько близких, что при сравнении всего менее может явиться мысль о контрасте. Гончаров изображает помещиков, чиновников, не служащих дворян, аристократов, дам и девиц, но все они рисуются обыкновенно на одном общем фоне, и, например, изображение какого-нибудь графа Новинского или старух Пахотиных нисколько не дает понятия об аристократическом быте вообще, о взглядах так называемого высшего сословия, как и изображение Козлова — о быте провинциального учителя. Двух миров здесь нет: как в «Обломове» Штольц является из какого-то своего, невидимого читателю мира, остается столько времени, сколько надо для хода романа, и затем исчезает в пространство, так и в «Обрыве» Аяновы, Титы Никонычи, Викентьевы появляются на сцене не самостоятельно, в смысле отражения среды, но лишь в тех или иных отношениях к главным лицам романа. Сводя все к единству, можно заметить, что наибольшей типичностью проникнута та обстановка, для которой наиболее подходящим заглавием было бы: «Господа и слуги».

В этом отношении Татьяна Марковна Бережкова, с окружающей ее крепостной обстановкой, стоит на первом плане. Образ этот выходил из-под его пера настолько типичным, что приобретал аллегорическое значение еще в процессе своего создания. В нем воплощалась, как ему казалось, старая консервативная жизнь.

«В этом труде моем («Обрыве»), — писал Гончаров Тройницкому 19 июня 1868 г., — переложены в образы и мои убеждения и правила, и впечатления, и все это почерпнуто из

добрых, здоровых и — смею сказать — честных источников жизни[68]. Невольно, бессознательно

Im Scherz und unbewusst
Ich sprach, was ich gefühlt, —

как говорит Гейне, — высказалась и объяснилась мне самому и любовь к людям, и к России, и, кажется, сама Россия выглядывает оттуда на меня, в виде одной бабушки, и добродушно смеется над моими усилиями сказать ей «люблю».

Еще определительнее выражается Гончаров в письме к Валуеву: «Добрая критика, — писал автор Валуеву, — напр., хоть бы в «Обрыве» указала бы, что в бабушке (как клочок неба в пруде) отразилась сильная, властная, консервативная часть Руси, которой эта старуха есть миниатюрная аллегория. Она идет вперед медленно, с оглядкой, нехотя уступая времени, но идет, потому что, несмотря на старые вековые привычки, она честна и практически мудра, и знает, что ни стоять, ни назад идти нельзя. Она властная и любит держать детей в руках и в своей воле, стараясь водить на детских помочах не только младшую, робкую и покорную внучку Марфиньку, но и самостоятельную, пытливую и смелую Веру» (молодую интеллигенцию).

Однако, при всей типичности этого образа едва ли можно смотреть на него глазами Гончарова. Бабушка — символ, слишком бледный для того, чтобы отразить все стороны дореформенной русской действительности, и, каковы бы ни были его намерения при замысле, следуя художественной

---

[68] Письмо И. А. Гончарова к А. Г. Тройницкому от 19 июня 1868 г. «Вестник Европы», 1908, декабрь, стр. 463 и письмо к Валуеву, см. выше.

правде, Гончаров не придавал ей в романе этого всеобъемлющего значения.

XXXV

Бережкова, как бытовой тип. — Бабушкина мудрость. — Бог и судьба, по воззрениям Татьяны Марковны. — Пример идеальной жизни.

Мы попытаемся собрать черты, характеризующие бабушку, как бытовой тип русской жизни известной среды и эпохи, без всякого отношения к символам и таинственным замышлениям автора. Прежде всего, мы должны остановиться на тех чертах этого образа, которые взяты им в авторской исповеди с целью очертить «сжатый смысл» морального склада бабушки.

Первое, что характеризует бабушку, это ее органическая связь, духовное родство с прошлым, с тем строем жизни, которому новое поколение слишком решительно, думалось Гончарову, объявило войну, желая разрушить его до основания, между тем как в нем таилось еще много крепких, здоровых начал для будущего развития. «Бабушка говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, но в новых каких-нибудь неожиданных для нее случаях у нее выступали собственные сил клочок неба ы, и она действовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, негодную мудрость у нее пробивалась струя здравого смысла». Нового, — замечает дальше Гончаров, — она «пугалась немного и беспокойно искала подкрепить его бывшими примерами»... Весь смысл ее характера таков, что она — старуха, по словам Гончарова, твердая, властная, упорная, неуступчивая, — требует повиновения, хозяйственна и бережлива.

В общем далеко не беспристрастное отношение Гончарова к «русской старой, хорошей женщине», как он определяет ба-

бушку, передалось и читателям: «бабушка была благосклонно принята всеми в публике. Никто ничего не говорил против ее изображения, и до меня доходили только похвалы ей».

Нам предстоит дополнить этот портрет бабушки и ближе всмотреться в него: так ли уж этот образ симпатичен в реальной обстановке, каким он представлялся Гончарову и многим читателям?

Попробуйте перевести на язык непосредственной крепостной обстановки определение «феодальной натуры», данное бабушке самим же Гончаровым, и в вашем воображении замелькает ряд лиц и воспоминаний далеко не положительного свойства, Для беспристрастия суждения забудьте на время те подкупающие и сглаживающие черты, которыми она обращена к двум-трем лицам, связанным с нею узами кровного родства. Здесь она — олицетворенная любовь, нежность, доброта. Черты эти не распространяются за пределы родного гнезда, и потому, в существе своем, они элементарны, свойственны самым обыкновенным, немудреным людям. В сношениях со всеми прочими явлениями внешнего мира в Татьяне Марковне выступают и действуют многие свойства, далеко не столь привлекательные.

Начнем с прославленной бабушкиной «мудрости».

Бабушка сыплет сентенциями, — говорит Гончаров, — и это безусловно верно. О ней он мог бы сказать то же, что было сказано им как-то о старухах Пахотиных, в первой части романа: «Если затрагивались вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас клали на всякий разговор свою патентованную печать». Бабушка, несомненно, обладает здравым, практическим смыслом, но недюжинного ума в ее сентенциях мы не видим. Она дельно ведет свое хозяйство, метко рассуждает о знакомых ей людях, отдает правильный отчет о том, что делалось вчера, не ошибается в предположениях о том, что будет делаться в том же духе завтра, но и

только: «горизонт ее кончается — с одной стороны полями, с другой — Волгой и ее горами, с третьей — городом, а с четвертой — дорогой в мир, до которого ей дела нет». Интересы ее почти так же ограничены, как интересы стариков Обломовых, матери Александра Адуева и немногим шире интересов ее дворовых или обломовских мужиков. Высота ее мудрости никогда не поднимается над уровнем понятий, выражающихся в народных пословицах и поговорках и заключающих в себе не только итоги здравого смысла, но и порядочную долю невежества и дикости. Основной вывод философии Бережковой, который Гончаров называет «мудрым», совпадает с обыкновеннейшим выводом обыкновеннейшего из немудренных людей ее круга, о том, «что всякому дается известная линия в жизни, по которой можно и должно достигать известного значения, выгод, и что всякому дана возможность сделаться (относительно) важным или богатым, а кто прозевает время и удобный случай, пренебрежет данными судьбой средствами, тот и пеняй на себя!» Это вывод не одной Бережковой, — в равной мере он принадлежит и Анне Павловне Адуевой, которая собирается «вымолить» у Бога своему Александру «и здоровье, и чинов, и крестов, и земных благ». Так же смотрят на вещи и в Обломовке, где понимают, например, образование исключительно с точки зрения прав и преимуществ. Родители Обломова «мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать — даже и губернатором; но всего этого им хотелось бы достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и почестей камни и преграды». По справедливому замечанию Гончарова, и это сравнительно со взглядами Простаковых и Скотининых было большим шагом вперед.

Бог и судьба составляют теоретическую сторону бабушкиной морали. Бог, с одной стороны, податель жизненных

благ, с другой — неумолимый контрольный аппарат, отмечающий малейшие отклонения. «Помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем, — говорит в своем напутственном слове Анна Павловна Александру. — Достигнешь больших чинов, в знать войдешь — ведь, мы не хуже других: отец был дворянин, майор — все-таки смиряйся перед Господом Богом: молись и в счастии, и в несчастии».

Где дело не касалось высших для этих людей вопросов — инстинктивного страха перед всемогуществом Божьим, вымаливания у Бога для себя и своих присных всяческих благ, притом более земных, нежели небесных, да идеи справедливого возмездия за проступки, там на сцену выступала судьба и безапелляционно решала все простые и сложные случаи житейской практики. Культ судьбы был же элементарный и по существу своему общенародный, как и наивная вера в Бога и мир преданий, сказок и песен, питавшийся поэзией суеверия и романтизма. Сама гордая и властная бабушка одобрительно встречала вокруг себя молчалинские свойства и свои проповеди на эту тему подкрепляла ссылками на судьбу. Заносчивость — бабушка придавала этому слову очень широкий смысл — судьба наказывает «оплеухами», от которых Татьяна Марковна и предостерегает Райского: — «Ну, а когда счастье? Ужели все оплеухи?» — спрашивает Райский. — «Нет, не все; когда ждешь скромно, сомневаешься, не забываешься, оно и упадет. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну, и дастся». Судьба любит осторожность, оттого и говорят: «береженого и Бог бережет». Словом — «судьба и в милостях мздоимец», — лучше жить так, чтобы не обращать на себя ее внимания ни в ту, ни в другую сторону, — иначе накажет. В этом воззрении на судьбу, как ни странно, с бабушкой сходится и просвещенный рационалист Штольц. «Смотри, чтобы судьба не подслушала твоего ропота, — говорит он, обращаясь к Ольге, в минуту ее недовольства жизнью, — и в голосе его слышен суеверный

страх, — и не сочла за неблагодарность! Она не любит, когда не ценят ее даров»... Но что у Штольца являлось лишь редкими минутами, — у бабушки было твердым убеждением, определявшим строй ее мыслей. Яркой иллюстрацией прекрасной, по ее мнению, жизни служит незаметное прозябанье каких-то старичков Молочковых: «И не слыхать их в городе: тихо у них и мухи не летают. Сидят да шепчутся, да угождают друг другу. Вот пример всякому: прожили век, как будто проспали».

Прожили век, как будто проспали! Таков коренной обломовский идеал, в котором тонут все высшие запросы духа и общественной жизни. В темных углах общественности он живет и будет жить до тех пор, пока человеческая жизнь не устроится на иных началах, где не будет места ни сонному безделью, ни бессонному труду, выносящему его на своих плечах. А до тех пор не переведутся поэты, которые жалуются в море людей на безлюдье и на тоску одиночества в шумной толпе.

XXXVI

Бережкова. — Противоречия между теорией и практикой жизни. — Черты характера. — Отношение к идеям «общего блага». — Общий взгляд.

Бабушка не замечала противоречия между своей проповедью и своим властолюбием и честолюбием до губернаторских визитов и праздничного целованья у нее ручки включительно. Она искренно понимала счастье в приспособлении к обстоятельствам да к домашней обстановке, боялась возможных разочарований и не признавала никаких «дерзновений». Марк Волохов возбуждал в ней естественное отвращение.

Существенным элементом, входившим в понятие «счастье», была удачная и выгодная женитьба. Лично Гончаров

считал женитьбу делом весьма рискованным, на которое он так и не решился до конца жизни. Его герои в юности слышали на этот счет определенные наставления. «Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться — Боже сохрани! — учили уму-разуму Александра Адуева, не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы, и он захочет выдать за тебя дочь, — ну, тогда можно»...

В этом же роде дает советы Райскому Бережкова. Женить его на дочери Мамыкина составляет для нее венец ее желаний. «Почему вы знаете, — справедливо возмущается Райский, — что для меня счастье, — жениться на дочери какого-то Мамыкина?» — «Она — красавица, отвечает бабушка, — воспитана в самом дорогом пансионе в Москве»... Но главное не это: «Одних бриллиантов тысяч на восемьдесят... Тебе полезно жениться... Взял бы богатое приданое, зажил бы большим домом, у тебя бы весь город бывал. Все бы раболепствовали перед тобой, поддержал бы свой род, связи... И в Петербурге не ударил бы себя в грязь»...

Родовая спесь играла видную роль в рассуждениях этого рода и была общей чертой обломовских «господ». Ничто и никогда не могло истребить различия между «людьми» и «господами», хотя среди помещиц крепостной эпохи бабушка, как и мать Александра Адуева, и родители Обломова, могла считаться весьма человеколюбивой, если не доброй. Требования к добрым помещицам прилагались в то время очень умеренные. Если заболевал кто-либо из «людей», Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала лекарств, а на другой день специальная баба Меланхолиха собственными средствами старалась помочь больному. По поводу этой Меланхолихи, лечившей «людей», в романе есть замечание, не лишенное исторического интереса: «так как Меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и ме-

щанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания». Доктор был бы слишком большой роскошью для крепостных и мещан. «Между тем, чуть у которой-нибудь внучки язычок зачешется или брюшко немного вспучит, Кирюшка или Влас скакали, болтая локтями и ногами, на неоседланной лошади, в город, за доктором». Следует заметить, впрочем, что это различие не составляло отличительного свойства обломовских нравов, а было коренной чертой дореформенной эпохи, чертой, далеко не вытравленной воспитанием и общественным развитием и по настоящее время...

По приезде в усадьбу Райский получает выговор от бабушки за то, что он притащился на перекладной, один, без лакея, вместо того, чтобы прикатить в дормезе четверкой. «А еще Райский! загляни в старый дом, на предков: «постыдись хоть их! Срам, Борюшка! То ли бы дело, с этакими бы эполетами, как у дяди Сергея Ивановича, приехал: с тремя тысячами душ взял бы»... Кстати заметить, Райский с бабушкой спорит и, по-видимому, держится того убеждения, подсказываемого здравым смыслом, что стыдиться следует не предков, которые, в большинстве случаев, и сами были не особенно прекрасны, а потомков. Потомки волей-неволей разберутся в наследстве отцов и дедов и, с фактами в руках, рано или поздно, скажут свое правдивое слово. Гончаров, быть может, считался с этим, когда писал для потомков свое «нарушение воли». Райский не считается ни с кем — ни с предками, ни с потомками; в нем просто чувствуется «барин» нынешнего дня, недалеко отошедший от Обломова, серьезно гордившегося тем, что он не умеет работать и даже ни разу собственноручно чулок не натянул себе на ноги. Это один и тот же, верный эпохе, «барский» круг идей: он начинается на границе утраты здравого смысла в аристократических семьях, вроде Пахотиных, и кончается в этом мирке» вольнодумцем»

Райским, который делает попытки бороться с отжившими понятиями, сам органически не отрешившись от них.

Стыдя Райского портретами предков, бабушка не стыдится наказывать людей; горничные у нее целый день, «не разгибаясь», что-нибудь шили или плели кружева, потому что Татьяна Марковна не могла видеть людей без дела, т. е. барского дела. Меланхолихой да сытным кормлением исчерпывались все заботы ее о благосостоянии крестьян. Когда Райский высказал предположение отдать обстановку своего имения на школы, бабушка возмутилась: «Школьникам! — воскликнула она. — Не бывать этому! Чтобы этим озорникам досталось! Сколько они одних яблоков перетаскивают у меня через забор!» Объяснение это, вытекающее опять-таки из неглубокого источника помещичьего скопидомства, дает любопытную черту для характеристики отношений Бережковой к тому, что называется общественным благом.

Об этом благе, по буквальным словам самого Гончарова, Татьяна Марковна и «слышать не хотела». Рассуждения ее поражают узостью и черствым эгоизмом. «Знай всяк себя, — говорила она, — и не любила полиции, особенно одного полицийместера, видя в нем почти разбойника». Напрасно Тит Никоныч Ватутин пытался примирить ее с идеями общего блага; последние неизменно воплощались для нее в образе полиции. С властями она была в постоянной оппозиции, но — увы! — без всякого гражданского оттенка, а просто отказывалась нести какие-либо повинности, платить ли подати, чинить ли дороги; считая подобные распоряжения насилием, она бранилась, ссорилась, — «и об общем благе, — повторяет Гончаров, — слышать не хотела». Если вспомнить приемы ее в лавках у купцов, когда ей нужно было купить какую-либо мелочь, то исчезает представление даже о дворянском достоинстве бабушки: перед нами не богатая и гордая помещица-барыня, а самая заурядная скопидомка купчиха.

Водились за бабушкой и другие недворянские дела. Тогда, как и позже, запрещено было обывателям самостоятельно устраивать водочные заводы. Тогда, как известно, царила откупная система. «Тогда откупа пошли, — признается бабушка Райскому, — а я вздумала велеть пиво варить для людей, водку гнала дома, немного, для гостей и для дворни, а все же запрещено было; мостов не чинила». Исправник об этом узнал и, естественно, ожидал взятки. Но с бабушки были, по ее же выражению, взятки гладки. Он «озлобился» и, очевидно, донес. Бабушке пришлось смирить свою гордыню и просить прощения, но судьба не пощадила и исправника: приехал новый губернатор, узнал его плутни и прогнал. В этом для бабушки был явный перст Провидения. После этого совершенно понятно, что в доме Бережковой мог с полной свободой господствовать фамусовский принцип — «у нас ругают везде — и всюду принимают». И Нил Андреевич Тычков, казнокрад, наглец и доносчик, вообще человек темный, мог в течение многих лет играть в ее доме роль авторитета, поклонения которому, за его чины и заслуги, вначале требовала бабушка и от Райского: «человек почтенный», «со звездой» — по отзыву Бережковой —... племянницу обобрал, в казне воровал, он же и судит ...

Все эти черты вместе взятые, рисуют нам тип женщины, едва ли уж очень симпатичной, особенно, если вглядеться в этот тип беспристрастно, отрешившись от того поэтического ореола, которым осеняет его Гончаров. Обыкновенная зажиточная помещица, своенравная и высокомерная в одних случаях и, по обстоятельствам, смиренная — в других, легко поступающаяся дворянской спесью, с узкой эгоистической моралью, бойкая и смышленая, — этот образ стоит в положительном противоречии с тем пьедесталом, на который возводит его Гончаров, и с тем чувством глубокой симпатии, какую возбуждает этот образ на первый взгляд, благодаря особенным свойствам таланта писателя.

Симпатия, как и личный вкус, вещь, конечно, капризная, и было бы бесплодно спорить по ее поводу. Гончаров, повторяем, не скрывал своей симпатии к бабушке и, таким образом, наглядно опровергал ходячее мнение о беспристрастии своего отношения к предметам изображения. В его чувстве к Бережковой сказываются, как будто, личные воспоминания и, хочется сказать, непосредственно задетые струны души. В основе собирательного типа (допустим плеоназм) лежал с детства знакомый и близкий сердцу образ женщины, давным-давно заронившей в душу писателя много тепла и света на всю последующую жизнь. Это был образ матери, одна сторона которого нашла свое выражение в типических представлениях материнской любви и ласки, рассеянных в картинах детства всех трех романов. В своих «Воспоминаниях» Гончаров дорисовывает этот образ. Там — беззаветная материнская любовь, слабость, нежность, слепая страсть матери к своему детищу; здесь выступает сторона разумной деятельной любви, любви воспитывающей и направляющей. И этой стороной Бережкова, в своих отношениях к племянницам, выражала в пластическом образе то, что было рационализировано Гончаровым в последние годы его жизни. «Мать любила нас, — вспоминал он, — не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с строгой справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания ни одной шалости, особенно, если в шалости крылось зерно будущего порока».

Подтверждением нашей мысли может служить письмо Гончарова от 5 мая 1851 г. к сестре Александре Александровне Кирмаловой, написанное им под свежим впечатлением известия о смерти матери.

В упоминаемом письме Гончаров выражает глубокую скорбь по поводу кончины матери. «Да, — пишет он, — кончина нашей матери должна тебе отозваться тяжелее, нежели всем нам. Ты вообще дружнее всех нас была с нею, а любовь ее к твоим детям и попечения о них сблизили вас еще теснее. Старушка никогда не показала предпочтение никому из нас, но, кажется, тебя она любила больше всех, и за дело: ты ей не делала даже мелких неприятностей своим характером, как мы, например, с Анютой (т. е. Анной Александровной, по мужу Музалевской) часто делали невольно... Больно и мучительно, как подумаешь, что ее нет больше, но у меня не достает духа жалеть, что кончилась эта жизнь, в которой остались только одни страдания и болезненная, томительная старость. Живи она еще десять лет, она бы все мучилась вдвойне: за всякое наше горе и за то еще, что она не может пособить ему. Притом, жизнь ее, за исключением неизбежных человеческих слабостей, так была прекрасна, дело ее так было строго выполнено, как она умела и могла, что я, после первых невольных слез, смотрю покойно, с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни, и горжусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней».

Беспристрастие требует привести о матери писателя, Авдотье Матвеевне, другие отзывы — не из числа исключительно благоприятных. Племяннику Ивана Александровича, Александру Николаевичу Гончарову, Авдотья Матвеевна представлялась женщиной старой России — России XVII столетия. Авдотья Матвеевна, по его отзыву, была жестокая женщина, круто расправлявшаяся со своими детьми и прислугой». Из детей, действительно, не все отзывались о ней с тою же любовью, с какой говорил о ней Иван Александрович: А. А. Музалевская, например, по словам того же Александра Николаевича, «не любила вспоминать о своей

матери». Но г. Суперанский смягчает подобные отзывы, свидетельствуя, что «симбирские родственники, напротив, сохранили о ней самые лучшие воспоминания: она была строгая, но умная воспитательница детей; прислуга же весьма уважала ее «за справедливость» и «распорядительность». Этот отзыв мог бы быть применен и к Бережковой; у Авдотьи Матвеевны, как и у Татьяны Марковны, была, по-видимому, в характере складка той деловой жесткости, которая прекрасно уживалась с горячей любовью к семейному гнезду и далеко не исключала известной доли беспристрастия в отношениях к людям и в особенности к дворовой прислуге. Но та же складка, по пословице — «нет дыма без огня» — делала возможными и отзывы о ней не всегда благоприятного свойства.

Во всяком случае, воссоздание личности матери Гончарова, при ее сопоставлении с образом Бережковой, требует дальнейших пояснений. Мы их найдем в эпическом материале романов.

XXXVII

Сопоставление основных черт типа Бережковой с типическими чертами образа матери по романам Гончарова. — Фигура отца.

В самом деле, основные черты этого, повторяем, несомненно, собирательного характера Татьяны Марковны Бережковой, как отдельно взятой личности, без отношения к его типичности, общественному значению и т. д., невольно напрашиваются на сопоставление с теми отрывочными и часто едва уловимыми штрихами, из которых складывается один и тот же, в разных романах, образ матери — в типическом смысле. С этим понятием, на основании романов Гончарова, неизменно связывается представление о немудреной русской женщине, каких много, вся жизнь которых посвящена исключительно заботам о хозяйстве, возне в родном углу, а главное — деятельной любви к детям и интересам их

физического и религиозно-нравственного воспитания. Вне этих вопросов ничто не занимает их сердце и ум, и весь их характер поневоле разменивается на мелочи домашнего и хозяйственного обихода.

Подобно Бережковой, матери Александра Адуева и Обломова были зажиточны и мелочно бережливы. Анна Павловна Адуева в самые мирные минуты своего прощания с сыном не забывает напомнить, чтобы Сашенька не бросал платков: «у Михеева брала по два с четвертью!» Жалели деньгу и в Обломовке: по вечерам не зажгут лишней сальной свечи, в кушанье лишней изюминки не положат. «На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы... Значительная трата сопровождалась стонами, воплями и бранью». К дворовым относились так же, как Бережкова к «людям»: не зло, но и потачки не давали. Добрейшая Анна Павловна иногда становилась, по выражению Гончарова, «раздраженной львицей» и наказывала за малейшую провинность, когда — строгим выговором, когда — обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком. «Присмотрите за Евсеем, — пишет Анна Павловна Адуеву-дяде о старом преданном слуге, — он смирный и непьющий; да, пожалуй, там, в столице, избалуется, — тогда можно и посечь». По отношению к «людям» и вообще Анна Павловна за словом в карман, как говорится, не лезла. Горничные у нее непременно были дурищи, прачки — мерзавки, «тетка, словно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуть туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое»... Михайло Михайлович «что мясоед, что Страстная неделя — все одно жрет»...

В «Обломове» Гончаров неоднократно задается вопросом о том, какое влияние оказывает обстановка на умственное развитие в самую раннюю пору. За предположением о том, что, может быть, Ильюша Обломов, еще едва выговаривая слова, уже видел и угадывал значение и связь явлений окру-

жавшей его жизни, дается яркая картина будничного обломовского быта, с фигурами отца и матери. «Может быть, Илюша уже давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем: как батюшка-то его, в плисовых панталонах, в коричневой суконной, ваточной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду; что родитель и не вздумает никогда проверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а, подай-ка ему нескоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом».

Фигура отца выходила всегда бледно у Гончарова. Сам он, подобно Александру Адуеву, лишился отца еще в раннем детстве. Как уже было указано, отец писателя Александр Иванович Гончаров умер в 1819 г., т. е., когда последнему было около семи лет.

Немного сообщает об Александре Ивановиче и тот из племянников Гончарова, о воспоминаниях которого мы уже имели случай говорить. «Об отце его известно мне очень мало, — пишет А. Н. Гончаров. — Говорили, что он был человек ненормальный, меланхолик, часто заговаривался, был очень благочестив и слыл «старовером». Занимался он хлебной торговлей и, кажется, имел амбары для ссыпки хлеба в Симбирске, под горой на берегу Волги. Помню, что его портрет висел у бабушки, Авдотьи Матвеевны, в ее спальне; здесь же висел портрет во весь рост какого-то юродивого»...

По рассказу Потанина, далеко не везде достоверному, отец писателя «был скорее деятельным человеком: его не раз выбирали городским головой. На портрете старик Гончаров изображен видным мужчиной, среднего роста, белокурый, с голубовато-серыми глазами и приятной улыбкой, лицо умное, серьезное; на шее медаль». Но гораздо более вероятнее в предположении, что деловитость была уделом матери, а не отца; фигура отца как-то стушевывалась в семейных преда-

ниях пред образом матери, что отразилось и в творчестве расплывчатостью образа в яркую противоположность с жизненной конкретностью другого.

Со смертью отца заботы о воспитании перешли, главным образом, к тому лицу, которое заняло, можно думать, преобладающее положение в гончаровском доме. Когда умер отец, рассказывает Потанин, «эту тяжелую потерю вполне заменил Гончарову «крестный отец» всех четырех детей, Николай Николаевич Трегубов, отставной моряк»[69].

XXXVIII

Личность Якубова. — Историческая обстановка. — «Наука о приличиях». — Аналогичные черты в образе Тита Никоныча.

В своих воспоминаниях Гончаров, в лице Якубова, дает превосходный портрет Николая Николаевича Трегубова. В письме 12 января 1888 г. к Д. Л. Кирмаловой он писал по поводу сходства: «Там (в очерках «На родине») Александра Александровна (т. е. сестра, по мужу Кирмалова) и Виктор Михайлович (ее сын) узнают, под именем Якубова, нашего крестного, которого мы все так любили и который сделал нам много добра». Моряк по образованию, Трегубов самостоятельно развил себя чтением, преимущественно исторического и политического характера, и в этом отношении был явлением, замечательным среди провинциального дворянского общества того времени. Он принимал участие в местной масонской ложе и по некоторым вопросам, не касавшимся, впрочем, глубоких сторон русской жизни, держался даже либерального образа мыслей, стараясь, однако, чтобы этот образ мыслей не дошел до начальства. Николаевский режим давал себя знать и в глухой провинции. Гончаров был свидетелем, как после принятия соответственных мер, доходивших

[69] Потанин, Г. Н. См. выше.

до «секретного телесного наказания», все местные либералы приникли, притихли, быстро превратились в ультра-консерваторов, даже шовинистов, иные искренно, другие надели маски, «но, при всяком случае, когда и не нужно, заявляли о своей преданности «престолу и отечеству»... Но про себя Якубов протестовал. Однажды, рассказывает Гончаров, читая газету, Якубов не мог удержать впечатления, и до писателя долетели слова: «простого выговора не стоит, и его — на поселение»! Дело шло о преследовании «либералов». Но, рядом с этими настроениями, Якубов выражал знаки почтительности и благонамеренности властям и смертельно боялся жандармов. «Мне, юноше, были тогда новы, если не все, то многие «впечатленья бытия», — вспоминает Гончаров, — между прочим, и жандармы, т. е. их настоящее, новое с Николаевских времен, значение. Это значение объяснил мне, тоже шепотом, Якубов, и всю глубину жандармской бездны раскрыл мне потом губернатор, которому я, по настоянию «крестного», все-таки «представился».

Эти факты мы приводим не столько для характеристики Якубова, — к ней они имеют отношение косвенное, — сколько для того, чтобы отметить, каким влияниям подвергался Гончаров в юности, и напомнить те исторические условия, при которых могли развиваться и существовать подобные Якубову характеры и умы. Барин в душе, носитель дворянских традиций и природный аристократ, как его определяет Гончаров, Якубов был сыном своего века — крепостником. Писатель не видел в этом противоречия с джентльменством, «если не сходить с почвы исторической перспективы». Неподалеку у Якубова были свои имения, но он туда почти не заглядывал, передав управление ими матери. Впоследствии эти имения и перешли, как известно, к Гончаровой и ее детям. К хозяйству своему и доходам Якубов относился совсем равнодушно. «Когда я спрашивал Якубова о его хозяйстве, —

вспоминает Гончаров, — о посевах, умолоте, количестве хлеба — даже о количестве принадлежащей ему земли и о доходах, — «А не знаю, друг мой, — говаривал он, зевая: — что привезет денег мой кривой староста, то и есть. А сколько он высылает кур, уток, индеек, разного хлеба и других продуктов с моих полей — спроси у своей маменьки: я велел ему отдавать ей отчет, она знает лучше меня». В числе разных сведений, сообщавшихся Якубовым Гончарову, была целая «наука о приличиях». «Для приличия, — говорил он, — молодой человек должен везде явиться», — главным образом, в домах влиятельных и богатых господ. В отношениях к людям его отличали утонченная учтивость и светский такт, «в обращении, — по словам Гончарова, — он был необыкновенно приветлив, а с дамами — до чопорности вежлив и любезен».

Перед смертью Якубов, этот масон и вольнодумец в Екатерининском вкусе, раскаялся и, как передает г. Потанин со слов племянника Ивана Александровича, «говел всю Страстную неделю лакеи таскали его, безногого, к заутрене, к обедне, вечерне, и, главное, непременно к заутрене».

В «Обрыве» Тит Никоныч Ватутин, «старинный и лучший друг, собеседник и советник» Татьяны Марковны, слегка напоминает Якубова. И Тит Никоныч был таким же джентльменом по своей природе. В романе сглажены некоторые черты характера Якубова, несколько иначе рассказана биография, опущены связи с масонством, не игравшие видной роли и для Якубова, но общий облик остается схожим. И у Тита Никоныча было недалеко имение, душ около трехсот, куда он, подобно Якубову, никогда не заглядывал, предоставляя крестьянам делать, что хотят, и платить оброку сколько им заблагорассудится. «Возьмет стыдливо привезенные деньги, не считая положит в бюро, а мужикам махнет рукой, чтобы ехали, куда хотят». После военной службы, в отставке, он приехал в город, купил маленький серенький

домик, с тремя окнами на улицу, и свил себе вечное гнездо. Подобно Якубову, он интересовался политикой, историей, знал наизусть все старинные дворянские дома, всех полководцев, министров, их биографии, любил рассказывать Бережковой, что делается на свете, и «как одно море лежит выше другого», сообщать что выдумали англичане или французы, и решать, полезно ли это или нет.

«Он сохранял всегда учтивость и сдержанность в словах, как бы с кем близок ни был ... Взгляд и улыбка его были так приветливы, что сразу располагали в его пользу». Чувство тонкого приличия и знание светского такта составляли его отличительную черту. Он ежедневно бывал у Татьяны Марковны и относился к ней с почтительной, почти благоговейной дружбой, но пропитанной такой теплотой, «что потому только, как он входил к ней, садился, смотрел на нее, можно было заключить, что он любил ее без памяти». И Татьяна Марковна, — рассказывает Гончаров, — платила ему такой же дружбой, но в тоне ее больше живости и короткости.

Как было выше замечено, Тит Никоныч пытался беседовать с Татьяной Марковной и на другие темы, — например, об общем благе, с идеями которого ему хотелось бы примирить свою собеседницу. Но Бережкова была неумолима во всем, что касалось нарушения ее интересов во имя чего бы то ни было, и дело кончалось обыкновенно тем, что Тит Никоныч мирил ее с местными властями и полицией.

К частым посещениям Тита Никоныча давно уже привыкли. Прежде в городе носились слухи о том, как Тит Никоныч в молодости был влюблен в Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна в него. Но родители не согласились на их брак. В доме Бережковой он занял по характеру нравственного влияния ту роль, какую играл Трегубов в доме Гончаровых. «У сироты (Райского) вдруг как будто явилось семейство, мать и сестры, в Тите Никоныче — идеал доброго дяди». И сам Тит Никоныч, делая ценные подарки Мар-

финьке и Верочке, говорил о них нежно и отзывался о Бережковых как о родной семье.

XXXIX

Женские образы в романах Гончарова. — Наденька Любецкая. — Елизавета Александровна. — Ольга Ильинская. — Сознательность, как отличительная черта ее личности. — «Ветка сирени».

Бледно и односторонне очерчиваются типы петербургских маменек или отцов у Гончарова. Отсутствие усадебной и вообще хозяйственной обстановки отнимает у них складку деловитости и серьезности, и они поражают своей бессодержательностью и бесформенностью. Рисуя, например, Марью Михайловну Любецкую или тетку Ольги Ильинской, Гончаров менее всего думал о разнообразии характеров, как бы приберегая последнее для галереи главнейших женских типов, изображавшихся им с необыкновенным мастерством в тех случаях, где характеристика их строилась на психологии любви.

В этом отношении тонкость наблюдательности и анализа Гончарова прямо изумительны. Несмотря на обычные длинноты, нельзя оторваться от его художественно-метких описаний и диалогов. Тут в одинаковой степени прекрасны и плутоватая наивность Наденьки Любецкой, и томная влюбленность пустенькой Юленьки Тюфяевой, и Ольга Ильинская в эпизодах с веткой сирени, и цветущая Марфинька, и Вера — «мерцание и ночь»... Если расположить женские типы в известной последовательности, то можно сказать, что Гончаров проследил на них, конечно, в самых общих чертах, историю женского вопроса в нашей общественности, от еле заметных признаков пробуждения сознания личности в себе и самостоятельного права на жизнь до первых попыток решить этот вопрос компромиссом между «старой» и «новой» правдой.

Александр Адуев у Любецких. Наденька ушла в сад. «Составился нескладный дуэт у Марьи Михайловны с Адуевым: долго пела она ему о том, что делала вчера, сегодня, что будет делать завтра. Им овладела томительная скука и беспокойство». Александр улучил минуту и ускользнул в сад. Там ждет его Наденька. Начинается бесконечный разговор о мечтах, звездах, симпатии, счастье.

«— Ужели есть горе на свете? — сказала Наденька, помолчав.

— Говорят, есть... — задумчиво отвечал Александр: — я не верю...

— Какое же горе может быть?

— Дядюшка говорит — бедность.

— Бедность! — да разве бедные не чувствуют того же, что мы теперь? вот уж они и не бедны.

— Дядюшка говорит, что им не до того — что надо есть, пить...

— Фи! есть... Дядюшка ваш неправду говорит: можно и без этого быть счастливыми: я не обедала сегодня, а как я счастлива!»

В птичьей головке Наденьки еще не просыпалась потребность иной, сознательной жизни, и титул графа Новинского, ради которого она изменяет Александру, улыбается ей более всяких достоинств и талантов его. Это — дитя природы, вечный материал, из которого жизнь, в ее внешних формах, творит все, что хочет, без всякой борьбы во имя каких бы то ни было высших начал. При благоприятных условиях, из них могут выработаться добродетельные, но недалекие матери семейств, светские дамы, отражающие в себе, как в зеркале, предрассудки и слабые стороны среды, типичные классные дамы; в мещанской среде — из них, по преимуществу, вербуется класс надоедающих жен, несносных сплетниц, мелочных, придирчивых хозяек. Бестолковое воспитание, при отсут-

ствии хороших интеллектуальных задатков от природы, служит определяющей чертой этого типа.

Елизавета Александровна, жена Адуева-дяди, — дело другое. Ее в молодости еще можно было сманить, при помощи ложных понятий и неправильного воспитания, на уступку свободы чувства трезвому благоразумию и надеждам на то, что в будущем ее жизнь непременно «образуется». Но вскоре золотая клетка, устроенная ей заботливым и лучшим из мужей — Петром Ивановичем, покажется ей тесной, и душа ее, не отдавая отчета, затоскует и запросит чего-то другого — от жизни вообще, от людей, от всего мира, чего не в силах ей предоставить никакие внешние заботы и комфорты. В конце романа Петр Иванович, когда было уже поздно, понимает «психологическую» причину болезни своей жены — и казнит себя за «тиранию» над ее сердцем. «За эту тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми наружными и сообразными с его образом мыслей условиями счастья — ошибка ужасная, тем более ужасная, что она сделана была не от незнания, не от грубого понятия о ее сердце — он знал его — а от небрежности, от эгоизма. Он забывал, что она не служила, не играла в карты, что у нее не было завода, что отличный стол и лучшее вино почти не имеют цены в глазах женщины, а, между тем, он заставлял ее жить этой жизнью». Она страдала от неудовлетворенности высших запросов духа, и то тяготение к личной жизни за свой опыт и страх, что сказалось в ней лишь чисто пассивно, нашло полное выражение в Ольге Ильинской.

Ея личность — одно из лучших изображений у Гончарова.

Ольга Ильинская написана в высшей степени жизненно. Нечего и говорить, что она, конечно, не чета Наденьке Любецкой и на целую голову выше Елизаветы Александровны. Умная и трезвая, она спокойно, без внутренней суеты, смотрит на мир и на предстоящие ей жизненные задачи, не со-

здает себе кумиров, не мечтает о несбыточном, но в то же время не может себе представить жизнь в одних только буржуазных рамках. Ясный ум освещает дорогу ее чувству, но и в области чувства слепой инстинкт никогда не идет у нее впереди ума.

Любовь у Ольги Ильинской соединяется с решением той или иной жизненной задачи. Такую задачу она увидала в Обломове и, зная себе цену, признала эту задачу достойной себя. Ольга инстинктивно почувствовала в душе Обломова то прекрасное и высшее начало, которое могло ярко осветить его жизнь и сказаться в деятельности, исполненной плодотворного значения и благородства, но эта искра Божия в нем угасала, и не было заботливой, нежной руки, которая поддержала бы ее и дала бы ей разгореться и вспыхнуть ярким пламенем активного стремления к идеалу. С трогательным участием протянула Ольга эту нежную и заботливую руку, движимая столько же любовью, как и развернувшимся перед ней интересом борьбы во имя возвышенной цели — воскресить умирающее в человеке божественное начало. Интерес борьбы участвовал тут несомненно: вне его, кристальная честность и доброта Обломова едва ли были бы способны остановить на себе внимание такой девушки, как Ольга Ильинская, и нельзя не придать значения тому обстоятельству, что Штольц сумел заинтересовать и показать Обломова Ольге с наиболее драматической стороны. «Она мигом взвесила свою власть над ним, — рассказывает Гончаров, — и ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и отразится в нем. Она разнообразно торжествовала свое первенство в этом поединке»...

В высшей степени женственная и мягкая по натуре, Ольга трезво и даже сурово смотрит на жизнь и любовь. Она не боится ни того, ни другого и бодро идет на встречу заранее рассчитанной судьбе. Она не самообольщается относительно

Обломова и знает, что ей предстоит упорная и трудная работа. «Для меня любовь эта — все равно, что жизнь, а жизнь — долг, обязанность, следовательно, любовь тоже долг: мне как будто Бог послал и велел любить». И Ольге кажется, что у нее достанет сил «прожить и пролюбить всю жизнь». Обломов был недаром поражен такими словами Ольги. «Кто ж внушил ей это? — думал он, глядя на нее чуть не с благоговением: — и не путем же опыта, истязания, огня и дыма дошла она до этого ясного понимания жизни и любви!»

Ольга не ошиблась в себе, когда полагалась на свои силы и ум, идя на борьбу с обломовщиной, но она не сразу поняла всю безнадежность положения Ильи. В то время, как мысль его терзалась и мучилась, вспыхивая от пламенных усилий Ольги разжечь его самолюбие и вызвать к активной деятельности волю, все инстинкты его природы, завещанные ему вековой наследственностью, тянули его к сонному прозябанию, неподвижности и покою. Трагизм катастрофы причинил, можно с уверенностью сказать, более страданий Обломову, чем Ольге. Высота, на которую возвела его Ольга, оказалась ему не под силу, и, когда он упал на землю, «с облетевшей мечтой невозможного счастья», искра Божия в нем окончательно потухла. В этом отношении попытка Ольги ускорила процесс нравственной смерти Обломова.

Так же трезво отнеслась Ольга к своему положению после катастрофы, но в душе ее на всю жизнь остались следы не заживавшей раны. Связать свою судьбу с Обломовым — значило для нее осуществить высший смысл практического стремления к идеалу, насколько он может быть достигнут в жизни. Замужество со Штольцем открывало почетный выход ее лучшим дружеским чувствам и в то же время давало ей общественное положение. Но интереса борьбы для нее в этом браке не было, а когда добрый Штольц, подобно Петру Ивановичу, окружил ее вниманием и заботой, в душе у нее об-

разовалось пустое место, и, подобно Елизавете Александровне, она стала томиться неудовлетворенностью и мучительным сомнением, так ли решена ее жизненная задача. Ее все тянуло куда-то вдаль, на светлый простор жизни, где нашлась бы для нее своя собственная, сознательная и плодотворная работа.

Выполняя программу Петра Ивановича, Штольц заговаривает о докторе, о поездке заграницу, но сам понимает, больше чувством, чем умом, что причина болезненного недовольства Ольги тоже «психологическая», для которой нелегко подыскать средство. «Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани, — говорит он ей, — не находят, конечно, ответов, и является грусть... временное недовольство жизнью... Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне... Может быть, и с тобой то же... Если это так — это не глупости». Штольц не догадывается об истинной причине грусти Ольги. Это не расплата за Прометеев огонь, как объясняет он дальше, но жажда того же живого, не рутинного дела, о котором мечтал Обломов, жажда жизни за свой личный счет, с правом сознательного участия во всех радостях и скорбях, которыми движется не одна семья, но и все общество, народ, человечество, весь мир... Ольга — истинная героиня пробуждения русской женщины, и по отношению к ней те формы жизни, в которые ввел ее Штольц, были тоже своего рода золотой клеткой. Она могла убедить себя примириться с нею, но не уничтожить в себе стремления к свободе.

Гончаров утверждал, что Наденька и Ольга — это одно лицо в разных моментах. «От неведения Наденьки — естественный переход к сознательному замужеству Ольги со Штольцем, представителем труда, знания, энергии — словом, силы». По отношению к факту замужества — может быть, но не к внутреннему содержанию и ценности жизни, как они

инстинктивно понимались Ольгой. Сознательность, главным образом, делает Ольгу такою какова она есть. То, что Елизавета Александровна постигает только чувством, сама себе почти не отдавая отчета в логических основаниях своего разочарования, то Ольга Ильинская понимает своим ясным умом. Но нужны были века, чтобы сначала из теремной затворницы, потом вертопрашки и щеголихи, потом пустенькой барышни и маменькиной дочери, Наденьки, выработалась сознательная Ольга, человек и женщина в лучшем значении этих слов. Эта сознательность, за которую ей не пришлось заплатить ни чарующей мягкостью души, ни обаянием женственности, делает этот образ положительно идеальным, призванным неизменно увлекать мысль на высоту нравственного совершенства и поддерживать веру в вечные начала, движущие миром, — начала красоты и добра.

Душевный мир Ольги и вся психология ее любви к Обломову раскрыты Гончаровым с тою же глубиной проницательности и тонкостью художественной кисти, с какою он угадал истинный смысл бессмертной комедии Грибоедова и разобрал тончайшие нити интриги между Чацким и Софьей. Когда Ольга поняла Обломова, она пошла навстречу своему чувству уверенно и прямо, не играя с ним и не лукавя.

Эпизод с веткой сирени — сама поэзия, душистая и нежная, как весна. В эту поэзию вплетается, органически и естественно, не нарушая гармонии, серьезная жизненная мысль, в которой сосредоточивается вся глубина истин активного проникновения Ольги в задачи и цели возвышенной сознательной жизни. «Они шли тихо; она слушала рассеянно, мимоходом сорвала ветку сирени и, не глядя на него, подала ему»... «Она как будто нарочно открыла заветную страницу книги и позволила прочесть заветное место»... И Обломов, точно по мановению волшебной руки, воскресает: туманное лицо его мгновенно преображается, в нем играют краски, двигаются мысли, в глазах сверкают желание и воля, и ему

кажется, что жизнь опять отворяется ему: « — вот она, — как в бреду лепечет он, — в ваших глазах, в улыбке, в этой ветке, в Casta diva... все здесь».

Здесь все — и доверчивость простой и честной души, и сознание своей власти, и игра ума, и невинное, чисто-женское лукавство, и молодость, и надежды, и какая-то нега весны, и запах сирени... И, вместе с Обломовым, читатель невольно поддается обаянию свежести и обновления, готов снова верить надеждам и мечтам, и в образе Ольги для него воплощается то высшее, одухотворяющее жизнь дыханием весны и поэзии, вечно-женственное начало, которое неустанно зовет его вперед, все вперед — на борьбу, на тревогу, на жизнь...

Сколько здесь освежающего, бодрящего настроения, проходящего, словно для контраста, по всем изображениям мертвенной апатии и скуки... В этом контрасте — одна из тайн в своем роде единственного гончаровского таланта.

XL

Агафья Матвеевна Пшеницына. — Ея личность, интересы, обстановка. — Самоотверженная любовь к Обломову. — Жизненная задача.

Сознательность — великое слово. Мы заметили выше, что для натур, подобных Ольге Ильинской, она составляет все. История ее есть история нашего просвещения, борьбы общественных начал, последовательный рост нашего общественного развития. Отнимите у Ольги ее сознательность, делающую ее человеком своего века, да опустите классом пониже, и вы получите не Наденьку Любецкую, о, нет! но, ни больше, ни меньше, Агафью Матвеевну Пшеницыну. Агафью Матвеевну, без всякого анахронизма, можно поместить в какой-угодно век, и она в любую эпоху будет на своем месте, с своей доброй наивностью и детским равнодушием ко

всему, что выходит из сферы домашних и специально-хозяйственных интересов.

Опустить Обломова в обстановку ее домика на Выборгской стороне, заставить его жить и в то же время умирать под крылышком этой женщины, которая, по силе своей любви к Обломову, не уступит Ольге Ильинской, но является антиподом ее по отсутствию сознательности, было делом величайшей, можно сказать, гениальной прозорливости Гончарова.

Агафья Матвеевна — чудесный тип простой, немудреной русской женщины, доверчивой, любящей, идеально-честной. Много родственных струн отозвалось в сердце Обломова на ее приветливую улыбку, и не одними только кулинарными талантами, пухлыми, белыми локтями привязала она его к себе. После перенесенной им катастрофы он более всего нуждался в физическом уходе, заботливо обставленном покое. Для него имело положительное значение и то, что Агафья Матвеевна была крайне ограничена, что с ее стороны он мог не ждать никакого умственного беспокойства, никаких тревожных вопросов, недоумений, сомнений, загадок. В ее лице у Обломова явилось как бы повторение всей неги, всех забот и любви, которыми он был окружен в Обломовке, в пору раннего детства. Она была для него всем — и преданной нянькой, и доброй матерью, и неизменно-любящей хозяйкой-женой, без тех неудобств, которые, как он знал, в других случаях бывают неразлучны с разного рода беспокойствами, в роде измен, охлаждений, ревности, ссор.

В любви Агафьи Матвеевны к Обломову было много заботливых дум и несознаваемого самоотвержения. Но и ей самой она много давала, эта любовь, тихим и ровным пламенем горевшая в ее душе. Жизнь ее приобрела, благодаря ей, особенный смысл и содержательность — ранее того времени, как у нее родился ребенок. Она не принадлежала к тем женщинам, которые охладевают к мужьям, как только у них

рождаются дети, отдавая последним все силы своей мысли и чувства. Напротив, ребенок был дорог ей именно тем, что он был ребенком Обломова, что в его детских чертах она угадывала дорогие ей черты ее «барина», Ильи Ильича. В сущности, другой жены Обломов для себя никогда не желал — даже в прежних своих мечтах о женщине. В ней олицетворились для него «норма» любви и спокойное биение пульса.

Агафья Матвеевна была способна, сказали мы, на самопожертвование ради Обломова, даже на борьбу. Стоит припомнить ее поведение, когда, благодаря проделкам ее продувного братца, ни у Обломова, ни у нее вдруг не оказалось денег для «хозяйственных размахов ее по части осетрины, белоснежной телятины, спаржи и прочей добропорядочной снеди. «В первый раз в жизни, — рассказывает Гончаров, — Агафья Матвеевна задумалась не о хозяйстве, а о чем-то другом, в первый раз заплакала, не от досады на Акулину за разбитую посуду, не от брани братца за недоваренную рыбу; в первый раз ей предстала грозная нужда, но грозная не для нее, — для Ильи Ильича».

Никто не помог ей в беде — ни братец, ни мужнина родня. Но ей дали добрый совет, и она решилась на то, на что не решилась бы ни при каких других обстоятельствах: она стала закладывать свои заветные драгоценности — жемчуг, полученный в приданое, потом фермуар, потом серебро и мех, потом стала продавать свои салопы и платья. И на столе у Ильи Ильича, невинного, как ребенок, по-прежнему являлась смородинная водка, отличная семга, любимые потроха, белые свежие рябчики... Праздный гуляка или модный франт, с застенчивой улыбкой закладывающий часы для вечернего букета опереточной певице, никогда не догадаются о той драме, какая совершается на их глазах, когда заветная вещь, символ честной трудовой жизни двух-трех поколений, переходит иногда из дрожащих рук в черствые руки закладчиков. Вместе

с вещью закладывается и оскверняется священное воспоминание о покойной матери или отце, о верном друге или собственном светлом девичестве. Но любовь заглушала в Агафье Матвеевне все личные интересы, воспоминания, привычки; вне ее у нее не было ничего священного и дорогого, и она, не колеблясь ни минуты, отперла заветные сундуки и унижалась перед лавочниками, упрашивая их отпускать в кредит. «Как вдруг глубоко окунулась в треволнения жизни и как познала ее счастливые и несчастные дни! — восклицает Гончаров. — Но она любила эту жизнь: несмотря на всю горечь слез и забот, она не променяла бы ее на прежнее тихое теченье, когда она не знала Обломова»... Агафья Матвеевна жила полною жизнью и вся так и светилась своим счастьем, за которым не было никаких стремлений или желаний, но только высказать этого счастья она, как и прежде, не могла. Так тянулись дни и годы.

Но нежданно свалилась беда: с Ильей Ильичем случился апоплексический удар. Предстояло переменить режим — момент не менее драматический для Обломова, чем удар, — и Агафье Матвеевне предстояла новая и трудная забота — отвлекать его от вина, от жирного и мясного, от послеобеденного сна, от неподвижности, словом, от всего, к чему так привык Обломов прежде. И она недреманным оком бодрствует над Ильей Ильичем, действуя на него то хитростью, то лаской. Илью Ильича тянет к прежним привычкам, он упрямится, капризничает, тоже хитрит, но с Агафьей Матвеевной ему не совладать, и она всегда выходила из такого конфликта победительницей. С уст ее не срывается при этом ни одной жалобы, упрека или выражения усталости и досады, — лицо ее, как прежде, озарено приветливой улыбкой, и любит она Обломова не менее, если не больше. И, когда умер Илья Ильич, она поняла, может быть, впервые, внутренний смысл своего бытия, и то, какое место занимал в нем Обло-

мов, «она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда... но зато навсегда осмыслялась и жизнь ее: теперь уже она знала, зачем она жила, и что жила не напрасно»...

И в то время, когда Ольга Ильинская томилась недовольством жизнью и мучилась сомнениями, внутренний смысл Агафьи Матвеевны открывал ей несомненную и вполне доступную ее пониманию истину, что ее жизненная задача, поглотившая в себя идеалы и мечты Обломова, решена правильно, естественно и честно.

XLI

Бережкова в сопоставлении с Агафьей Матвеевной. — Величавость Бережковой; сила воли. — Духовное родство ее с Марфинькой и Верой. — Личность Марфиньки. — Характеристика ее у Д. С. Мережковского. — Личность Веры; ее вдумчивость и пытливость. — Встреча Веры с Марком.

Если из скромного домика на Выборгской мы перенесемся в барскую усадьбу Бережковой, то, в отсутствие Райского, различие в типах нас не особенно поразит. Разница будет заключаться, главным образом, в обстановке, в масштабе жизненных интересов; среди молодого поколения придется отметить некоторую «умственность», но общий колорит жизни, зависящий от характеров и вкусов людей, останется прежний. Бабушка и Агафья Матвеевна многим напоминают друг друга, и если бы перенести Агафью в условия крепостного помещичьего быта, у нее развились бы те же феодальные привычки, — сходство на первый взгляд могло бы показаться поразительным.

В своем кругу Агафья Матвеевна не умнее и не глупее бабушки; ее практическая сметка, как и «мудрость» бабушки, одинаково почерпаются из одного и того же народного ис-

точника. Попытки просветить Агафью Матвеевну идеями общего блага имели бы не больше успеха, чем и в том случае, когда их проводником в усадьбе Татьяны Марковны являлся просвещенный Тит Никоныч. В то же время обе женщины были глубокими, душевными натурами, способными на продолжительную привязанность, на нежную заботу, на жертву; наконец, в сфере понятий своего круга обе были высоко-порядочны и честны.

Но по этой общей канве жизнь провела у Бережковой более сложный и тонкий узор. Основные черты характера развились у нее разностороннее и глубже. Даже не разделяя восторгов Гончарова перед Татьяной Марковной, нельзя не признать в ней той особой величавости, которую придает образу присутствие могучего духа, выдающейся силы воли. Бабушка была более на виду, и героизм ее, на который она бывала способна в минуты сильных душевных потрясений, был заметнее и эффектнее, чем скрытый глубоко в душе, не менее трогательный по существу, героизм Агафьи Матвеевны.

Недалеко отходят от бабушки, по своему внутреннему складу, в смысле типов, и обе ее внучки, — Марфинька и Вера. Если бы наследственность была ближе, если бы Татьяна Марковна приходилась обеим девушкам матерью, мы сказали бы, что к Марфиньке и Верочке перешли порознь все наиболее типические черты ее нравственной физиономии. У обеих сестер на общие родовые черты легли индивидуальные особенности.

На протяжении большей половины романа Марфинька кажется воплощением Татьяны Марковны в юности. Непосредственная, жизнерадостная, практически-настроенная, она не знает никакого раздвоения, никаких внутренних противоречий и мучительных вопросов. Не выходя из круга бабушкиной морали, она с наивной верой в Бога, судьбу и бабушкин авторитет соединяет светлый взгляд на жизнь и на мир, где

все для нее ясно и просто, как она сама. «Она никогда не задумывалась, а смотрела на все бодро, зорко». Она все видела, все знала, что делалось в усадьбе и в доме, была прилежна, добра, облегчала крестьянскую нужду, принимала участие во всех событиях усадебной жизни. «Только пьяниц, как бабушка же, она не любила, и однажды даже замахнулась зонтиком на мужика, когда он, пьяный, хотел ударить при ней жену»... И Татьяна Марковна любила Марфиньку, как живое воплощение себя самой, в укладе покойной и правильно рассчитанной жизни, как будущую правительницу и продолжательницу добрых традиций, основанных на скромности, вере и труде.

Образ Марфиньки нашел красивое истолкование в «Вечных спутниках» Д. С. Мережковского.

Он говорит: «Грациозный образ Марфиньки — самое идеальное и нежное воплощение всего, что было хорошего в старой помещичьей жизни. Марфинька живет в родной обстановке так же привольно и весело, как птица в воздухе, рыба в воде; ей ничего больше не надо. Это полная счастливая гармония с окружающей природой, не нарушенная ни одним ложным звуком. «Чего не знаешь, — с наивностью признается Марфинька, — того не хочется. Вот Верочка, той все скучно, она часто грустит, сидит, как каменная, все ей будто чужое здесь! Ей бы надо куда-нибудь уехать, она не здешняя. А я — ах, как мне здесь хорошо: в поле, с цветами, с птицами, как дышется легко! Как весело, когда съедутся знакомые!.. Нет, нет, я здешняя, вся вот из этого песочку, из этой травки! не хочу никуда». Жизнь так прекрасна, что люди, несмотря на все усилия, даже рабством не могли ее испортить и сквозь «обломовщину», сквозь крепостное право, пробивается она, чистая и вольная. Пусть Марфинька кажется нам неразвитой, глупенькой девочкой, пусть читает только такие романы, которые кончаются свадьбой, запирает лакомства в особый шкафик, зато какой поэзией, счастьем и добротой

веет на нас от этого сердца! Все новейшие идеи Райского отскакивают от нее. Но разве она не исполняет того, что умнее всех этих идей — великую заповедь любви? «Она девкам дает старые платья... К слепому старику носит чего-нибудь лакомого поесть или дает немного денег. Знает всех баб, даже ребятишек по именам, последним покупает башмаки, шьет рубашонки». Она любит детей, любит жизнь вокруг себя. Е нежная женственная симпатия простирается еще дальше, за пределы человеческого мира, на всю природу, цветы, деревья, животных.

«Люди больших городов, суетной жизни, оторванные от природы, никогда не знавшие патриархального очага, едва ли могут даже представить себе всю силу этой первобытной, физической и вместе с тем сердечной любви к родимой земле. Они похожи на цветы, лишенные корней, перенесенные из леса в комнату. Марфинька — это цветок, растущий на воле, пустивший корни глубоко в родную землю»...

Татьяна Марковна отражалась в Марфиньке не сполна. Она перерастала ее не только годами, жизненным опытом и знанием людей. В ней было начало, которого вовсе не было в Марфиньке, и которое всецело выпало на долю Веры. Начало это — порывистость и страстность натуры. С годами Татьяна Марковна, естественно, успокоилась, вошла в общую норму обхождения с людьми и поступков, но и то, время от времени, она вспыхивала, как порох, когда ее задевали за живое, и то становилась поистине величественна, когда стояла за правду, как в сцене с Тычковым, которому она указала на дверь своего дома, то поражала страшной силой духа и глубиной страданий, как в ту ужасную ночь покаяния в своем «грехе».

Неуравновешенность Вериной натуры объясняется, прежде всего, порывистостью ее темперамента. Бережкова называла это свойство в ней дикостью, но понимала, признавала, а главное — уважала его. Она и обходилась с Верой иначе, чем с Марфинькой, не делала ей замечаний, и берегла

и угадывала в одно и то же время. Но иногда Бережкова требовала помощи от Веры и роптала «на дикость», когда дело шло о принятии гостей. Вера хмурилась, страдала и вдруг перемогала себя: появившись среди гостей, она очаровывала их веселостью, теплотой, остроумием, грацией, так что сама Татьяна Марковна диву давалась. Но это состояние длилось у Веры недолго. «Ее ставало на целый вечер, иногда на целый день, а завтра точно оборвется: опять уйдет в себя — и никто не знает, что у нее на уме или на сердце». В отличие от Марфиньки, в ней не было ясности и простоты, того, что называется открытой душой, и Райский недаром называл ее неуловимой. «Какая противоположность с сестрой, — восклицает он о Вере в своих восторженных грезах: — та — луч, тепло и свет; эта вся — мерцание и тайна, как ночь, полная мглы и искр, прелести и чудес»...

Это прелестно, не правда ли? Но сила кисти подчинила своему обаянию далеко не всех читателей Гончарова. За падение Веры и Марка Волохова ему сильно досталось в свое время от публицистики конца 60-х и начала 70-х годов. Особенно ополчился на него Скабичевский, который требовал от художника не отражения жизни во всем ее разнообразии, во всей слитности и неразгаданности, но воплощения в образах прописной морали. Скабичевский не видел в Гончарове интуитивного художника, но требовал, чтобы он был тем, чем именно Гончаров не должен был быть, но чем пытался быть, вопреки своему влечению, — публицистом. И поскольку Гончаров, действительно, делал вылазки в несвойственную ему область, постольку педантическое отчитывание его Скабичевским могло иметь значение морального воздействия за художнический «грех». Для нас оно любопытно, как показатель того уровня морально-общественных представлений, которые в эпоху создания «Обрыва» были характерны для критика.

«Если только, — пишет Скабичевский в статье «Старая правда», — Вера обладала хоть каплей ума, то, прочтя трактат Прудона о собственности, она с удивлением увидела бы, что между принципами Прудона и ворованием яблок из чужого сада нет ни малейшей логической нити, никакой точки соприкосновения[70]. Заблуждение Марка могло возбудить в Вере участие и желание воротить его на верную дорогу только в таком случае, если бы это было логическое заблуждение глубокого ума, который бы сказывался в самых крайностях заблуждения. Вот если бы на основании Прудона Марк Волохов объявил Вере, что он никогда в жизни не позволит себе съесть ни одного куска, который бы он не заработал честным, призводительным трудом, а относительно яблок заметил бы, что они должны принадлежать не Вере, не ему, Марку Волохову, а тому садовнику, который прилагал свой труд в произращению их, в таком случае Вера, прочитавшая Прудона, увидела бы, что слова Марка прямо истекают из прудоновских принципов, могла бы с своей точки зрения видеть в словах Марка заблуждение, но видела бы заблуждение умного человека, способного понимать и усваивать, что читает. Такое логическое заблуждение могло возбудить в Вере участие, желание спорить с Марком и, по возможности, обратить его на свою сторону. Но в применении принципов Прудона к ворованию яблок из чужого сада Вера ничего не могла увидеть, кроме безумного и дикого скачка идиота. Ну, а где женщина видит идиота, там плохая надежда на какую-либо иллюзию и влюбчивость».

Высказав в скобках догадку, что Гончаров или не читал Прудона, или имеет о нем очень смутное понятие, Скабичевский продолжает: «Таким образом, пытаясь изобразить в лице Веры сильную, недюжинную личность и вдруг заста-

[70] Скабичевский, А. См. выше.

вивши увлечься эту недюжинную личность какой-то смешной и жалкой пародией на человека, олицетворенной карикатурой, Гончаров окончательно разрушил всякую иллюзию романа. Неужели Гончаров ослеп до такой степени, что не замечает, как этим самым глубоко унижает он свою героиню? Чтобы допустить возможность падения Веры с обрыва при таких условиях, нужно предположить что-нибудь из двух: или Вера сама была настолько слаба разумом, что очевидный, ничем не прикрытый идиотизм Марка Волохова остался ею незамеченным до конца романа; или же это была в такой степени распущенная натура, что, замечая идиотизм Волохова с самого начала знакомства с ним, споря постоянно и ни в чем не сходясь, она все таки решилась пасть в его объятья, — это уже черт знает что такое!»

Возмущение Скабичевского производит впечатление комично-трескучего резонерства, которое не хочет знать ничего, кроме безжизненных схем или геометрических построений, которое бежит от жизни, воплощенной в образах плоти и крови, полной противоречий и неразгаданностей. Скабичевскому представлялось, что достаточно было Вере прочесть Прудона, чтобы изменить в корне весь строй своих понятий и взглянуть на Марка совсем иными глазами. Во-первых, Марк поозорничал с яблоками ранее того, чем книга Прудона оказалась в руках у Веры. Во-вторых, трактат Прудона о собственности не принадлежит к числу книг, которые разом даются мысли и сознанию хотя и умной, но все же недостаточно подготовленной для книг подобного рода провинциальной барышни. Следовательно, от озорной выходки Марка, как вероятно, оценила его поведение с яблоками Вера, до момента возможного проникновения идеями Прудона прошел весьма изрядный промежуток времени, который мог совершенно заставить Веру забыть вздорный эпизод их первой встречи. И требовать установления логической связи между этими двумя моментами мог только публицист, для

которого азбучные истины о честном труде должны были нуждаться в авторитете Прудона.

Или Вера *должна была* увидеть в Марке то, что разглядел в нем Сдабичевский, или она — слабая, ничтожная натура... Или — или, среднего нет, — как рассуждает Скабичевский. Но так ли это? Но вдумался ли наш критик в то, *могла ли* Вера в ее положении разглядеть в Марке *сразу* что-либо иное, кроме того, что Марк не похож ни на кого из знакомых ей людей, и что в нем, под его причудами, скрывается нечто глубоко для нее любопытное, приподымающее завесу какого-то нового мира?

Художнический инстинкт Гончарова оказался не только выше глубокомысленных прописей Скабичевского, но и мудрований самого художника, благодаря чему и Вера и Марк вышли в романе живыми людьми.

В чем же секрет ее увлечения Марком?

Марфинька берет жизнь, как она есть, отражая все переливы ее света и тени; Вера всегда думает над жизнью, пытается уловить ее тайну, ее внутренний смысл и то, какое место может и должно принадлежать ей самой в этом творящемся вокруг нее процессе. Чем больше укрепляется в ней эта пытливость, чем глубже, с помощью книг и идей, хочет она проникнуть в самую сущность жизненных явлений, тем большее несоответствие встречает она между порывами своего искания и окружающей обыденностью и низменной суетой чисто обломовского переползания изо дня в день. И там, где она ищет внутреннего содержания, ей предлагают одну голую форму, одну поверхность жизни, без ядра, без того внутреннего света, которым озаряется и красится настоящая, истинно человеческая, сознательная жизнь. Она еще бродит в потемках, не зная, куда идти, в ее душе уже поднимается решительный, хотя и невысказываемый протест против бессодержательности и усыпляющей монотонности обломовской жизни. Она готова броситься всеми силами своей

порывистой натуры навстречу первому лучу, который укажет ей истинный путь к уразумению жизни и научит, как приложить ей свои силы, богатый запас которых она чувствует в себе, чтобы жизнь не прошла бесплодно. Она обо многом думала и до многого добиралась сама, силою своего ума и наблюдательности.

«Она не теряла из вида путеводной нити жизни, и из мелких явлений, из немудренных личностей, толпившихся около нее, делала не мелкие выводы, практиковала силу своей воли над окружавшею ее застарелостью, деспотизмом, грубостью нравов»...

«Она по этой простой канве умела чертить широкий, смелый узор более сложной жизни, других требований, идей, чувств, которых не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другие строки, которых жаждал ее ум и требовала натура». Но она была одна, вечно одна, со своими сомнениями и мечтами. Ей не с кем поделиться ими и не к кому обратиться за советом. Ни Татьяна Марковна, ни Тит Никоныч не могут ответить на ее запросы. Они — старое поколение; каждый по-своему, они пережили свою молодость не так, как переживает Вера. Она инстинктивно чувствует глубокую, в этом смысле историческую, разницу между собою и ими, — ей и в голову не приходит обратиться к ним за помощью и указанием. И в тот момент, когда она стоит на распутьи, оторвавшись от бабушкиной морали и чувствуя, с одной стороны, невозможность вернуться к ней, а, с другой, задыхаясь от невозможности найти выход жизненным стремлениям вперед, в этот самый момент перед ней появляется Марк.

Марк поразил ее воображение, прежде всего, как необычное явление, составлявшее полнейший контраст с опротивевшими ей формами мещанской обыденности. Он явился нарушителем всех укоренившихся в этом обывательском мирке взглядов и правил приличий, порядочности,

благонадежности и благоразумия. Но Вера своим зорким умом разглядела в нем то, что составляло в нем его сущность и чего, кстати сказать, не разглядел сам Гончаров, — то, что он стал нарушителем этих правил не потому, чтобы был по природе своей человеком негодным, злым или грубым, но оттого, что он глубоко презирал эти правила и узаконившиеся ими явления, как отжившие, давно ненужные и враждебные новым побегам не стесняемой извне, осмысленной жизни. Презреть и возненавидеть с высоты диогеновского скептицизма и притом любви к людям все, что для толпы составляет предмет жизненных усилий и венец желаний, значило выказать большое личное и гражданское мужество, обнаружить недюжинную, даже героическую натуру, — и Вера поняла и оценила его.

XLII

Марк Волохов, как тип. — Его «новое учение». — Личность Марка в изображении Гончарова и в действительности. — Бабушкина мораль и «софизмы» Марка.

Гончаров недостаточно полно и определенно передает сущность «нового учения», которое принес с собою Марк; Тургенев в своем Базарове рассказал об этом отчетливее, но все еще недостаточно полно, а — главное — недостаточно, может быть, проникновенно в глубь явления; истинный характер того, что Гончаров называет «новой правдой» и «новой наукой», выяснит обстоятельнее только история, когда подсчитает итоги деятельности подлинных Базаровых и Марков. «Иных уж нет, а те далече», — но и тех фактов, что уже выяснились и внедрились в общественное самосознание, слишком достаточно, чтобы видеть, что Гончаров не все подслушал в речах Волохова и Веры и многому придал не вполне точный и реальный смысл.

Прежде всего, Марк — не отрицатель во имя только отрицания. Если он и «нигилист», то лишь в очень определенном, прямо историческом значении этого слова, но отнюдь не в буквальном. Он задает Райскому насмешливый вопрос, уж не верует ли тот, в самом деле, в Бога, не ходит ли ко всенощной, словом, — подкапывается под величайшие вопросы духа — религию и веру... Но это лишь одна видимость, невинная игра словами, сам же он, как это ни парадоксально на первый взгляд, — верующий и убежденный человек. Он отказывается верить и смеется над старым богом обломовского суеверия, над тем идолом, своего рода Перуном с золотыми усами, над которым глумились и предки наши, когда уверовали во Христа. Бог пестрой семьи обломовцев — бог не любви и правды между людьми, но насилия и рабства, бог — раздаватель житейских благ, лицеприятный и подкупный, а не верховный судия совести, блюститель своих законов мира и правды на земле. Этому богу отказывается поклониться Марк, потому что у него есть свой. Пусть назовет он его материей, наукой, разумом, конечным результатом знания и опыта, как угодно, — сущность остается одна и та же. К ней, к этой сущности, обращены все помыслы и надежды Марка, в ней — вся его религия и вера, его готовность жертвовать собою во имя счастья будущих поколений. Марк — весь человек будущего, хотя в этом он, может быть, и не отдает себе ясного отчета; ему кажется, что те начала, выразителем которых он служит, вступают в жизнь вместе с ним, и что — он и есть работник настоящего момента. Его постигает неудача, — семена, созревшие в нем самом, от него падают на нераспаханную почву. Предстоит еще продолжительная работа, но именно отдаленность цели и самая цель, к которой он так пламенно стремится, — пересоздать общество на новых началах — заставляют смотреть на него с особой точки зрения: он — скорее охваченный глубокой верой идеалист, чем поверхностный скептик-материалист или атеист.

Основная цель стремлений Марка и заставила его объявить непримиримую войну всему прежнему, устаревшему, но еще прочно державшемуся строю русской жизни, с его закоснелыми недостатками, крепостничеством, бесправьем, произволом и всяческим гнетом, нашедшим себе бытовое оправдание в бабушкиной морали. У Марка призыв к этой борьбе выражается в различных, иногда весьма своеобразных формах. То он смеется над бабушкой и феодальными привычками, то подкапывается под авторитеты почтенных и заслуженных людей, то бросает вызов властям. «Перестанемте холопствовать, — говорит он Райскому: — пока будем бояться, до тех пор не вразумим губернаторов»...

Когда Марк говорит о «новой, грядущей силе», о «партии действия», он нисколько не рисуется этим и ни словом не выказывает своего преобладающего значения, своей какой-нибудь особенной роли среди своих единомышленников. Его «партия действия» — не какая-нибудь организация, но естественная противница устаревших начал жизни — молодое поколение, те, которых, по его выражению, «держат в потемках умы, питают мертвечиной и, вдобавок, порют нещадно»; они — «падки на новое, рвутся изо всех сил — из потемок к свету». Марк — «вспрыскиватель мозгов» провинциальной молодежи; он будит в них мысль, возбуждает в них критическое отношение к действительности, «учит дураков», как он выражается в разговоре с Верой.

— «Чему? — спрашивает она. — Знаете ли сами? Тому ли, о чем мы с вами год здесь спорим? Ведь, жить так нельзя, как вы говорите. Это все очень ново, смело, занимательно»...

Какие усилия ни употребляет Гончаров, чтобы развенчать своего противника, образ говорит сам за себя. Все, что проповедовал Марк, было именно ново, смело и занимательно. Гончаров не рассказывает, о чем, кроме любви, они говорили и спорили целый год, но из других страниц романа мы узнаем, что Марк говорил не от себя, что он сам читал и дру-

гим давал книги, и сама Вера, по его указанию, читала, например, Прудона и Фейербаха. Давая читать свои «страшные» книги с разбором, Марк однажды был очень огорчен, когда двое юношей оказались недостаточно серьезными для его идей. Так или иначе, но умница Вера на этих книгах могла проверить, насколько его учение было основано на фактах, жизни и науки, а не являлось только выражением его личных взглядов, приложимых, как в этом хотел бы нас уверить Гончаров, только к его животно-эгоистической теории свободной любви.

Вообще, насколько образ Веры поражает своей законченностью и художественной правдой в описательной части романа, где о ней идет речь, и в отношениях к Райскому, настолько он неясен, внутренне-противоречив и, скажем прямо, фальшив везде, где она является рядом с Марком. В сопоставлении с ним — куда девается ее протест против окружающей действительности, ее страстное искание правды и света! Она еще более замкнута с Марком, чем с Борисом Райским; прошел год, по словам Гончарова, оживленных бесед ее с Марком, но мы, по воле писателя, возвращаемся к ней только тогда, когда она уже утомлена, разочарована, даже, без достаточных оснований для читателей, предубеждена. Словами Гончарова она обрушивается на Марка, как на проповедника новых идей, спорит с ним целый год, читает по его указаниям книги, находит его беседы «смелыми и занимательными» и в конце концов оказывается какой-то робкой и слабой овечкой, которую даже могучая страсть не была в силах оторвать от бабушкиных «подгнивших» корней. «Не мне спорить с вами, — говорит она Марку со слезами на глазах, — опровергать ваши убеждения умом и своими убеждениями! У меня ни ума, ни сил не станет. У меня оружие слабое и только имеет ту цену, что оно собственное, что я взяла его в моей тихой жизни, а не из книг, не понаслышке». Оказывается, не Марк привлек Веру надеждой на выход к правде и

свету, как они понимались ею в идеальном тумане будущего, но Вера задалась целью приручить к себе беспокойного и беспорядочного чудака и сделать себе из него на всю жизнь спутника и друга. Какое разочарование и какая проза!

«... Она вздохнула, как будто перебирая в памяти весь этот год.

— Вы поддавались моему... влиянию... И я тоже поддавалась вашему уму, смелости, захватила было несколько... софизмов ...

— И на попятный двор, бабушки страшно стало?! Что ж не бросили тогда меня, как увидали софизмы? Софизмы!

— Поздно было. Я горячо приняла к сердцу вашу судьбу»...

Надо отдать справедливость Гончарову: роман был задуман гениально, и если бы автор не испортил его публицистическими вылазками против Марка и сохранил за ним идейно-общественный интерес до конца, не сходя с исторической и художественной почвы, его роману предстояло бы сделаться, быть может, явлением, исключительным во всей русской литературе. Но изображать социально-политические задачи, как они решались на глазах писателя, было не под силу Гончарову, и он быстро перевел роман на почву психологического интереса к развитию страсти, изображения которой давались ему гораздо легче, открывая большой простор запасу его наблюдательности и свойству таланта.

XLIII

(Марк Волохов, как тип). — Марк и Вера. — Полемика Гончарова с Марком. — Неосновательность обвинений, возводимых Гончаровым на Марка, как представителя «новой силы».

Впутать страсть в общественную канву романа было не только естественно, с обычной точки зрения, не только предусмотрительно, с точки зрения занимательности его для читателей, но и полезно для Гончарова в его стремлении

развенчать Волохова, показать, что он нисколько не лучше самых обыкновенных, не мудрящих над жизнью людей. Действительно, через год оживленных споров острота логических противоречий и несогласий смягчается чувством последовательно-растущей и взаимно-угадываемой любви. Марком овладевает страсть, и под ее влиянием, он уже не видит в Вере свою ученицу, одну из возможных участниц «партии действия», но только женщину, обворожительную грацией, умом, красотой. А Марк далеко не равнодушен к этим очарованиям: несмотря на внешнюю грубоватость своей натуры, он умеет ценить высшие, не всякому понятные движения женской души, ее бесконечную нежность и чуткость. И влюбленный, почти обезумевший от страсти, чего-чего не наговорил он в своих горячих речах, полных логических несообразностей и восторженного бреда. И, тем не менее, готовый идти на все уступки, во имя Веры, какие только возможны, даже остаться там «жить тише воды, ниже травы», он ни пяди не уступает ей из своих коренных убеждений и, в то же время, не лжет и не обманывает ее клятвами в вечной и ненарушимой любви.

« — Чего же еще? Или... уедем вместе! — вдруг сказал он, подходя к ней.

Перед ней будто сверкнула молния. И она бросилась к нему и положила руку на плечо.

Ей неожиданно отворились двери в какой-то рай. Целый мир улыбнулся ей и звал с собой...

С ним, далеко где-нибудь...» — думала она. Нега страсти стукнулась тихо к ней в душу.

— Он колеблется, не может оторваться, и это теперь... Когда она будет одна с ним... тогда, может быть, он и сам убедится, что его жизнь только там, где она»...

Все это пел ей какой-то тихий голос.

— Вы решились бы на это? — спросил он ее серьезно.

Она молчала, опустив голову.

— Или боялись бы бабушки?

Она очнулась.

— Да, это правда: если б не решилась, то потому только, что боялась бы ее... — шептала она.

— Так не подходите же ко мне близко, — сказал он, отодвигаясь: — старуха бы не пустила.

— Ах, нет, пустила и благословила бы, а сама бы умерла с горя! вот чего боялась бы я!.. Уехать с вами! — повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него: — А потом?

— А потом... не знаю...»

Развиваясь и осложняясь все новыми и новыми моментами борьбы взаимных убеждений и уступок, страсть достигает своего апогея и доводит Марка и Веру до окончательного «обрыва»... до катастрофы.

И вот — Марка возле нее нет... вокруг знакомые лица бабушки, Марфиньки, Райского, Тушина, выступающего на первый план. Страдание и покой, молитвы и утешения, слезы и жгучая боль раскаяния и скорби вольной пронеслись над душой Веры и снова вернули ее на лоно бабушкиной морали и «старой правды». С ними, волей-неволей, пришлось помириться. Проходили дни, — рассказывает Гончаров, — а с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше ровнее.

«Но в этой тишине отсутствовала беспечность». Ее унес с собою Марк, и в этом сонном царстве все встрепенулись и задумались над жизнью.

«Вкушая, вкусих мало меда, и се — аз умираю»... Вера сделала попытку вырваться из угнетавшего ее строя патриархальной жизни, но она сама была еще органически привязана к этому строю и не могла найти в себе силы оторваться от него и бесповоротно уйти, вслед за Марком, навстречу неизвестности и судьбе. Она так и осталась на распутье, на хле-

бах у старой жизни, приготовившей ей компромисс в браке с Тушиным, вроде того, каким едва ли не был брак Ольги со Штольцем.

И, поставив на счет Марку все угловые штрихи и промахи, допущенные им в горячке упоения страстью, Гончаров оставил в тени самую сущность его протестующей натуры и не разглядел в нем его основной черты — органического революционного начала.

Странное впечатление производят иеремиады Гончарова против Марка во второй половине романа. Еще Райского можно было понять. Сведя свои отношения к Марку исключительно на почву заступничества, в качестве «брата и друга», за Веру, он мог бы вымещать на нем всю обиду уязвленного ревнивого самолюбия, свою досаду на то, что не он, Борис Павлович Райский, артист, художник и поэт, но какой-то parvenu Марк Волохов, человек «без имени, без прошлого», «буян», «трактирный либерал», стал избранником Веры. Будучи от природы наклонен относиться к своим поступкам снисходительно и легко, чему помогала способность прикрывать их цветами поэзии, как только они отодвигались от него во времени, Райский мог не отдавать себе отчета, что могло быть истинным источником его враждебного отношения к Марку. Не прямо, не в лицо, как следовало бы в открытой борьбе, но задним числом, на страницах своего дневника или в записках для будущего романа, Райский мог бы сыпать на него укоризны и оскорбления, со всею опрометчивостью, на которую только способны ревность и злоба. Мы говорим — Райский, но за спиною его стоит Гончаров. «Объективный» писатель сливается в этом отношении со своим героем; его рассуждения незаметно переходят в мысли и чувства Райского, и получается странное раздвоение: то, что понятно психологически в Райском, как в человеке, которого постигли неудача и разочарование в любви, становится по-

ложительно необъяснимым, с точки зрения художественной логики, в Гончарове, с его ролью строгого судьи и гражданина. Можно быть не особенно требовательным к Райскому относительно его общественных взглядов, при которых Татьяна Марковна является для него «идеалом, венцом свободы», женщиной, «стоящей на вершинах развития, умственного, социального», но встретить такое явное совпадение со взглядами самого Гончарова нельзя, не заподозрив в писателе лично задетого чувства негодования и вражды.

В самом деле, вникните в смысл взволнованной речи Райского, обращенной к Марку в одну из минут, когда Борису Павловичу было не до рисовки и позы, и когда подлинные мысли и взгляды невольно, сами собой вырывались наружу. Он только-что открыл Верину «тайну» и не знает, на что ему решиться: привести ли бабушку, с толпой людей, на дно обрыва или застрелить «собаку» Марка, для чего, впрочем, у него не хватает духу, — и безумная злоба овладевает им. «Это — наша «партия действия!» — прошептал он: — да, из кармана показывает кулак полицеймейстеру, проповедует горничным да дьячихам о нелепости брака, с Фейербахом и с мнимой страстью к изучению природы вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этаких слабонервных умниц!»... И защитник Веры, ее «брат и друг», не находит ничего лучшего сделать в эту минуту, как довершить трагизм ее положения последним ударом — обдуманно заготовленным букетом померанцевых цветов, брошенных в ее комнату «дружеской» рукой.

Сопоставьте с этой речью Райского рассуждение Гончарова о Марке, сказанное, конечно, в более спокойном тоне, и вы не заметите никакой разницы в коренном их смысле: «Он (Марк), во имя истины, развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, не животную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых

наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий...» «Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вместо отринутого старого, никакого другого, лучшего идеала жизни»... «Он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку»... Из всего учения Марка Гончаров усвоил только одну сторону — свободу от обязательств, налагаемых браком, вполне уместную там, по мнению Марка, где женщина является самостоятельным, равноправным и развитым членом общества, и частный случай преждевременной или неудачной попытки провести эту теорию в жизнь сделал выражением своего несочувствия новому учению вообще.

Этого мало Гончарову. Закончив сцену катастрофы мелодраматическим восклицанием: «Боже, прости ее, что она обернулась!», Гончаров заставил Марка самого произнести себе суд и осуждение и наказать себя за нехороший поступок с Верой. Не нужно быть очень проницательным, чтобы заметить, насколько посвященные этому самосуду страницы внутренне фальшивы и противоречат всему нравственному и умственному складу Марка. Обратим лишь внимание на авторские подчеркиванья, в кавычках и скобках, некоторых слов, напоминающие режиссерские пометки на ролях, и не будем упускать из виду общее поведение Марка.

Все та же страшная ночь катастрофы в обрыве. Марк поднимается на дорогу и мучится вопросом: что он сделал? «Он припомнил, — рассказывает Гончаров, — как в последнем свидании «честно» предупредил ее. Смысл его слов был тот: «помни, я все сказал тебе вперед, и если ты после сказанного протянешь руку ко мне — ты моя: но ты и будешь виновата, а не я».

Но это рассуждение, при его видимой наивности, было не в духе Марка, даже в том неровном освещении, какое придает ему Гончаров. Обмануть ее, увлечь, обещать «бессрочную

любовь», сидеть с ней годы, пожалуй — жениться», — так раздумывал Марк о Вере до катастрофы — и ужас охватил его: «он содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадной обман»... И он любит, ослепляется страстью, падает с Верой на дно обрыва, но не обманывает и в таких вопросах не лжет. Это его отличительный признак.

«Далее, он припомнил, — продолжает Гончаров самовнушение Марка, — как он, на этом самом месте, покидал ее одну, повисшую над обрывом, в опасную минуту. «Я уйду», говорил он ей («честно») и уходил, но оборотился, принял ее отчаянный нервный крик прощай за призыв — и поспешил на зов...»

Построив на рассуждениях Райского целую теорию слепой, всесокрушающей, «стихийной» страсти, Гончаров менее всего склонен применить ее к Марку. Здесь перед ним человек, но не идея. С ним Гончаров и борется, как с бесплотной и бескровной отвлеченностью, логическая несостоятельность которой является целью его усилий. В самом деле, прислушаемся к дальнейшим воспоминаниям Марка: как мало в нем живого и реально страдающего человека!

«Нечестно венчаться, когда не веришь!» — гордо сказал он ей, отвергая обряд и «бессрочную любовь» и надеясь достичь победы и без этой жертвы... Из логики и «честности» — говорило ему отрезвившееся от пьяного самолюбия сознание — «ты сделал две ширмы, чтоб укрываться за них с своей «новой силой», оставив бессильную женщину разделываться за свое и за твое увлечение, обещав ей только одно: «уйти, не унося с собой никаких «долгов», «правил» и «обязанностей»... оставляя ее нести их одну».

Но если кого и можно было обвинять в «пьяном самолюбии», то более Райского, чем Марка. К последнему скорее мог быть обращен упрек в стремлении, наоборот, к излишней трезвости, доходившей до цинизма, но никак не в самолюбии.

«Ты не пощадил ее «честно», — читаем дальше, — когда она падала в бессилии, не сладил потом «логично» со страстью, а пошел искать удовлетворения ей, поддаваясь «нечестно» отвергаемому твоим «разумом» обряду, и впереди заботливо сулил — одну разлуку! Манил за собой и... договаривался! Вот что ты сделал!...»

Однако, заметим мы, из слов Марка вовсе не видно, чтобы он «сулил», да еще «заботливо», разлуку, не рискуя быть смешным, по меньшей мере. Он только не закрывал глаз на естественную возможность разлуки и говорил о ней, как о возможной крайности, боясь и мысли обмануть себя и Веру.

«Волком» звала она тебя в глаза, «шутя»: — теперь, не шутя, заочно, к хищничеству волка в памяти у нее останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого следа о человеке!..»

Так казнит себя Марк, по рецепту Гончарова, будучи готов в то же время, из-за любви к Вере, согласиться на все, даже на брак. Эта готовность — не волчья и не лисья, и обвинение падает само собою. Но постараемся стать на другую точку зрения и зададим вопрос: как переменились бы роли, если бы на месте Марка был «союзник и друг» Веры — Борис Павлович Райский?

Можно с уверенностью сказать, что Райский вел бы себя диаметрально противоположно Марку. Чувство последнего развивалось на почве стремления повлиять на умственный склад пытливой и серьезной девушки, сделать из нее товарища и союзницу в борьбе с косностью и рутиной. Райский чуть не с первого своего свидания с Верой начал ухаживать за нею, причем это ухаживание по большей части носило пошловатый характер. С назойливостью, доходившей до наглости, он преследовал своим фразерством на тему о своей колоссальной страсти, на дне которой лежала самая обыкновенная чувственность и животный эгоизм. В противополож-

ность Марку, он стремился лишь к тому, чтобы привить ей науку страсти нежной и «развить из нее женщину». Вне этого стремления внутренний мир Веры мало интересовал Райского. Не будь ее, с ее обаятельной красотой, он с неменьшим усердием старался бы о «развитии женщины» в Марфиньке, и в романе есть сцена, где доверчивая и наивная Марфинька едва не сделалась жертвой чувственной распущенности «брата». Умная и чуткая Вера сразу сообразила, с кем имеет дело; его любовные излияния вскоре надоели ей, а нескромное любопытство и насильственное залезание в ее душу заставили ее быть с ним особенно осторожной. И, тем не менее, она была снисходительна и добра к нему; она видела, что он ее любит, и он действительно любил ее, потому что видел, что его не любили, и страдал больше от неудовлетворенного самолюбия, чем от любви. Любовь его была больше любовью воображения, чем сердца: она вспыхивала как порох и, если не встречала препятствий, так же быстро погасала... Наконец, положение Веры было трудное между бабушкой и Райским, и невинная хитрость, придуманная ею с Марком, имела одну цель — усмирить бушующие страсти Райского и заставить его уехать.

Предположим теперь, что случилось то, чего не было, — что Вера ответила Райскому взаимностью. Решился ли бы Райский с тою же чистосердечностью, пусть даже грубой откровенностью, высказать Вере свои намерения, каковы бы они ни были, или не употребил ли бы он все усилия, чтобы пышными фразами о любви и «роскошных ощущениях» грозы-страсти заполонить воображение и усыпить девическую бдительность с целью подготовить победу? Нам кажется, двух ответов не может быть на эти вопросы. Райский — типичный соблазнитель женщин и девушек на почве артистичности своей натуры, и если бы Вера не поддалась сразу обаянию его артистичности и горячечных речей о страсти, он

не остановился бы ни перед какими обещаниями и клятвами, нимало не заботясь об их исполнении. А когда цель была бы достигнута, и Райский испытал бы «блаженство разделенной любви», он не менее Марка испугался бы перспективы женитьбы и, чувствуя, что страсть его испаряется, как дым, направил бы все силы своей творческой изобретательности на то, чтобы отыскать благоприятный предлог для уклонения от логически необходимых, с точки зрения круга его идей, последствий своего поступка; он не задумался бы пустить в ход пышные рассуждения о своем таланте, об артистической деятельности, о долге, который лежит на нем перед человечеством, о славе, которая его ожидает, и о том, что для его творчества, как воздух для птиц и вода для рыб, необходимы независимость и свобода. Он, ведь, так и говорит, когда бабушка и Вера упрашивают его, в конце романа, остаться в деревне и жениться, — «воображение опять запросит идеалов, а нервы новых ощущений», и скука съест его заживо. Какие, мол, цели у художника? — «Творчество — вот его жизнь!» В то же время, как бабушкина традиция оторвала Веру от Марка, не дав ей прийти в себя и разобраться в кошмаре чувств и мыслей, Райский обратился в позорное бегство, оставив на долю Веры расплату не за горячку страсти, но за свою невольную ошибку, свое разочарование и обман.

Допустим даже, что Райский женился бы на Вере. Изменилось бы что-нибудь от этого по существу? Теперь даже с большим правом, чем в шестидесятые годы, мы можем сказать, что в общем вихре крушения старой жизни семья страдает больше всего, и в этой ломке семьи при полной невозможности предсказать формы ее будущего развития, обряд менее всего гарантирует прочность семейного союза. Слишком потрясены основные устои, на которых она зиждется, по смыслу всех естественных и божеских законов. Брак Райского с Верой прибавил бы к общей массе еще одну

несчастную семью, где на долю Веры падали бы все тяжкие последствия насильственно скрепленного союза, а Райский продолжал бы, как прежде, носиться по свету, вплетая, для пущего обаяния, в свои артистические лавры романтическую усмешку разочарованного человека. Нет, уж лучше следовать Марку, не обманывать себя и других и, признавая в женщине прежде всего человека, ставить перед ней вопрос открыто и прямо, и не отступать малодушно от того исхода, к которому приведет борьба между трезвой мыслью и ослепленным чувством — к тому ли, что называется катастрофой, или к тихой семейной пристани... Словом, — как рассуждает Марк, — «свобода с обеих сторон и затем — что выпадет кому из нас на долю: радость ли обоим, наслаждение, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги — это уже не наше дело. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слепо ее назначение, подчинились бы ее законам». Лучше идти навстречу всем неизбежным случайностям, которые постигают человека на всех путях его существования, но идти сознательно, с гордо поднятой головой, и, может быть, пасть в борьбе, чем умышленно затмить глаза туманом фантастических надежд и растеряться от неожиданности при первом ударе судьбы.

XLIV

«Грех» Татьяны Марковны и Веры. — Мотив покаяния и примирения. Бабушкина традиция в Вере. — Эпилог в литературе и жизни.

Сопоставляя образы Татьяны Марковны и Марфиньки, мы замечали, что, при наличности многих общих черт их натуры, бабушка была гораздо сложнее и шире. Коренная черта, которою бабушка перерастала Марфиньку, заключалась в том, что в основе ее характера, ставшего под конец жизни властным и энергичным, лежала страстность, вся ушедшая на ки-

пучую, чисто муравьиную деятельность в сфере хозяйственных интересов. По временам, как мы видели это в сцене с Нилом Андреевичем Тычковым, это страстное начало выходило из берегов административной распорядительности, и бабушка становилась способна на такие розмахи темперамента, какие, казалось, были вовсе несвойственны ей в обычное время, а для Марфиньки были бы невозможны и подавно. Этим началом порывистости, энергии, вообще скрытой мощи духа Татьяна Марковна напоминает Веру. Вера является как бы воплощением тех свойств натуры Бережковой, которые не нашли себе выражения в Марфиньке, и сама, как нарочно, лишена наиболее типичных особенностей своей сестры — ее наивности, хозяйственности и простоты.

В образе Татьяны Марковны, какой она была в молодости, сливались, повторим еще раз, Марфинька и Вера. Если бы Бережкова приходилась им не двоюродной или троюродной бабушкой, но матерью, как ее невольно хочется видеть в романе, мы сказали бы, что двойственность ее натуры, смиренная покорность судьбе и рядом — готовность к дерзанию, к порыву, выразилась на дочерях с удивительной степенью наследственной передачи. Она сама говорит о внучках, что они ей — те же родные дочери; Вера так и называет ее после катастрофы, а за ней употребляет это название и Гончаров. «Вера, очнувшись на груди этой своей матери, в потоках слез, без слов, в судорогах рыданий, изливала свою исповедь»...

Райский долго не мог понять Татьяну Марковну, и даже тогда, когда он узнал и понял Веру. Но их сопоставление невольно напрашивалось у него. «В Вере оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тут рядом возникала другая статуя — сильной античной женщины — в бабушке. Та огнем страсти, испытания очистилась до самопознания и самообладания, а эта?..»

«Откуда у нее этот источник мудрости и силы? Она — девушка!»

Райский не мог добраться до ответа: бабушка была для него загадкой.

Эта загадка раскрылась — и раскрылась не случайно. Бабушка всю жизнь верила, что над миром царят высшие законы, есть Бог, который все видит и знает. Ему известны все тайные помыслы и дела. Есть судьба, от которой никуда не спрячешься и не уйдешь. Надо смиряться и покоряться их велениям и не забывать, что в мире царит вечный дух справедливого воздействия за дела, что сказалось в великой формуле — «Мне отмщение, и Аз воздам»...

И она на себе испытала этот вечный закон, когда увидела перст Божий, карающий ее, в «несчастии» Веры за «грех», постигший Татьяну Марковну чуть не полвека назад. В страшной сцене покаяния бабушки, исполненной шекспировского драматизма, ее натура проявила всю доступную ей мощь ее духа, всю глубину покаянной тоски, этой родовой славянской черты, внезапно вспыхнувшей в ней, при известии о «падении» Веры. — «Я думала, грех мой забыт, прощен, — кается она Вере. — Я молчала и казалась праведной людям: неправда! Я была, как «окрашенный гроб» среди вас, а внутри таился неомытый грех! Бог покарал меня в нем. Прости же меня от сердца...

Бабушка! разве можно прощать свою мать? Ты — святая женщина! Нет другой такой матери... Если б я тебя знала, ... вышла ли бы я с твоей воли?..

Это мой другой страшный грех! — перебила ее Татьяна Марковна: — я молчала и не отвела тебя... от обрыва! Мать твоя из гроба достает меня за это; я чувствую — она все снится мне... Она теперь тут, между нас... Прости меня и ты, покойница! — говорила старуха, дико озираясь вокруг и простирая руки к небу. У Веры пробежала дрожь по телу... — Прости ты меня, Вера, — простите обе!... Будем молиться!»

Это в полном смысле слова — ужасный момент, если представить себе, кроме реального, все суеверное значение

факта для обеих женщин. В этот момент они сливаются в общем чувстве страха не перед наказанием, не перед позором, но перед жизнью вообще, перед стихийностью ее проявлений, затмевающих в уме и сердце людей присущее им более естественное начало, парализующих волю и разум. В этот момент нарушается граница лет, опыта, положений, и Вера переходит в Татьяну Марковну, как некогда Александр Адуев сливался до полного совпадения с Петром Ивановичем, там — по сходству характера и бытовой обстановки, здесь — по сходству характера и психологическим мотивам драмы. Гончаров и укладывает дальнейшую судьбу Веры в бабушкину колею. «Стало быть, ей, Вере, — говорит он, — надо быть бабушкой в свою очередь, отдать всю жизнь другим и, путем долга, нескончаемых жертв и труда, начать новую жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва... любить людей, правду, добро»...

Виновником, как принято говорить, бабушкина греха был ее старый и неизменный друг — Тит Никоныч Ватутин. После объяснения с Верой, она послала за ним и, когда он приехал, увела его в сад. «Там, сидя на скамье Веры, она два часа говорила с ним, и потом воротилась, глядя себе под ноги, а он, не зашедши к ней, точно убитый, отправился к себе, велел камердинеру уложиться, послал за почтовыми лошадьми и уехал в свою деревню, куда несколько лет не заглядывал».

Неизвестно, о чем говорили они, но было ясно одно: Тит Никоныч должен был взять на себя половину «несчастия» Веры.

Тут было что-то роковое и трогательное вместе. Неизвестно по роману, как прошли дальнейшие годы Бережковой и Ватутина, но аналогия их жизни привела, по рассказу очевидца, тоже к роковому и трогательному эпилогу: «Авдотья Матвеевна (мать Гончарова) давно в могиле лежит: год только жила после своего Николая Николаевича, оба преставились

на Пасху; говорят — «счастливцы», кто умирает на Пасху, в рай пойдут»...

Мы имели уже случай установить тот факт, что Гончаров вынес теплое религиозное чувство из-под материнского крова и сохранил его в течение всей жизни. Племянник Гончарова, сообщениями которого мы неоднократно пользовались, назвал источник младенческих религиозных внушений «византийской» обстановкой, намекая этим на то, что религиозность в гончаровском доме сводилась к исполнению обрядности. Конечно, молившиеся в образной Авдотьи Матвеевны не задумывались над философским значением христианства: все это были люди, верившие в простоте своей души, приближавшиеся по характеру своего чувства к вере многомиллионной народной массы, которая постигает смысл Христова учения не анализом, но инстинктом, смутно ищущим сверх-жизненного, сверх-могучего, сверх-мысленного, исцеляющего и прощающего. На этой психологической почве выросло и окрепло религиозное чувство Гончарова, и мы вполне принимаем свидетельства Д. Л. Кирмаловой, приводимое г. Суперанским о том, что «Иван Александрович, вопреки утверждению племянника, в церковь ходил и ежегодно исповедывался и причащался в Пантелеймоновской церкви; проходя мимо церкви, «он снимал шляпу и крестился». Понятно, какие недоразумения должны были возникать у Гончарова с его племянником, «бравировавшим, по отзыву Суперанского, атеизмом». «Если же при нем, Иване Александровиче, — писал Александр Гончаров, — кто-либо начинал отвергать существование Всемогущего Бога, то он сердился и возражал. При этом, однако, ему чужда была сущность христианства, и он не понимал значения Евангелия, как книги, которая одинаковыми глазами смотрит как на эллина, так и на иудея, как на римского гражданина, так и на раба. Да, вероятно, он никогда и не задумывался над этими вопросами. Когда я, в юном задоре, начинал доказывать, что

происхождение животных, без вмешательства Всемогущего Творца, понятно, если вы знакомы с геологией и с другими естественными науками, то Гончаров начинал злобно хихикать, смеяться и уверять, что это уже давно сказал судья в «Ревизоре». С озлоблением говорил он о Ренане и спрашивал: «Что же эти господа дадут вместо Христа? Зачем они хотят отнять у народа Бога?» В конце концов он выходил из себя... Чувствовалось, что говорит не христианин, а какой-то дореформенный чиновник». Племянник не понимал, что быть религиозным человеком и рассматривать религию с философской точки зрения — не одно и то же. Гончаров осуществлял собою первое и не претендовал на второе; вернее, он боялся рационалистически касаться религиозных вопросов, боялся чуждого взора в том святая святых, которое было для него не только хранилищем патриархальной веры, но и источником поэтических воспоминаний и снов.

XLV

Мотив падения в творчестве Гончарова. — Его художественные выражения в различных произведениях. — Примирительная и оправдательная нотка в разработке этого мотива.

Мотив падения был одним из основных мотивов творчества Гончарова. Начинаясь в «Иване Саввиче Поджабрине» эпизодами легкомысленных связей с женщинами, мотив этот играет видную и уже серьезную роль в «Обломове», в отношениях Ильи Ильича к Авдотье Матвеевне, в конце концов оформленных брачным обрядом, — в «Обрыве» же, как мы видели, он был поставлен на высоту социально-этической задачи. Вера понимала ее и тщетно искала сознательного и жизненно-правильного решения. Она обращалась к тому, что бабушка называла «провидением» и «судьбой», но «я там допрашивалась искры, чтоб осветить мой путь, и не допросилась», говорит она. Не пошла она и за Марком, испугав-

шись неизвестности и крайностей, как ей казалось, нового пути, и дело кончилось, по-гончаровски, компромиссом, примирением крайних решений, какие предлагали ей голос протестующего ума и страсти, с одной стороны, и боязнь авторитета бабушкиной морали, с другой. Страсть и протест нашли выход в чувстве благодарной дружбы к Тушину, и святость брачных уз является таким же dues ex machina для сложного узла личных и общественных нитей в сердце Веры, как — мы указывали уже на это — в браке Ольги со Штольцем, и только у Обломова с Авдотьей Матвеевной брак явился естественной и неизбежной формой их взаимных, органически развившихся в них симпатий, образа мыслей и взглядов.

У Гончарова разработка этого мотива далека от какого-нибудь определенного решения или принципиального взгляда. Все его рассуждения по этому поводу ведут лишь к тому, чтобы снять с «падшей» девушки бремя ответственности, чтобы не отказать ей в участии и нравственной поддержке, ответственность же возложить на «всепобеждающую» силу страсти. Последняя так велика, а люди, охваченные ею, настолько, думается Гончарову, слабы, что при суждении о факте «падения» иного, кроме оправдательного, приговора быть не может. Оправдательная нотка пробивается неуверенно, но, в общем впечатлении, тем не менее, она звучит последовательно и определенно. Ни бабушка, ни Вера, после своего «греха», не утратили для него своего обаяния; напротив, их образы становятся женственнее и мягче, особенно Веры, по мере того, как она вдумчивее и серьезнее смотрит на жизнь — не в идеальном отдалении, а на ту, что творилась вблизи, вокруг нее, которой она не замечала раньше. «Бабушка, — говорит Гончаров от лица Бережковой, — не казнила Веру никаким притворным снисхождением, хотя, очевидно, не принимала так легко решительный опыт в жизни женщины, как Райский, и еще менее обнаруживала то безусловное презрение, каким клеймит эту «ошибку», «несчастие» или, по-

жалуй, «падение» старый, в евшийся в людские понятия ригоризм, не разбирающий даже строго причин «падения». Так, будто бы, думает Бережкова. Но если она и понимала Веру, как женщина и притом сама причастная «греху», то никак не оправдывала себя. «Грех» оставался для нее «грехом», — в этом-то его фатальное значение, — и менее всего она могла сопоставлять свое отношение ко «греху» с «въевшимся в людские отношения ригоризмом» и разбирать причины падения. Обычный стиль бабушки другой, — тот, например, в котором она предостерегает Марфиньку от ухаживанья Бориса: «А ты не слушай, — говорит она, — он там насмотрелся на каких-нибудь англичанок да полячек; те еще в девках одни по улицам ходят, переписку ведут с мужчинами и верхом скачут на лошадях»... Это рассуждение — всецело бабушкино, а не то, в котором кроется противоречие со всем строем взглядов и убеждений Бережковой. Противоречие это в натуре самого Гончарова. Он не разрешил его в романе, прибегнув к обычному в таких случаях приему — говорить описательно от имени того или другого лица, с подчеркиваниями и усилениями там, где передача своих мыслей в диалоге вышла бы искусственной и трудной.

Во всяком случае, ригоризм безапелляционный и безусловный, не разбирающийся в мотивах и обстоятельствах, представлялся Гончарову одною из тех жизненных сторон, с которыми следовало бороться, как с коренным общечеловеческим недостатком, не зависящим в своем существе от правил старой и новой морали. Глубокая и сильная страсть является, по мнению Гончарова, одним из наиболее оправдательных мотивов. Как «гроза в природе», она вносит стихийное начало в размеренное течение жизни, производит смятение и бурю, — и человек перестает управлять собою. С парализованной волей и ослепленным рассудком он не может нести сознательной вины за свои действия, — и в этом признании кроется одна из пружин теоретиче-

ски-снисходительного отношения Гончарова к человеческим слабостям и недостаткам.

XLVI

Двойственность в изображении остальных типов и лиц в произведениях Гончарова. — Софья Беловодова и ее воспитание. — Чиновничий мир. — Тушин. — Типы обломовского захолустья. — Признание автора. — Заключение.

Прочие лица романов Гончарова, различной степени типичности и значения, не подают повода к противоречивым толкованиям и объясняются значительно проще. Одни из них живо и ярко встают в воображении читателя, другие являются эпизодически, чтобы помочь главному герою романа раскрыть ту или другую черту своего характера. Немало усилий потратил Гончаров на изображение фигуры Софьи Беловодовой, этой холодной великосветской красавицы, но образ ее далеко не удался Гончарову. Впоследствии, в авторской исповеди, он согласился с мнением критики, которая отнеслась к ней отрицательно. «Это скучное начало, — говорил он, — из которого вовсе не художественно выглядывает замысел — показать, как отразилось развитие новых идей на замкнутом круге большого света. И ничего, кроме претензии, не вышло из этой затеи». Здесь, между прочим, любопытно отметить одну черту. Гончаров заставил Райского ломать «стену великосветской замкнутости, замуровавшейся в фамильных преданиях рода», и Райский в пламенных речах начинает набрасывать перед своей кузиной картины тяжелой крестьянской жизни. Софья чувствует, что главное в его речах — не забота о меньшом брате, не горячее участие к его безотрадному положению, но она сама, ее красота, — «ему хочется, — по позднейшему объяснению Гончарова, — победить только кузину-женщину — для себя». И пропаганда Райского, естественно, не достигает цели. Являясь совершенно

чуждым всякой хозяйственности у себя в деревне и вовсе не интересуясь крестьянским бытом, Райский в своих беседах с Софьей касался, если верить Гончарову, не только положения крестьянства, но и более опасных идей — чуть ли не общественного и государственного строя. В устах Райского это звучало не особенно грозно. «Мы дошли до политической и всякой экономии, до социализма и коммунизма — я в этом не силен ...» — говорит он. Реплики, подаваемые Софьей Беловодовой обнаруживают в ней то же птичье миросозерцание, которое отличает Наденьку Любецкую и ей подобных.

Нельзя не отметить, что Гончаров подробно и внимательно остановился на бестолковости и бессодержательности их воспитания. Анекдотический характер последнего есть историческая черта, и в этом отношении посвящаемые этому вопросу страницы должны внести ценный вклад в историю нашего домашнего воспитания. Сам Гончаров исполнял когда-то во второй половине тридцатых годов обязанности учителя в артистической семье Майковых. Вероятно, в это время он имел случай присмотреться к типам педагогов, иностранных и русских, от наглого невежды m-r Пулэ до идеалиста-словесника Ельнина включительно. «Я все уроки учила одинаково, то есть все дурно, — рассказывает Софья. — В истории знала только двенадцатый год, потому что mon oncle, prince Serge, служил в то время и делал кампанию, он рассказывал часто о нем; помнила, что была Екатерина II, еще революция, от которой бежал m-r Querney, а остальное все... там эти войны, греческие, римские, что-то про Фридриха Великого — все это у меня путалось. Но по-русски, у m-r Ельнина, я выучивала почти все, что он задавал»... Однако фигура учителя-классика — Козлова — вышла одноцветной и бледной. В нем, по словам автора, мелькнуло лицо русского учителя труженика, с намеком на участь русской науки и в обломовском обществе. Без почвы и подходящей среды, без

книг и без денег, он должен был, по мысли Гончарова, отразить в себе всю безотрадность своего существования среди равнодушных к науке людей. Но драматизм этого положения недостаточно обставлен; в гораздо большей степени его заслоняет другой драматизм — драматизм его неудачной женитьбы. Впоследствии, в своей авторской исповеди, Гончаров посвятил образу Козлова несколько теплых и искренних строк. «В нем теплится искра любви к знанию, но — как в степи — нет ей пищи, ни посева, ни полива, некуда бросить семян — и они глохнут в нем самом, а любящее сердце избрало кумиром ничтожество, идола, созданного бесхарактерностью среды, без образа. Это его жена. Весь ум его просился в науку, все любящее сердце отдалось этой жалкой подруге. Ни там, ни сям он не нашел ответа, сгорел и угас одиноко, в чистом пламени своей любви».

Видное место занимает в романе чиновничий мир, очерченный в общем весьма реально. Но характеристика его заключена более в рассуждениях автора и размышлениях героев, чем в ярких типах. Мы уже видели в первых очерках, что служба не вызывала у Гончарова жизненного интереса; с нею не связывалось у него никаких общественных или государственных планов или теорий, таких, которые были бы его кровными убеждениями, не связывалось никаких творческих симпатий и даже честолюбивых целей. Это отразилось и в романах: образы Судьбинских, Аяновых говорят уму и сердцу читателя не больше, чем образы графа Новинского, барона в «Обломове» и Софьи Беловодовой. Конечно, в чиновничьей среде не было недостатка в типических особенностях, характерных не только для сословия, но и для исторического момента. Но, видно, одной наблюдательности было недостаточно для Гончарова, чтобы знакомые ему образы могли группироваться в типы, — нужна была кровная связь с предметом наблюдения, глубокое, инстинктивно выросшее по-

нимание его и — на этой почве — душевный интерес и творческое влечение. Такой связи с чиновничеством у Гончарова не было.

Стремясь противопоставить Марку человека «живого, нерутинного» дела, одного из первых пионеров истинной, как казалось Гончарову, «партии действия», он создал любопытный по замыслу тип Тушина, которому вместе с тем придал громадное общественное значение. Тушиным предстоит, по его мнению, сослужить службу России, разработав, довершив и упрочив ее преобразование и дополнение. Тушин — человек земли, и в этом смысле авторское понимание Тушина заключает в себе намек, не лишенный интереса. Это — здоровая, мощная натура, таящая в себе много сил и способностей, но и то, и другое в ней — пока еще мертвый капитал, не тронутый сознанием и чуждый идее общего блага. Как попытка дать положительный тип, столь редкий в нашей литературе, характеристика Тушина не лишена известного значения и, хотя образ намечен лишь самыми общими чертами, он невольно останавливает на себе внимание.

Совершенно иначе работает кисть Гончарова, как только переходит он на почву родного обломовского захолустья. Фигуры, она другой рельефнее и жизненнее, так и просятся на полотно. Вот «вечный жид» Антон Иванович, у которого нет человека из его знакомых, что у него отобедал бы, отужинал или выпил чашку чая, но зато и нет человека, у которого сам Антон Иванович не делывал этого по пятидесяти раз в год ... Вот близкий ему по духу Аким Акимыч Опенкин, который дома был, как чужой человек, а у чужих людей — как дома; в лице Опенкина Гончарову подвернулся, по его словам, тип русского человека, утопившего в вине всю свою жизнь, большею частью тирана в семье и бремя для общества, где он живет. «А где он не живет! — восклицает Гончаров: — этот штрих русской жизни почти неизбежен во всякой картине нравов. Легкой тенью прошел он и у меня в романе».

Иногда десятки страниц Гончаров посвящает описанию какой-нибудь фигуры, и все-таки фигура выходит бледной и нетипичной; иногда же ему удается одним штрихом настолько удачно охватить образ, что он навсегда врезывается в память читателя. Не говоря уже о мастерских характеристиках Авдея, Евсея, Захара, Егорки, в основу которых положены близко родственные между собою черты, списанные по признанию автора, с натуры, в воображении читателя живо встает длинная вереница лиц обломовской дворни, в роде стриженной и дурно одетой Пашутки, у которой «из маленького плутовского, несколько приподнятого кверху носа часто светится капля»; Машутки, которой «как-то неловко было держать себя в чистоте»; кухарки Устиньи — «нескладной бабы с таким лицом, которое как будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да так на всю жизнь и осталось с этим удивлением»; угрюмой Василисы, Улиты, вечно таящейся во тьме погребов, или денщика Фаддеева на фрегате «Паллада». Все эти образы вышли у Гончарова естественными и живыми, потому что Гончаров их знал и в течение многих лет наблюдал; рельефно рисуется и образ Крицкой, наивно сентиментальной и влюбчивой дамы, хотя он обрисован явно карикатурными штрихами.

Вообще же, при суждении о типах и характерах Гончарова, не следует забывать того, что говорил сам художник в своей авторской исповеди: «Может быть, и оттого, между прочим, мои лица не кажутся другим такими, какими я разумел их, что все эти портреты, типы, слишком местные, вышедшие из небольшого приволжского угла и потому не всем живущим на разбросанных пространствах России, известны, и, наконец, разве и потому еще, что в них сквозит много близкого и родного автору, и заметно пробивается кровная его любовь к ним.

«Да, может быть, и так: действительно, много личного, интимного, т. е. своего, и себя самого, вложено автором туда».

Наша работа имела целью разобраться в этом признании автора.

В заключение несколько слов по поводу значения Гончарова в истории литературы.

Почетное место, отведенное Гончарову в истории русской литературы еще при его жизни, рядом с именами Тургенева, Некрасова, Салтыкова, занято им не случайно. Его произведения представляют богатый и сложный материал, изучение которого может дать поучительные и любопытные результаты. Те, кто признает за творчеством Гончарова значение выдающегося общественного факта, — те заинтересуются им, не только как личностью писателя, обладавшего теми или другими свойствами, но преимущественно с точки зрения той выдающейся роли, какую играла эта личность в отражении общественного склада эпохи. Субъективная критика может, по своему произволу, интересоваться или игнорировать личность писателя, но у истории литературы — свои методы и свои задачи. Ее цель — беспристрастно изучить всю сумму данных, в которых жил и развивался писатель, выяснить существо и историческую ценность его общественных идеалов и, наконец, определить ту сферу художественного, умственного и нравственного влияния, какую оказало его творчество на современников и потомство. По отношению к Гончарову эта задача намечена лишь в самых общих чертах.

Это был глубокий, своеобразный и капризный талант. Он владел писателем в гораздо большей степени, чем писатель им. На Гончарове было бы удобнее всего построить теорию самодовлеющего таланта, который творит, не всегда справляясь с миросозерцанием писателя, инстинктивно захваты-

вает шире и глубже намерений автора и подчас становится с ним в непримиримое противоречие. Творчество отражает эту борьбу сознательного начала с инстинктом и обнаруживается в романах страницами неровных штрихов и раздраженной или ослабевшей мысли. На наших глазах прошло и проходит не мало непонимающих художников, у которых, не в пример Гончарову, сознательная мысль, замыкаясь в узкую тенденцию, брала верх над талантом, и их творчество выходило болезненным и бледным. Выступая иногда слишком рано на поприще общественной борьбы, они недостаточно чутко прислушивались к органическим влечениям своих еще не установившихся идеалов и направляли работу своей кисти в такие области, для которых художественное содержание было и большою роскошью, и вместе с тем препятствием в суровой борьбе отвлеченных идей. По счастью для Гончарова, талант его был настолько велик, что в большинстве случаев одерживал верх над чуждыми ему публицистическими порывами. Талант этот был органичен и жизненен везде, где Гончаров чувствовал «свой грунт и свою ниву», но он же оказывался бледным и малосодержательным, когда писатель брался за изображение мало знакомой ему набегавшей «новой» жизни.

За этой борьбой идей и таланта остается свое особенное значение. Гончаров прошел по меже двух эпох нашей сознательно-исторической жизни. Старое, как дремучий лес, с подгнившими корнями, ломалось здесь и там, падало и давило молодые побеги, но они веселой, зеленой волной охватывали его по опушкам, прорастали между стволов, взбирались на старые пни — и уже готовились торжествовать свою победу... Гончарову жаль было таинственной задумчивости и величавых речей старого леса; ими было проникнуто его творчество, все сотканное из ярких золотых лучей, прорвавшихся в сумрак неподвижности и покоя, — и он боязливо косился на молодые и дерзновенные побеги... Этот момент

борьбы, с шатанием старых устоев и проблесками новой жизни, сделал Гончарова типичным выразителем переходной эпохи, для нас — самой знаменательной во всей истории нашего общественного развития. Чуткий и наблюдательный во всем, что он рассматривал в конечном итоге прошлого, Гончаров ярко характеризовал общественный идеал Чацкого, его стремление к свободе от всевозможных цепей рабства, которыми оковано общество, но современная жизнь, казалось ему, настолько ушла вперед от того — другого, «фамусовского» идеала, что в ней оставались, по его выражению, только «кое-какие живые следы» старого миросозерцания, мешавшие «обратиться картине в законченный исторический барельеф». Однако, творчество самого же Гончарова, в объединенном смысле, оказало, что таких следов в русской жизни осталось немало.

Полвека — срок большой для пробужденного самосознания. К нашей поре эта жизнь во многих отношениях ушла вперед, сосредоточилась на внутренней, упорной работе, выработке новых общественных условий. Но теоретическое обоснование этических и социально-политических задач русской жизни остановилось на тех первых и неуверенных попытках их решения, какие были сделаны в момент просвета шестидесятых годов. К ним придется вернуться, когда, при изменившихся условиях, скрытые соки жизни выступят наружу и скажутся пышным расцветом творческих сил, — и сама собой возникнет потребность восстановить нарушенную связь с историческими традициями прогрессивно-общественной русской мысли. Историк эпохи найдет тогда в творениях Гончарова живую иллюстрацию исторического момента, с его борьбой разнородных стремлений, чувств и идей, с его попытками, если не решить, то поставить на очередь задачи общественного и личного блага.

В связи с глубиной и яркостью художественного дарования, это историческое значение творчества Гончарова обеспечит за ним то видное место в нашей литературе, которого он столь исключительно-счастливо достиг еще при жизни. На это у него полное и неотъемлемое право.

Приложение

Счастливая ошибка

Повесть И. А. Гончарова

Господи Боже Ты мой! и так много всякой дряни на свете, а ты еще жинок наплодил!

Гоголь

Шел в комнату — попал в другую.

Грибоедов

Однажды зимой в сумерки... Да позвольте прежде спросить: любите ли вы сумерки? — Я «слышу молчание», а молчание есть знак согласия: стало быть, любите? Да и как не любить сумерок? кто их не любит? Разве только заблудившийся путник с ужасом замечает наступление их, расчетливый купец, неудачно или удачно торговавший целый день, с ворчаньем запирает лавку; еще — живописец, не успевший передать полотну заветную мечту, с досадою бросает кисть, да поэт, житель чердака, грозит в сумерки проклятиями Аполлона лавочнику, который не отпускает в долг свечей. Все прочие любят это время; не говорю уже о простом народе, мастеровых, ремесленниках, которые, снедая в поте лица хлеб свой, покладывают руки от тяжелого труда, наконец — магазинщицах, которые, зевая за иглой при Божьем свете, с детской радостью надевают шляпки и спешат предаться увеселениям. Но то существенная прозаическая радость, а в сумерках таятся высшие поэтические наслаждения.

«Благословен и тьмы приход» сказал Пушкин. Не есть ли это время нежной, мечтательной грусти, — не той грубой, неприятной грусти, которая изливается днем, при всех, горючими слезами, причины которой так тривиальны —

крайняя бедность, потеря родственников и прочее; грусти, например, от невнимания любимой особы, от невозможности быть там, где она, от препятствий видеться с нею, от ревности? Не есть ли это, краснея скажу, время сладостного шепота, робкого признания, пожимания рук и... мало ли еще чего? А сколько радостных надежд и трепетных ожиданий таится под покровом сумерок! сколько приготовлений совершается к наступающему вечеру! — О, как я люблю сумерки, особенно когда переношусь мысленно в прошедшее! Где ты, золотое время? воротишься ли опять? скоро ли?..

Посмотрите зимой в сумерки на улицу: свет борется со тьмою; иногда крупный снег вступает в посредничество, угрожая свету своею белизной и увеличивая мрак своим облаком. Но человек остается праздным свидетелем этой борьбы: он приумолкает, приостанавливается, нет движения; улица пуста; домы, как великаны, притаились во тьме; нигде ни огонька; все предметы смешались в каком-то неопределенном цвете; ничто не нарушает безмолвия, ни одна карета не простучит по мостовой: только сани, как будто украдкою, продолжают сновать вечную основу по Невскому проспекту. Одним словом, кажется, настала минута осторожности... а в самом деле эта минута есть, может быть, самая неосторожная в целом дне: зимой в сумерки совершается важный, а для некоторых наиважнейший процесс нашей жизни — обед; у первых он состоит в наполнении, у вторых в переполнении желудков и нагревании черепов искусственными парами, — сообразите следствия от этих двух последних обстоятельств.

Теперь войдемте в любой дом. Вот общество, собравшееся в гостиной: все тихо, безмолвно, никто не шевелится; разговор медленно вяжется, слово-за-слово, поминутно перерываясь и не останавливаясь на одном предмете. Вглядимся в физиономии: это самая лучшая, самая удобная минута для изучения настоящего характера и образа мыслей людей.

Посмотрите, как в сумерки свободно глаза высказывают то, что задумала голова, как непринужденно гуляют взоры: они то зажигаются страстью, то замирают презрением, то оживляются насмешкой. Тут подчиненный смело меряет глазами начальника с ног до головы; влюбленный смело пожирает взорами красоту возлюбленной и дерзает на признание; взяточник, хотя шепотом, однако без ужимок объявляет, какую благодарность и в каком количестве чаял бы он получить за дельце; сколько доверенностей рождается в потемках! сколько неосторожных слов излетает! Но вот несут свечи: вдруг все оживилось; мужчины выпрямились, дамы оправились; разговор, медленно катившийся до сих пор, как ручеек по камешкам, завязывается снова, вступает, подобно могучей реке, в берега, делается шумнее, громче. А какая перемена в людях! Подчиненный уже смотрится в лакированные сапоги начальника, влюбленный стоит почтительно за стулом возлюбленной, взяточник кланяется и приговаривает: «Что вы! что вы! Какая благодарность! Это мой долг!» Неосторожные раскаиваются в своей доверенности, и взоры перестают страстно глядеть; место презрения заступает сухое почтение, или страх. — О! будьте только сумеречным наблюдателем... «Но наблюдать, — скажут мне, — в сумерки неудобно, темно.» — Ах, в самом деле! ваша правда. — «Да как же вы упустили это из виду? забыли?» Нет-с, не догадался.

Однажды зимой, в сумерки, сопровождаемые всеми вышеизложенными обстоятельствами, то есть, падением снега и безмолвием на улицах, — не то из Садовой, не то из Караванной, выскочил на Невский проспект, как будто сорвавшись с цепи, лихой серый рысак, запряженный в маленькие санки, в которых сидел молодой человек. Далеко вперед закидывало стройные ноги благородное животное, гордо крутило шею, быстро неслось по улице; но седок все был недоволен.

— Пошел! — кричал он кучеру. Напрасно сей вытягивал руки во всю длину, ослаблял вожжи и привставал с места, понукая рысака.

— Пошел! — кричал седок.

Но ехать скорее было невозможно: и так пешеходы, которые пускались, как в брод, поперек улицы, при грозном оклике кучера, вздрагивая пятились назад и по миновании опасности, плюнув, с досадой приговаривали:

— Вот сумасшедший-то! Эка сорви-голова! провал бы тебя взял! напугал до смерти!

С Невского кучер поворотил на Морскую и после минутной езды остановился у двух-этажного дома аристократической наружности, с балконом и большим подъездом. Молодой человек вошел в сени. Нигде в доме не было еще огня: сумерки царствовали, начиная с сеней. Там швейцар, сидя перед огромной печью, по временам помешивал кочергой жар и напевал вполголоса унылую песенку. В стороне тянулась лестница с позлащенными перилами.

— Дома господа? спросил молодой человек.

— Должно быть, что дома-с, — отвечал швейцар. — Вот я позвоню.

— Не нужно, — сказал тот и опрометью, как на приступ, бросился на лестницу.

В передней сумерки были еще ощутительнее: из углов, где царствовала настоящая, прямая темнота, неслось храпенье; лакеи спали, вознаграждая себя вперед за предстоящие труды и вечернюю суматоху. Молодой человек остановился перед тремя дверьми, в нерешимости в которую идти. «Отдамся на волю сердца: оно не обманет и поведет прямо к ней», подумал он и отворил среднюю дверь. Прошедши залу и диванную, он попал в коридор, из которого лесенка в четыре ступеньки вела вверх.

С трепетом в сердце, на цыпочках, подкрался он к библиотеке, и вдруг этот теплый, сердечный трепет превратился

в холодный, лихорадочный озноб, когда он вошел в комнату. Там на мраморном столике чуть теплилась лампа и освещала лица двух стариков, которые, сидя в вольтеровских креслах друг против друга, сначала вероятно беседовали и потом утопили свою беседу в сладкой дремоте.

Не только молодого человека, который ожидал встречи пламенных черных глаз, но всякого охватил бы озноб, при взгляде на одного из спавших стариков. Вообразите огромную лысину, которая по бокам была вооружена двумя хохолками редких, седых, стоячих волос, очень похожих на обгоревший кустарник; вскоре после лысины следовал нос; то был конус значительной величины, в который упиралась верхняя губа, помещенная у самого его основания, а нижняя, не находя преграды, уходила далеко вперед, оставляя рот отворенным настежь; по бокам носа и рта бежали две глубокие морщины и терялись в бесчисленных складках под глазами. Сверх того все лицо было испещрено самыми затейливыми арабесками. Таков был действительный тайный советник барон Карл Осипович Нейман, владетель этого дома. Другого старика не знаю; вероятно приятель барона; физиономия его была однакож гораздо благопристойнее. Оба они покоились сном праведника, хотя лицо первого пристало бы самому отчаянному грешнику.

«Вот поди, вверяйся сердцу, куда оно заведет!» с досадой сказал молодой человек и, повернув назад, вошел в маленькую диванную. Там, свесив одну ногу, а другую поджав под себя, сидела на богатом оттомане и также дремала, запрокинув голову, супруга барона. Подле нее лежала моська, которая, при появлении молодого человека, заворчала. Он, чтоб не возбудить тревоги, поспешно отправился назад.

— «Что за встречи! Где же Елена?» подумал он и остановился в нерешимости куда идти. «Здесь все сидят попарно. Поспешу сыскать ее для симметрии: нас будет тоже пара». В

эту самую минуту, в соседней комнате раздался звучный аккорд на фортепиано, и молодой человек бросился как будто на призыв.

Пора однако сказать, кто таков был он, зачем пожаловал в такую пору в чужой дом, почему так своевольно расхаживает и чего отыскивает.

Звали его Егор Петрович. Он происходил из знаменитого рода Адуевых и был отдаленным родственником барона Нейман; приехал в дом к нему по двум причинам одной обыкновенной, другой необыкновенной: первая — родство, как выше сказано, а вторая — любовь к прелестной восемнадцатилетней дочери барона, Елене, милой, стройной, пламенной брюнетке, которую он и отыскивал в потемках.

Он уже намекал родителям о своем намерении жениться на ней, а они намекнули ему, что они рады такому союзу, по тому что Адуев — разумеется они этого не сказали ему — имел три тысячи душ и другие весьма удовлетворительные качества жениха и мужа, вдобавок привлекательную наружность — обстоятельство, заметим мимоходом, весьма важное для Елены. Из этих обоюдных намеков возникло дело довольно ясное, приведенное в большую ясность молодыми людьми.

При всем том Егор Петрович иногда жаловался, что он совсем не так счастлив в любви, как бы ему того хотелось. Сам он любил пламенно, со всею силою мечтательного сердца; даже думал, что любовь его к Елене есть окончательный расчет его с молодостью, что сердце, истомленное мелочными связями без любви, ожесточенное изменами, собрало наконец, после неудачных поисков предмета по себе, последние силы, сосредоточило всю энергию и ринулось на отчаянную борьбу, из которой, как казалось ему, оно выйдет после неудачи разбитое, уничтоженное и неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства. Что же бы

оставалось ему в жизни, после этой невозвратимой утраты? Любя Елену и будучи любим ею, он смотрел, при этих условиях, на жизнь, как на цветущий сад, на любовь к Елене, как на последнюю купу роскошных дерев и гряду блестящих цветов, растущих у самой ограды: без этого жизнь представлялась ему пустым, необработанным полем, без зелени, без цветов... Адуев жаловался не напрасно: на любовь его Елена отвечала едва приметным вниманием, мучила своенравием и капризами, которые не испортили бы характера разве только какого-нибудь азиатского деспота; сверх того... но об этом будет говорено ниже, особо. Впрочем она позволила себе такие поступки тогда, когда уже измерила степень, до которой достигла любовь Адуева к ней, когда уверилась, что обратный путь для него невозможен и что он находится между двумя крайностями — страданием и блаженством. Не злодение ли это? на вас сошлюсь, mesdames.

После всего этого, чего бы, кажется, искать ему: зачем унижать себя страстью, которой не поймут и не разделят? Зачем! какие вы смешные! спросите у влюбленных. Ослепление: вот все, что можно сказать в оправдание им! Одни только они могут утешаться там, где, при другом расположении духа, следовало бы прийти в отчаяние; зато бывает и наоборот. Егору Петровичу, например, иногда казалось, — а может быть, и в самом деле так было — что когда взор Елены покоился на нем, то сверкал искрой чудного пламени, потом подергивался нежною томностью, а щеки разгорались румянцем; или порой, склонив прелестную головку к плечу, она с меланхолическою улыбкой внимала бурным излияниям кипучей страсти, выражавшейся языком, который сначала, своею дикостью и необузданностью, не согласовался с ее, хотя прихотливым, избалованным, однако все-таки чистым, скромным девическим характером. Впоследствии же, когда она разгадала степень его привязанности, то увидела, что и

этим восторженным языком он не в состоянии передать и половины того чувства, которое бушевало в нем. Егор Петрович утешался, видя это, но к несчастию он видел и то, что она так же прилежно внимала таинственному шепоту камер-юнкера князя Каратыжкина, так же неподвижно останавливала взор на пестром мундире ротмистра Збруева: разница была только та, что они не давали ей и задумываться ни на минуту, а иногда все три голоса их сливались в дружный хохот. Он не мог выносить этого адского трио и бежал прочь, с горечью в душе.

Все это доводило иногда Адуева до раздражительности. «Зачем она так нежно смотрит на меня? думал он, — зачем, ну, зачем ей так смотреть?» а потом мысленно сам же отвечал: «Зачем! смешной вопрос! затем, что любит; ну, да конечно любит. Она сама говорила это». Вслед за этим, ему слышались другие вопросы: «А зачем она пристально посматривает на князя Каратыжкина и Збруева? зачем все им улыбается и никогда на них не сердится, как например на него? и что она шепчет им?» На последние вопросы Егор Петрович не находил ответа и сердился.

В самом деле, каким именем назвать это поведение Елены? Адуев, в припадке бешенства, называл — заметьте, пожалуйста mesdames: Адуев, а не я — называл... позвольте, как быть?... эх, девичья память! из ума вон ... такое мудреное, нерусское слово... ко... ко... так и вертится на языке... да! да! — кокетством! кокетством! Насилу вспомнил. Кажется, так, mesdames, эта добродетель вашего милого пола — окружить себя толпою праздных молодых людей и — из жалости к их бездействию — задавать им различные занятия. Это, как называл их опять-таки тот же Адуев (он иногда страдал желчью), род подписчиков на внимание избранной женщины: подписавшиеся платят трудом, беготней, суматохой, и получают взамен робкие, чувствительные, пламенные, страстные

взоры, хотя, конечно, искусственные, но нисколько неуступающие своею добротою природным. Иногда достаются даже милые щелчки по носу веером, позволение поцеловать ручку, танцевать два раза в вечер, приехать не в приемный час; но чтобы заслужить это, надобно особенное усердие и постоянство.

Бежать от Елены, скрыться от своей любви, заплатить за охлаждение презрением — Егор Петрович был, как сказано выше, не в состоянии. Сверх того в нем еще тлелась искра надежды на счастье: он изучал ее характер в надежде, что ей надоест суетность, наскучат со временем бесплодные торжества самолюбия, что чувство истинной любви возьмет верх и по прежнему, а может быть, и сильнее, заговорит в его пользу: оттого единственно он откладывал требование ее руки.

Со страхом испытать какой-нибудь новый каприз и с надеждою застать Елену одну — вступил он в комнату, где раздались звуки фортепиано; но увы! и там была пара. Подле Елены сидела рыжая англичанка и вязала шарф двумя костяными спицами непомерной длины. Вскоре однако-ж дуэнью вызвали по хозяйству, и она более не возвращалась. Какое счастье! он наедине с нею.

Елена Карловна была мила и любезна. Егор Петрович любезен и мил: мудрено ли, что судьба свела их в маленькой зале? кому же после того и сходиться, как не им? ужели старому барону с женой?... фи! как это можно! они сами чувствовали все неприличие, всю гнусность такого поведения, и оставались каждый на своей половине, а если сходились, то только за обедом, да при гостях и то в приличном друг от друга расстоянии, как следует благоразумным и степенным супругам.

Елена мельком взглянула на Адуева, едва отвечала на грациозный поклон, и начала сильнее и чаще прежнего брать аккорды, показывая вид, что вполне предалась музыке. Он, молча, с восторгом смотрел на нее.

— Отчего вы не пошли к папеньке, а прямо явились ко мне? спросила она сухо.

— Hélène! отвечал Егор Петрович голосом, в котором выражался нежный упрек.

— Mademoiselle Hélène, или Елена Карловна, если вам угодно. Вы становитесь слишком фамилиарны: скоро станете звать меня Аленушкой.

— Hélène!... с трепетом в сердце и голосе проговорил молодой человек.

— Егор Петрович, — спокойно отвечала она, смягченная избытком нежности, невольно изменявшей голосу и взорам Адуева.

— Итак? тоскливо произнес он, после долгого молчания.

— Итак! — насмешливо повторила она, живо перебирая клавиши.

— Вы шутите, Елена Карловна.

— Совсем нет, я стараюсь подделаться под расположение вашего духа и под ваш тон, чтоб угодить вам. Кажется, нельзя требовать большего внимания.

— Если бы я не был уверен, что это шутка, то...

— То?..

— Удалился бы давно.

— Ах, это новое! — с колкостью заметила Елена: я еще не испытала. Чем же однако вы недовольны? Я всегда рада свиданию с вами: вы, я думаю, по моим глазам видите это. К вам я внимательнее, нежели к другим; с другими я стараюсь, для приличия, быть только любезной.

— Только из приличия!.. Стараться быть любезной — нельзя, баронесса: это дар неприобретаемый. Кто любезен, тот — поверьте! не старается; притом же есть граница истинной любезности, а ваше обращение с князем Каратышкиным и Збруевым...

— А!.. вот что! так вам не нравится мое обращение с ними? да отчего же? Напротив, вы, кажется должны радоваться их

вниманию ко мне: это живой аттестат моим достоинствам, справедливая дань, как говорят они.

— Слушайте их!

— Чем же? разве не правда? Вы, я думаю, одного мнения с ними: по крайней мере любовь ваша доказывает это.

Адуев закусил губу.

— Но ваша холодность, странное обращение со мной — становятся несносны! сказал он.

— Не сносите.

— Скажите мне с прежнею искренностью, которой я не вижу в вас более, — любите ли вы меня?

— Как это скучно! одно и то же! Ответ вы давно знаете.

— Но с тех пора многое могло перемениться, и переменилось! Он вздохнул.

И она вздохнула.

— Баронесса, меня никто, никогда не считал ни глупцом, ни ребенком. Ваша насмешка первая в моей жизни. Еще пять минут подобного разговора — и я...

— И вы?

— Оставлю вас сию минуту, и навсегда!

— Как грозно!

Адуев не мог далее сносить насмешливого тона Елены: он вспыхнул.

— Да! удалюсь, постараюсь забыть эту суетную женщину, перед которой я так долго бесплодно пресмыкался! — с гневом и скороговоркой начал говорить Егор Петрович. — Боже! та ли это, пред которой я благоговел, в чистоту чувств которой так слепо веровал, не считал себя достойным счастья обладать ею?.. И вот она! едва успела сказать «люблю» в первый раз в жизни, и уже забывает святость своих обещаний, данное обязательство, собирает дань лести ничтожных волокит!...

— Каких обязательств? разве я ваша невеста?

— Но могу ли требовать вашей руки при таком обращении со мною и с другими, не будучи уверен в вашем чувстве?

А своенравие? а капризы? какую будущность готовит мне это? Вы молчите?

Елена сложила руки вместе, потупила глаза и склонила голову вперед.

— Я ожидаю ваших приказаний, — сказала она.

— А! вы решились оскорблять меня... Прощайте, баронесса! Он взял шляпу.

— Куда же вы? разве не хотите пить с нами чай? — насмешливо сказала она. Маменька и папенька будут рады видеть вас.

Адуев молчал несколько минут.

— Благодарю вас, — сказал он наконец, — вы открыли мне глаза. Я приехал с тем, чтобы объясниться решительно, выведать от вашего сердца, которое давно уже сделалось тайною и загадкой для меня, по-прежнему ли оно принадлежит мне, потребовать отчета в вашем обращении со мной, и если оно происходит от легкомыслия, то хотел просить вашей руки, в надежде, что со временем строгие обязанности супруги изменят ветреный характер... но теперь, после этого разговора, мне не нужно никаких объяснений; более надеяться мне нечего; вы меня не любите!

— Вы находите? а?

— Смейтесь!.. Но вы увидите, что я не ребенок! Я готовился посвятить вам жизнь, быть вашим мужем, когда видел, что мог составить ваше и мое счастье, когда знал, что взаимность скрепит наш союз; но вести вас к аналою без любви, холодно, как жертву приличий, по принятому обычаю, — я не могу, и увольняю вас от данного слова!

— Как это сильно сказано!

Адуев не обратил внимания на ее слова и продолжал: — Признаюсь, до сих пор я существовал только любовью к вам, и любимою моею мечтою была — ваша любовь. Не думайте однакож, чтобы я так же легко вверился опытной женщине: нет! ваша молодость, чувство, которое вы обнаруживали вна-

чале, — все ручалось мне за чистоту и искренность вашего сердца; кто бы мог подозревать тогда...

— Что подозревать?

— Столько лукавства, притворства, кокетства...

— Вы забываетесь, monsieur Адуев! сказала она гордо и с гневом.

— Таковы ли вы были прежде? И теперь, в минуту, когда воспоминания о прежнем толпятся в голове моей, — в глазах еще родится слеза умиления. Не смотря на явную холодность, на оскорбления, я бы все простил вам, в память прошедшего, если бы заметил хоть тень того чувства. Но — повторяю — я не ребенок и знаю, что надежды на счастье нет: оно прошло как все проходит своим чередом...

Адуев задумался. Елена поглядела на часы.

— А помните ли, — начал он опять, — кто породил во мне эту страсть, кто раздул пламя пожара? Как в вас достало столько хитрости? Так молоды, а коварство уже успело закрасться в сердце, которое, казалось, дышало одною искренностью, простосердечием. Когда я воротился из чужих краев, усталый, недовольный ничем, когда утомленная душа моя искала одиночества, — кто приветно улыбнулся мне и озарил будущность блестящими и как я вижу теперь — несбыточными мечтаниями? Вы, Елена! вы, очаровательною улыбкой, вызвали меня на сцену света, на участие в этом вихре жизни, в котором кружились сами. Я кинулся вслед за вами...

Елена зевнула.

— Помните ли, как просиживая со мною по целым часам, вот здесь, на этом самом месте, или на даче в саду, вы забывали свет, не хотели никого видеть, кроме меня? Когда я, томимый нравственным недугом, медленно угасал, не вы ли, как ангел-утешитель, сказали мне: «Живи для любви!»

— Кажется, я не говорила этого.

— Тогда вы, — как будто разрешили за меня задачу счастья. Я жадно вслушивался в утешительные слова, впивался в

ваши глаза, и в них сиял теплый луч не одного сострадания, а взаимности, нежного участия; вы, кажется, говорили ими: «Люби меня, и тебе откроется целый мир блаженства; я создам тебе счастье и разделю его с тобой». Помните ли вы?

— Ну, можно ли помнить такой вздор? Это так давно было! неужели вы все еще помните?

— Я закрыл глаза. Вот, где счастье! подумал я, бросился за призраком и — очутился в бездне. — А как я любил вас!.. как любил!.. как любил... Теперь стыжусь признаться в этом самому себе. Это последняя дань сердца, последний отголосок чувства, которое вы уничтожаете так безжалостно!

Елена небрежно играла локоном и по-видимому рассматривала висевшую на стене картину; но если бы кто вникнул в выражение, которое то появлялось, то исчезало в глазах ее, тот — о! тот погрозил бы ей лукаво пальцем и назвал притворщицей.

— Какая непостижимая перемена! начал опять Адуев. Холодность, насмешки, капризы... не этим ли вы хотите заставить меня полюбить жизнь? это ли награда за преданность? А внимательность, даже нежность, вы расточаете Бог знает кому! и для чего? чтоб об вас говорили невыгодно в толпе негодяев!... чтоб ваше драгоценное, святое для меня имя произносилось хором повес!.. чтобы поступкам вашим давали двусмысленный толк!.. Может быть, со временем вы вспомните обо мне и так же вздохнете, но только непритворно, не иронически, а прямо из души — даже, когда будете замужем. — Прощайте, Елена Карловна! я все сказал.

— Все?.. Ну, слава Богу! Я думаю, вы устали?

— Унижаться далее не стану. Благодарю судьбу, что остановился вовремя.

Он слегка поклонился ей; она встала и сделала ему грациозный и церемонный кникс.

— О! как свет испортил ваше сердце, до какой степени заглушил все доброе! Теперь, в эту горькую для меня минуту,

вместо того чтобы подать в утешение руку, кинуть взор хотя простого, дружеского участия в замен блаженства, которое так легкомысленно обещали и которого дать не можете, — вы обнаруживали такое язвительное пренебрежение! Вы не понимаете, какие глубокие раны наносите и без того растерзанному сердцу. В последний раз я в вашем доме!

Зачем же вы хотите лишить нас вашего приятного общества? Мы принимаем по вторникам и пятницам. Надеюсь, что вы не откажетесь быть в числе наших гостей и...

Адуев не дослушал и, с отчаянием в душе, скорыми шагами, вышел из комнаты.

А она? — Она продолжала перебирать клавиши, прислушиваясь к шуму шагов его, и когда они потерялись в отдалении, она облокотилась на флигель, закрыла обеими руками лицо и зарыдала... Как! эта гордая Елена, эта аристократка, девица-деспот — зарыдала? Возможно ли? да не она ли сама, за минуту перед тем, так холодно и равнодушно, даже с насмешкой, отказалась от человека, любившего ее пламенно, преданного ей глубоко? Прошу, после этого, разгадать сердце! Что же говорило в Елене тогда и что заговорило после? Какой демон отвечал за нее сарказмами на объяснение Адуева? Какой ангел заставил ее теперь плакать? Зачем, гордая красавица, не заплакала ты минутою прежде? Знаешь ли, неопытное дитя, что одна твоя слеза прожгла бы насквозь сердце юноши; что он, виновник ее, пал бы, как преступник, к ногам твоим? Одна слеза была бы лучшим проводником чувства, красноречивым оправданием чистоты сердца!.. Но гордость сгубила тебя. Теперь уже поздно: он не видит слез твоих. По его сердцу, вместо благоговейного трепета любви к тебе, пробежал холод; в душу залегло горе, в голове кипит замысел бежать далеко, скрыть обманутое чувство, истребить его новыми впечатлениями... И подумай!.. одна бы слеза могла удвоить его привязанность, сделать со-

вершенным рабом... Ну, что бы тебе хоть притвориться!.. Но теперь уже поздно.

Впрочем, выключая гордость, которая помешала Елене поступить прямо, чистосердечно, исключая капризов, происходивших от властолюбия, свойственного хорошенькой девушке, — виновата ли Елена?

Она девушка с душой, образованным умом; сердце ее чисто и благородно; поведение же, вооружавшее против нее Егора Петровича, происходило от особого рода жизни. На ней лежал отпечаток той школы, в которой она довершила светское воспитание того круга, в котором жила с малолетства. Будучи еще ребенком, она замечала, что — например — ее маменька глядела на своего возлюбленного супруга так просто, как глядят все люди друг на друга, а на молодых людей как-то иначе, как не всегда глядят: вот уж у нее родилось понятие о взглядах двух родов; — видала также, что княгиня говорила с полковником А. при всех и о погоде, и о театре, и даже о маневрах вслух, а когда они сидели поодаль от других, то разговор как то переменялся, делался живее, лица обоих одушевлялись, голоса с приближением посторонних понижались: из этого она заключила, что и разговоры бывают двоякие. Когда же она выросла, то стала внимательнее, хотя все еще глядела просто и говорила одно и то же всем вообще и каждому порознь. Она видела, например, что у графини Р. ложа всегда битком набита молодыми людьми и при разъезде те же самые молодые люди чуть не дерутся за то, чтоб вырвать салоп у человека и подать ей; а на бале — на бале, и доступу к ней нет! Что бы все это значило? Долго красавица думала над задачею; наконец одна же из этих графинь, которым она удивлялась, разрешила:

— Ты очень мила, — сказала ей однажды блистательная дама, — но не умеешь нравиться. Ты так неприступна! от тебя так и веет холодом! Один взгляд твой разгонит толпу самых

любезных молодых людей. Посмотри, как интересно глядит на тебя Ладов, как приветливо встречает Сурков; всюду за тобой, суетятся, толпятся около тебя, а ты краснеешь, как институтка, и кланяешься, как попадья.

Попадья!.. Ужас!.. Елена ахнула. О, постой же, графиня! У тебя в ложе будет просторнее! — Не знаю, что дальше говорила ей графиня. Только на другой день после урока, подле Елены все вертелся двоюродный ее брат, юнкер какого-то гвардейского полка, а на первом бале, после разговора, она до крайности утомилась: от кавалеров не было отбою... Так и пошло. Одним словом, девушка узнала свои силы, какими магическими средствами обладает она и, очертив около себя волшебный круг, начала действовать теми чарами, которыми наделила ее природа и воспитание. Этот волшебный круг был — девическая непорочность, чистота нравственности; а волшебство было для нее не более, как только забавою, весьма употребительною в свете. Она не совсем подражала графиням.

Ну, а сердце?

Оно долго оставалось холодно и спокойно, и забилось только с появлением Адуева — забилось только для него, сильно и часто. Елена охотно уступила действию прекрасного, нового для нее, чувства; она месяца на полтора перестала быть светской блистательной девушкой, стала прежнею очаровательною Еленою, явилась со всею простотой неподдельной прелести, погрузилась на время в самое себя, открыла в душе сокровища, которыми была наделена и, отличив Адуева от толпы поклонников, оценив его ум, благородство души, силу характера и воли, а главное предузнав, по какому то женскому инстинкту, какого рода чувство и в какой степени способен он питать, угадав в нем человека, который один только мог сделать ее счастливою, что одного его могла она любить так, как любила, потому что он ближе всех подходил к ее идеалу, олицетворения которого напрасно искала она

между светскими любезниками, — угадав и рассчитав все это — заметьте: девушки не только рассчитывают, но и обсчитывают — и так, рассчитав все это и полюбив его, как нельзя больше, она стала действовать на него уже не только чарами, какими действовала на прочих, но обнаружила сокровища ума, сердца, души, и покорила. Он вверился пленительной надежде на счастье, увлекся прекрасной идеей будущности и предался совершенно очаровательнице. Уверясь в его чувстве, освятив его взаимностью, а главное, свыкнувшись с мыслию о своем счастье, Елена не сочла грехом обратиться к прежним привычкам, которые у нее нисколько не мешали любви и от которых ей бы трудно было отстать, потому что тогда от нее отстали бы все светские мотыльки, а это повредило бы, в глазах света, репутации ее любезности и, может быть, — таков человек! — породило бы предубеждение на счет ее красоты, уронило бы в глазах соперниц, вырвало бы пальму первенства в свете и... мало ли что еще могло случиться! Посмотрите, и так сколько зол, сколько горьких следствий произвело бы это: как же можно ей быть прекрасною в глазах только одного человека? Никак нельзя! Она права: ссылаюсь на суд моих читательниц.

Стало быть, виноват Егор Петрович? ... Нет, и его винить нельзя. Он родился под другой звездой, которая рано оторвала его от света и указала путь в другую область, хотя он и принадлежал по рождению к тому же кругу. Добрые и умные родители, заботясь одинаково, как о существенных, так и о нравственных его пользах, дали ему отличное воспитание и, по окончании им университетского курса, отправили в чужие края, а сами умерли. Молодой человек, путешествуя с пользой для ума и сердца, нагляделся на людей, посмотрел на жизнь во всем ее просторе, со всех сторон видел свет в широкой рамке Европы, испытал много, но опыт принес ему горькие плоды — недоверчивость к людям и иронический

взгляд на жизнь. Он перестал надеяться на счастье, не ожидал ни одной радости, и равнодушно переходил поле, отмежеванное ему судьбой. У него было нечто в роде «горя от ума». Другой на его месте и с его средствами блаженствовал бы — жил бы спокойно, сладко ел, много спал, гулял бы по Невскому проспекту и читал «Библиотеку для Чтения»; но его — его тяготило мертвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу. Такое состояние он называл сном, прозябанием, а не жизнью. Эдакой чудак!

Когда предстала ему Елена, он, в свою очередь, также оценил ее и понял, сколько счастья заключалось в обладании ею — счастья, которого, может быть, достало бы ему на всю жизнь. Он вышел из усыпления, вызвал жизнь из глубины души, облекая в свои достоинства, и пошел на бой с сердцем девушки. Оно уступило, он достиг цели, наслаждался, гордился, не заметив господствующей слабости, потому что Елена, как мы видели выше, на время покинула ее.

Составив себе строгую идею о ней, с трепетом любви преклоняясь перед ее достоинствами, он пророчил себе чистое блаженство в будущем, радовался, что есть чувство в груди его, которое может помирить его с жизнью, что есть посредница между ним и светом, что есть состояние, которое он может назвать счастьем. «Вот и я начинаю жизнь!» — думал он, и вдруг... А он воображал ее такою чистою, чуждою суетности; возвышаясь понятиями и благородством души над толпою молодых людей, он сам никогда не расточал лести перед женщинами, не ловил их минутной внимательности, был слишком опытен, чтобы поддаться обману, и не льстился теми наградами, за которыми жадно гонялись прочие.

Бегая от ... язык не поворачивается выговорить... от кокеток — надобно наконец назвать их своим именем — он составил себе строгое понятие о той женщине, которую готовился назвать своею — понятие, может быть, несколько

устарелое, романтическое, отзывающееся варварством. Любя сильно, страстно, он думал, что женщина должна совершенно посвятить себя одному ему так, как он посвящал себя ей; не расточать знаков внимательности и нежности другим, а приносить их, как драгоценные дары, в сокровищницу любви, не знать удовольствия, которое не относилось бы к нему, считать его горе своим, и прочее. Виноват ли он, что при этих понятиях, ему не нравилось поведение Елены?

— Сущий варвар! — скажут читательницы. Но я ссылаюсь на суд читателей.

Кто же виноват? — По моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и здесь кончил бы свой рассказ. Но посмотрим, что будет дальше.

Они расстались — может быть, и в самом деле навсегда. Гордость не позволила Елене обнаружить настоящего чувства. Теперь она проливает слезы, и, вероятно, решилась бы на пожертвование в пользу любви, лишь бы возвратился он, который был целью ее жизни, ее счастьем. Она тогда только узнала всю цену ему и то, как она его любит; но он не воротится: в нем также проснулось ужасное чувство, убивающее любовь — гордость, спесь мужчины, долго томившегося страстью и отвергнутого. Он сбросил цепи бесполезного рабства, гордо поднял голову и запел песнь свободы... Бедная Елена! — Но полно так ли? А вот, увидим.

Сумерки уже кончились. Все комнаты освещены; люди засуетились; в кабинете барона послышался говор; старики потребовали зельтерской воды и возобновили беседу, прерванную сном; в комнате супруги барона раздался звон колокольчика; все пришло в движение; — настал вечер, а Елена все еще неподвижно сидела на том же месте, повесив голову. Хотя она не плакала более, но место слез заступила бледность, в глазах изображалось чуть-чуть не отчаяние. То не была уже светская, гордая девушка, царица зал, повелительница толпы

поклонников, всегда спокойная, всегда величавая, с надменностью во взоре, с улыбкой торжества. Нет! с нее спала мишура; горе сравняло ее со всеми, и никто, увидев ее в этом положении, не сказал бы, что эта блистательная девушка высшего круга: всякий сказал бы, что это просто несчастная девушка.

Мне скажут, что ее горе есть горе мечтательное, незаслуживающее сострадания; что причина так ничтожна... По-моему, какая бы ни была причина горя, но если человек страдает, то он и несчастлив. От расстройства ли нерв страдает он, от воображения ли, или от какой-нибудь существенной потери — все равно. Для измерения несчастия нет общего масштаба: о злополучии должно судить в отношении к тому человеку, над которым оно совершалось, а не в отношении ко всем вообще; должно поставить себя в круг его обстоятельств, вникнуть в его характер и отношения.

Да! Елена была несчастлива, и к тому же горе ее не есть мечтательное горе. Любовь Елены к Адуеву не была просто вспышка: она также любила его глубоко, от всей души, в первый и — может быть — последний раз. Умом и душою она была выше своей настоящей сферы. Отпраздновав днем на празднике суеты, удовлетворив самолюбию и собрав обильную дань поклонения своей красоте и любезности, — о чем мечтала она вечером, оставаясь одна? Все о счастье быть любимой, о будущей своей жизни, которую расположилась провести с Адуевым. Свет не наполнял пустоты ее сердца; суетность ошибкой втеснилась в душу, она сама нетерпеливо ждала, когда кончится период девичества и настанет эпоха супружества, эпоха, с которой она будет принадлежать одному человеку. И вдруг надежды исчезли, он не любит ее более, потерял уважение к ней... Какое мучение! — Будущее, с удалением молодого человека, закрылось бесцветной пеленой; она осталась одна навсегда. Лишась предмета, избран-

ного сердцем, она должна отдать теперь участь свою в распоряжение случая. Бог знает, кто будет ее мужем; может быть, она сделается жертвою дипломатических расчетов своего отца!.. О! как в эту минуту опротивел ей свет с своими любезниками!

Да, она истинно несчастлива! — Она не слыхала, как отворилась дверь, как вошла рыжая англичанка, и тогда только узнала об ее присутствии, когда та полаяла по-своему, что парикмахер ждет ее в уборной и что маменька приказала напомнить о бале.

«Бал!.. Боже, этого только недоставало».

— Я не поеду на бал, — сказала она также по-английски: слышите ли? скажите маменьке, парикмахеру, скажите целому свету!.. я не хочу, не могу. — Елена говорила это с выражением совершенного отчаяния, и если бы была мужчиною, то непременно прибавила бы — «god dam!»

Однако не ехать на бал нельзя; или ей надобно притвориться больной недели на две, а то — что скажет свет? И она, как жертва, со вздохом повлеклась с своей компаньонкой в уборную.

Чудо уборная! Какая роскошь! Сколько вкуса! Я видел все эти вещи и прежде, в магазинах Гамбса, Юнкера, Плинке; но там они не производили такого впечатления, как здесь. Отчего же это? Оттого, что здесь каждая из них гармонически отвечает целому, что здесь они в храме богини; на них лежит печать ее присутствия; они как будто живут своею особенною жизнью. — Ну, что, например, занимательного в этом бронзовом подсвечнике с транспарантом, если посмотреть на него в магазине? но когда увидишь в нем остаток свечи, подле развернутую книгу и оставленный платок с шифром красавицы; если вообразишь, как она сидит за этой книгою и читает, — то какую магическую прелесть получит и подсвечник и платок, и даже самая книга, — будь она хоть сочинения

Фиглярина (которых впрочем Елена никогда не читала: Боже ее сохрани!). Ну, что особенного в этом туалете? Стол с зеркалом — больше ничего! Но вот на нем лежит ее перчатка, выворoченная наизнанку, — крошечная и пахнет амброй. Воображение никак не хочет приписать этого запаха французским духам, а непременно ручке, которая носит ее. Диван — прекрасная мебель и все тут! Но красавица переменяла на нем башмаки, и один миниатюрный башмачок забыт горничною. Как небрежно свесились ленточки! — так и тянет к нему! Оглядываешься, нет ли кого — особенно Адуева; хватаешь сокровище и целуешь: нельзя утерпеть!

Теперь Елена сидит в креслах перед трюмо, и едва понимает, что происходит около нее; а около нее хлопочут парикмахер и три горничные. Как хороша Елена теперь! Она так гораздо лучше, нежели на каком-нибудь рауте. Там она вооружается особыми приемами, особыми взглядами, особою речью; а теперь горе убрало ее по своему, но как хорошо! Зачем она не понимает, что она гораздо лучше, когда ею управляет какое-нибудь сильное непритворное чувство? Она небрежно сидит и даже, против обыкновения, не смотрит в зеркало; черные, всегда живые блестящие, молниеносные глаза подернулись туманом грустной задумчивости; в них дрожит слеза; на щеках румянец спорит с бледностью, то выступая, то пропадая опять; уста полуоткрыты; голова склонилась к левому плечу. Она не почувствовала, как куафер отнял с одной стороны шпильки и как волосы роскошных кудрей прянули на щеку и играя вдруг рассыпались кругом по плечу; не заметила, как горничные, примеривая бальную обувь, сняли башмачок с ножки, подложили под нее бархатную подушку, на которой так резко оттенялась эта чудная, восхитительная ножка.

Я постигаю теперь, отчего между парикмахерами нет ни одного угрюмого, задумчивого человека, отчего они веселы и

болтливы: иначе и быть не может. Каким бы холодным ни создала природа куафера, но одно уже прикосновение к голове красавицы должно действовать на него магнитически. Изящное действует на самые грубые души, особенно же, я думаю, изящное в виде Елениной головы. — Как он деспотически распоряжается прекрасною головкой Елены! то наклоняет, то поднимает ее, поворачивает то в одну, то в другую сторону, как будто рассматривает с видом знатока. Как свободно святотатственные взоры гуляют от маковки к затылку и обратно! Он то нагнется к ней, будто подышать ее атмосферою, то откинется назад, будто полюбоваться издали, как художник любуется своим произведением; вот захватил одною рукою целую прядь волос, а другою... Сколько прелестей открывается с каждым движением! Нет, терпенья недостает. Напрасно глядишь на Распятие из слоновой кости, стоящее на столике, напрасно силишься благочестивыми размышлениями заглушить волнение: не помогает! В голове жар, в глазах мутно; кровь то прильет, то отхлынет от сердца... Отвращаешь взоры — и видишь... на диване раскинулось в пленительном беспорядке роскошное газовое платье, готовое заключить красавицу, обнять, стиснуть ее стройный стан, пышные формы... платье до того легкое, воздушное, что если бы мы с вами, почтеннейший читатель, вдвоем дунули на него, то оно перелетело бы на другое место.

Нет! больше никогда не пойду в такие места. Лучше посмотреть, что делает Егор Петрович.

Он уже не так бойко спустился с лестницы, как взошел на нее; останавливался на каждой ступеньке, как будто о чем-то размышляя; ноги его подкашивались, точно как, по выражению Гюго, на каждой ноге у него было по две коленки.

Покидая порог дома, в котором он был так жестоко оскорблен и в который не имел намерения возвращаться, ему бы следовало отрясти прах от ног своих; но он вероятно забыл

сделать это и тихо побрел по тротуару, а кучеру велел ехать вслед за собой. Какая разница между приездом! За час он летел еще с надеждой обладать Еленой, с правом на ее сердце и руку; теперь она не существовала для него более. Он шел тихо, как ходят все несчастливые, склонив голову на грудь, потупив взоры в землю; не слыхал и не чувствовал ничего. Так он добрел домой. Если б слуга не догадался снять с него почти насильно шинели, то он в ней вошел бы в залу; но он вошел только в шляпе, сел на такое место, на которое никогда не садился прежде, про себя, начал говорить следующее:

— «Вот жизнь! — За час, я еще назывался счастливым, а теперь!.. Глупец, ребенок! к чему послужила мне опытность? положился на счастье!... Что пользы, что я узнал жизнь вдоль и поперек, что испытал сам и видел, как другие спотыкаются на каждом шагу и все-таки делаются жертвой обмана? Знал и — попался!... Стыд!... Но кто ж бы устоял против обольщения? Жизнь моя и так не красна; и так я долго крепился; и ведь я человек!.. Как больно обмануться в последней надежде! как грустно отказаться от лучшей мечты!...»

Он погрузился в задумчивость; потом встал и скорыми шагами начал ходить по комнате.

— «Что начать?... Куда я денусь с своей тоской?...» Он задумался. Наконец глаза его приняли совершенно другое выражение: они заблистали гневом; губы судорожно сжались. «Нет, воскликнул он: я не поддамся горю, не стану томиться под бременем тоски! нет! клянусь честью, нет! У меня достанет твердости отказаться от несбыточной мечты, забыть ее... Я найду чем рассеяться. Чтение, множество покинутых занятий; не поможет — пущусь странствовать по свету; опять в Германию, на жатву новых знаний, под благословенное небо Италии, Греции. Говорят, путешествие всего спасительнее для сумасшедших этого рода. Да мало ли занятий! Вот, например, я целый месяц не видал в глаза своего управителя

и не знаю, что делается в моих деревнях; а от меня зависит судьба трех тысяч человек, от них мое благосостояние! сейчас же и займусь. — О! я возвращу утраченное спокойствие; недаром я мужчина!»

— Эй! закричал он. — Явился человек. — Позвать управителя ко мне в кабинет!

Через пять минут в кабинет вошел с кипой бумаг управляющий Егора Петровича, низенький старик, чрезвычайно плешивый в гороховом сюртуке. Он низко поклонился и стал у порога.

— Давно мы не видались с тобой, Яков! Что ты нынче не ходишь ко мне с делами?

— Я хожу, батюшка, Егор Петрович, каждый день, как и прежде, да мне все говорят, что вы изволите уезжать к барону Карлу Осиповичу.

— Сегодня это в последний раз сказали тебе. Начиная с нынешнего дня, докладывай мне обо всем, показывай каждую бумагу. Я сам хочу все видеть и знать.

— Слушаю-с, — сказал старик и низко поклонился.

— Что же у тебя есть?

— Да вот, сударь, архитектор из воронежской вотчины пишет, чтобы изволили назначить срок, когда дом в Ельцах должен поспеть: еще осталось довольно работы, а весна близко. Да садовник просит выписать семян для цветника, что вы приказали разбить; реестр прислал, да не по нашему писано.

Врут они оба! с сердцем прервал Адуев: ничего не нужно. Оставить стройку и отпустить архитектора; в саду тоже никаких затей не нужно. Я не поеду туда.

Слушаю-с, — и старик низко поклонился.

Недаром рассердился Адуев: все частные планы, о переделке деревянного дома и о переменах в саду, входили в один общий план его женитьбы. Он уже мысленно нарек Елену

своею и, составив теорию будущего счастья, начал практически приводить его в исполнение. Воронежскую свою деревню, имевшую прекрасное местоположение, назначил он будущим жилищем, и тамошний старый, мрачный, некрасивый дедовский дом задумал преобразить в светлый храм любви, там он предположил свой Эльдорадо. Он изучил вкус Елены до мельчайших подробностей, искусно выведал будущие ее желания и, соединив их со своими, начал делать, сообразно этому, перемены в деревянном доме и саду: пригласил архитектора и выслал из Петербурга планы для переделки дома, садовнику тоже надавал множество приказаний. Он уже помышлял о покупке мебели и разных вещей для украшения дома, уже мысленно распределил занятия в деревне, расположил свой будущий семейный быт, заботился о дополнении библиотеки любимыми авторами Елены; часто задумывался о том, как введет милую хозяйку в дедовский приют и начнет новую эпоху жизни. Хозяин, благодетель своих подданных, муж, обладатель прелестной женщины и потом — вероятно, отец... какая будущность! И вдруг — кто бы мог подумать!... Демон бешенства овладел им, когда управитель напомнил ему о планах, которые превратились теперь в воздушные замки и никуда не годились.

Он начал опять ходить по комнате.

— Что у тебя еще есть? — сердито спросил он.

— Староста ярославской вотчины пишет, с трепетом начал Яков: не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням: им пришел черед в рекрутчину; у одного-то отец осенью ногу порубил, сидит на печи поклавши руки, а он с сыном только и работали на всю семью; остались бабы да малолетки, — хоть по миру идти; — другой сосватал было невесту, сироту — девка работящая, клад для семьи. Такие горемыки, пишет староста, что сердце ноет, глядя на них.

Адуев нахмурился.

Что?.. невесту?.. Я ему дам невесту! Сумасшедший, вздумал жениться! Вздор! обоих в солдаты, а девку на фабрику; если староста еще будет писать, так и его туда же! Я не люблю шутить! Слышишь ты?

Слышу, батюшка Егор Петрович, завтра приготовлю ответ.

Дальше!

Из курской деревни мужички челобитье прислали, крепко жалуются на неурожай, просят, не отсрочите ли еще на годик: больно худо пришло.

Вздор! чтобы нынешний же год все до копейки было взыскано, а не то... понимаешь?

Ваша барская воля, сударь. Завтра напишу, отвечал старик и низко поклонился.

Все ли?

Все, сударь.

Ну ступай же; да смотри, докладывай мне обо всем самому.

Управитель вышел из кабинета в переднюю, где ожидал его другой старик, Елисей, дядька и камердинер Адуева.

Что, батюшка Яков Тихоныч, поделалось с Егором Петровичем? Поведай. Ума не приложу: никогда я не видывал его таким.

Яков махнул рукой и рассказал, что произошло между ними как барин принял челобитную мужиков, как отвечал на просьбу рекрут.

— Видно в покойника барина пошел! — так заключил Яков свой рассказ: — человек, подумаешь!..

— Что ты говоришь, Яков Тихоныч!

— Ей-Богу, право.

Старики попотчивали друг друга табаком и разошлись.

Между тем Адуев ходил в сильном волнении по комнате.

— Ну вот, я теперь и спокоен, — говорил он, судорожно отрывая одной рукой пуговицу у сюртука, а другой царапая чуть не до крови ухо: совершенно спокоен. Одно кончил; теперь займусь другим... О! я забуду ее!..

В это самое время лукавый напомнил ему доклад управителя о перестройке деревянного дома; воображение начало развивать картину утраченного блаженства; он представил себе поэтический приют — дом, чудо удобства, вкуса и роскоши, прелестный сад, где искусство спорило с природой; о том, как бы они вдвоем с Еленой заперлись там от глупых соседей, от целого мира; там он, с волшебным зеркалом, лежал бы у ног своей Армиды... И все погибло! великолепное здание мечтаний разрушилось! — Он совсем оторвал пуговицу и до крови расцарапал ухо.

— Нет! это низость, малодушие! — вскричал он: прочь, лукавые мысли! прочь, обольстительные мечты! полно вам тешить меня! я вытесню вас из памяти, запишусь под знамена какого-нибудь развратного корифея буйных шалунов, пристану к их хору, и среди оргий истреблю память о ней, буйным криком перекричу голос сердца... Завтра же начну новую жизнь.

Он схватил перо, лист бумаги и начал писать. Через пять минут он кликнул Елисея.

— Завтра у меня будут обедать эти двадцать человек, которые здесь записаны. Разошли к ним людей с приглашениями, а на тебя возлагаю заботы о столе. Смотри же! роскошный обед, шампанского вдоволь, да были бы карты!..

— Помилуйте, сударь, ведь уже ночь: когда успеешь!..

— Успей, когда хочешь! закричал Егор Петрович: я ничего знать не хочу! чтоб было! — Старый черт умнеть стал — вон!..

Старик сначала с удивлением, потом с грустью посмотрел на Адуева.

— Старый черт! шептал он, покачивая головой; каково махнул? Отродясь не слыхивал себе такого счастья! — Чего я дождался от вас, Егор Петрович, дожив до седых волос! вынянчил вас, тридцать лет служил вашему батюшке, под Туречину с ним ходил, и от него не слыхивал такого нехорошего слова.

Адуев молча показал ему рукою на дверь. Старик отер ладонью слезу, поднял с пола реестр, написанный Адуевым и тихо печально, с поникшей головой, побрел вон. — Боже! воскликнул Адуев с тоской: куда завлекла меня страсть? что я делаю? я потерял рассудок... Он закрыл лицо платком и зарыдал глухо, без слез. Его страшно было слушать: он был жалок и ужасен. Ему стало душно; он с трудом переводил дыхание; признаки душевной бури и физического недуга уже легли на лице, которое еще за два часа перед тем свежее, прекрасное и цветущее, теперь совсем изменилось; глаза потеряли блеск, будто после продолжительной болезни, щеки опустились, все черты были искажены, волосы в беспорядке. Наконец, мало-помалу, бешеная тоска впала в тихую грусть; он наружно стал спокойнее. Одной рукой облокотись на стол, другой он машинально вертел лежавший на столе какой-то билет, наконец, бросив на него случайно взгляд, он прочел: «Билет для входа на бал в Коммерческом клубе».

— Откуда взялся этот билет? спросил он, кликнув слугу.

— Какой-то барин завез и приказал сказать, что надеется вас непременно видеть на бале.

— А! Сама судьба посылает мне средство к развлечению! Пойду, куда она влечет меня; может быть, неожиданно буду счастлив.

—Давай же одеваться! — сказал он слуге, и вели закладывать карету.

— Знаешь ли, где Коммерческий клуб? спросил он кучера.

— Никак нет-с.

— Где-то на Английской набережной; надо спросить.

— А! знаю-с!

— Ну, так пошел туда!

Все бытописатели, которым приходилось писать о бале, не забывали никогда упоминать о самом ничтожном и само собою разумеющемся обстоятельстве, что подъезд и окна

бывают ярко освещены, а улица перед домом заперта экипажами. Да разве может обойтись без этого один съезд порядочных людей? Конечно, описать эти мелочи, как описал Пушкин в Онегине, другое дело! Туда мы и отсылаем любопытных по этой части и упоминать более об этом не станем, потому что не намерены изображать картины бала, который нам нужен только для одного обстоятельства, имевшего большое влияние на судьбу Егора Петровича.

Адуев вошел в сени, сунул билет свой в руки богато одетого швейцара и с удивлением стал подниматься на лестницу, которую облепил дорогой ковер, сделавший бы честь не одному кабинету; по бокам тянулся ряд померанцевых и лимонных дерев; она упиралась в двери с золотой резьбой, с хрустальными стеклами. В передней толпились официанты, одетые в бархат и облитые золотом. Одним словом, все было так, как бы пристало какому-нибудь аристократическому балу.

— «На публичном бале — и такая роскошь! — подумал Адуев: — странно».

Двери отворились, и ему представилась амфилада ярко освещенных комнат. Остановившись на минуту в дверях залы, он через лорнет вперил взоры в толпу и с удивлением увидел, что тут собралась вся петербургская аристократия, «сливки общества». Перед глазами у него беспрестанно мелькали звезды, ленты, все существующие на свете мундиры, потому что тут находились представители всех держав. Тут были и те молодые люди, которые, наружными качествами, отличались бы всюду, даже на страшном суде, когда вся толпа человечества предстанет вместе. Тон, приемы, костюм, доведенные до высшей степени изящности и совершенства, простоты и естественности, под которые нельзя подделаться, обличали в них первоклассных денди, людей, на которых воспитание, чуть ли не сама природа, набрасывает особый оттенок.

— «Эти как попали сюда? — подумал Адуев, — я никогда не слыхивал от них ни слова о коммерческом клубе». — И отошедши к зеркалу, он бросил испытующий взор на свой костюм, потом вошел в залу.

Недалеко от дверей стоял старик почтенной наружности, в иностранном мундире. Он раскланялся с Адуевым и сказал ему какое-то приветствие.

— «Здесь собрано все, чтобы сделать бал не похожим на публичный, — подумал Егор Петрович: — какой-то старик встречает меня как будто хозяин! Верно, бывает у барона и видал меня».

Он вежливо отвечал на поклон и отправился далее.

Наконец, добравшись до того места, где совершалась первая часть бала — танцы, он остановился. Там собрались блистательные дамы, от которых Адуев по возможности бегал, которые зимой, по вечерам, живою гирляндою обвивают бель-этаж Михайловского театра, а по утрам Невский проспект, которые летом украшают балконы каменноостровских дач. Они, как звезды первой величины петербургского общества, разливали вокруг себя радужный свет. Какая утонченная изысканность, сколько изящества и вкуса в нарядах! На Адуева так и повеяло холодом приличий, так и обдало той атмосферой, в которой бывает тесно, не свободно дышать мыслящему человеку. Он внутренне проклял Вронского, который привез ему билет.

— «Повеса! — ворчал он, — и не предупредил меня! Верно, хотел сделать сюрприз. Признаюсь, ему удалось как нельзя лучше. — Да где же он сам. Отчего по сю пору не едет?

В это время одно из блистательнейших светил, протекая мимо него, остановилось.

— И вы здесь, monsieur Адуев? — сказало оно, редкое явление — вы такой нелюдим! Через кого вы здесь?

— Через Вронского, княгиня.

— А я думала через барона, — сказала она, и потекла далее, волоча за собою маленькую коротенькую княжну, как корабль влачит лодочку.

— «Да, как не так! — подумал Егор Петрович, пробираясь далее, — поедет барон в Коммерческий клуб, не смотря даже, что и ваше сиятельство здесь! Впрочем все его товарищи по службе и по винту приехали же сюда; стало быть и он мог бы приехать».

— Ah, bonjour, cher George! вскричал молоденький гвардейский офицер, схватив его за руку: как ты попал? Ну, очень рад, что ты одумался и, наконец, разрешил показаться в свет. А ведь прежде ты терпеть не мог. Не правда ли, что здесь очень мило?

— Пойдем, я познакомлю тебя с Раутовым, Световым, Баловым. Премилые ребята! Они заочно любят тебя и бранят давно, что ты прячешься от людей. С твоими достоинствами, надо идти вперед. Пойдем!.. да!.. кстати! будешь ли ты в пятницу у австрийскаго посла?

У австрийскаго посла! В уме ли ты? Будто это одно и то же!

Да почти, mon cher; все те же лица будут там; разве императорская фамилия...

Полно вздор говорить! Лучше скажи, будешь ли завтра у меня обедать? Я послал к тебе приглашение.

Что у тебя? сюрприз готовишь? уж не наследство ли получил? Да постой! ты что то бледен, расстроен... Ну, так и есть! бьюсь об заклад, что наследство; ты из приличия делаешь кислую мину... В таком случае не следовало бы приезжать; а то — что скажут в свете? — серьезно шепнул он ему на ухо и бросился навстречу входящей даме с девицей; а Адуев пошел далее, беспрестанно сталкиваясь по пути со знакомыми и с неизбежными вопросами: «Ах, и ты здесь? — Каким образом вы попали сюда? — Ба! вот сюрприз! браво! — И вы в свете?»

Наконец это надоело ему, и он вышел из залы в следующие комнаты, частью пустые, частью наполненные играющими в карты. «Все это слишком богато для публичного бала, — думал он: — куда ни обернись, везде мрамор, бронза. Какая мебель! точно как будто еще вчера здесь жил какой-то вельможа: расположение и уборка комнат ясно показывают это. Вот и картинная галерея!» — И направляя лорнет на картины, он ахнул: тут были произведения итальянской кисти всех школ, почти всех знаменитых художников, в оригиналах». Что это значит? воскликнул он. Между прочим тут были портреты государя и государыни, превосходной работы, и подле них портрет какого то генерала в иностранном мундире. Он искал взорами знакомых, чтобы спросить, чей он; но знакомых тут не случилось, и он стал рассматривать группы изваяний. Опытный взор его тотчас увидел превосходный резец. Тут также были бюсты государя императора и государыни императрицы, поставленные на возвышении, а с противоположной стороны, на таком же возвышении, стоял бюст того же генерала.

— Чей это бюст? спросил он мимо проходившего знакомого англичанина.

— Неаполитанского короля, — отвечал тот и исчез в толпе.

— Что за влечение Коммерческого клуба к неаполитанскому королю? уж скорей бы к английскому: по крайней мере — торговая нация. Странно!

— А! воскликнул он почти вслух: понимаю! верно клуб нанимает дом, и хозяин оставил все в своем виде... ну, теперь понимаю!

Между тем отдаленные звуки музыки, доносившиеся из залы, привлекали, а толпа суетившаяся около него, увлекала его туда. В дверях ему попался тот же старик, и опять обратился к нему с учтивым вопросом, отчего он не танцует.

— Покорно благодарю; я никогда не танцую, отвечал он сухо.

— «Что он пристает ко мне, — бормотал Егор Петрович, отходя прочь, — верно я понравился ему. Да нет, вон он за другими ухаживает. Так... добрый человек. Ведь есть этакие старики, что всякому лезут. Чудак должен быть; уж не помешанный ли, в публичных местах иногда являются такие. Надо спросить, кто это такой».

Но тут опять не было знакомых, а между тем кончился контрданс и Адуев, прислонясь спиной к мраморной колонне, случайно переносил задумчивый взор на все предметы, без выражения, без смысла. Тоска глубже впилась в его сердце, червь отчаяния сильнее шевелился в груди, среди чада великолепного бала; молодой человек сильнее чувствовал свое одиночество, потому что душа его была слишком чужда беспечного ликования, бессмысленной радости без всякой цели; обаяние бала поглотило всех: только его не коснулось очарование; он был похож на зрителя, который постигает фокусы шарлатана и не разделяет удивления с толпою.

— «Бал! бал! — думал Адуев, — и это может занимать людей целую неделю! Если б их ожидало что-нибудь новое, невиданное, неслыханное, тогда ждать бала было бы только любопытство, свойственное человеку. Но за неделю взвесить сумму наслаждений, рассчитать каждое мгновение этого события, тысячу раз повторенного и столько же раз имеющего повториться, и все-таки ждать — это просто ничтожество!» Адуев не понимал радости, суеты молодых людей, и был прав, так точно как они не поняли бы его тоски, если б знали о ней, захохотали бы над его горем, и тоже были бы правы.

Но посмотрите, что с ним сделалось! Взоры его, блуждая до сих пор рассеянно, вдруг сделались неподвижны, — с жадностью, с изумлением, устремились на один предмет. Он остолбенел, дыхание у него замерло... Какой же предмет, кажется, мог бы увлечь все его внимание, взволновать? и где же? на бале! Одна только Елена действовала на него таким обра-

зом. А разве я говорю, что и теперь не она подействовала на него? Именно она бледная, печальная, сидела подле этрусской вазы, едва отвечая на любезности трех денди. — «Елена!... Что это значит? в коммерческом клубе? зачем? И так грустна... Боже, она несчастлива!» Вот вопросы, молнией мелькнувшие в голове Егора Петровича, а в сердце раздался вопль проснувшейся страсти, голос участия заговорил сильнее нежели прежде, потому что он не видал ее несчастною. — Он видит, что три любезника отпорхнули от нее, не узнав в ней обыкновенной Елены, всегда приветливой, всегда любезной, и повлеклись за графиней Z, как хвост за кометою. Она одна; глаза ее не горят по-прежнему торжеством победы и самоуверенности; из них готова капнуть слеза; она с отвращением смотрит на толпу; ей досадна, противна суетность; не то ей нужно теперь: ей нужны объятья и утешительные слова дружбы, горячее сердце матери, которому бы она поверила тоску. Но где мать? Она сидит среди блистательных старух и так же занята балом, так же не понимает ее горя, как другие, а подруги носятся в бальном чаду, от которого очнутся, может быть, только на третий день после бала. Где же взор участия? — Одно только и было существо, которое понимало ее, которого сердце билось для нее одной — какое сердце! Теперь оно, это единственное сердце, оскорблено ею же. О, как несносно!.. Она машинально обратила глаза на толпу, задумчиво глядела на все окружающее; наконец, смотр толпе кончен; она подняла взоры вверх, как будто считая колонны; вот дошла до последней, больше не на что смотреть... Ба, что это такое? С нею тоже сделалось, что прежде с Егором Петровичем. — Отчего эти грустные задумчивые взоры вдруг сверкнули опять молнией? отчего слезы внезапно выкатились и стали, как два алмаза, на ресницах? Она чуть не вскрикнула; приличие едва заглушило радостный вопль. Что это значит?.. А это значит то, что она увидела Адуева.

Мысль, что он не разлюбил ее, что забыв принятые им правила, победив отвращение к шумным сборищам света, к этим шабашам, приехал сюда видеть ее, искать примирения с надеждой возвратить утраченное, — мысль эта вдруг облила лицо ее светом радости, какой она никогда не чувствовала, торжествуя свои победы. Вот отчего показались слезы; вот отчего она забыла и свет, и толпу, и приличия, и устремила страстный умоляющий взор на молодого человека.

Он видел и понял все. Нужно ли ему еще доказательств, что он любим? Бледность, печаль, отважный, по его мнению поступок — приехать в клуб, говорили слишком красноречиво, а взор довершил только победу, победу самую блистательную, не над сахарным сердцем паркетного мотылька, но над сердцем, оскорбленным ею. Торжествуй красавица!

— «Нарочно для меня приехала сюда! — в восторге думал также Егор Петрович. — И как она узнала? вероятно, посылала осведомиться у людей. Так печальна!.. О! она любит меня; нет сомнения!»

Он подошел к ней с выражением полного счастья на лице.

Я виновата, George! — сказала она тихо, — кругом виновата! Простите меня; забудьте, что я говорила и делала; не верьте словам моим: они были внушены досадой и оскорбленным самолюбием. Я люблю вас, как никого не любила до сих пор, но сама не знала о том. Я еще никогда не лишалась любимого предмета, не испытала разлуки. Простите меня! Мучительно оскорбить человека и вдобавок, человека, которого любишь, и страдать без прощения, ежеминутно сознавая вину... О! если вы простите меня, как я буду уметь любить вас, беречь свое счастье, которое разрушила по легкомыслию! Вы дали мне урок, научили уважать себя...

Елена отвернулась в сторону, чтобы скрыть слезы, которые появились во множестве и готовы были брызнуть без церемонии, как у всякой женщины в подобном случае. Она гово-

рила скоро, прерывистым голосом. Не понимая ни своего, ни чужого сердца, то надеялась и не смела угадать ответ. Она была просто женщина, но женщина-ребенок: настоящая женщина поступила бы иначе на ее месте, хотя следствия были бы одни и те же. На все надобно сноровку, Елена Карловна. Вы еще молоды, сударыня! спросили бы опять у графини: та бы научила вас.

Адуев побледнел: он едва перенес горе, но неожиданный переход, оглушающий удар счастья был не по силам ему.

— Ни слова более!.. Пощадите меня, Елена! Я не перенесу; мне дурно... силы покидают меня! И, сказав это, он тихо опустился подле нее на стул. Елена теперь только угадала ответ и хотела бросить взор на небо, но он встретил потолок, расписанный альфреско — небо для бала очень хорошее, особенно для тех, которые там были: они бы не желали и сами лучшего с целым миром мифологических богов. Между ними амур, казалось, улыбнулся ей и будто хотел опустить из рук миртовый венок на ее голову, в знак торжества своего могущества.

Счастливец Адуев! — В каком упоительном состоянии он теперь! чувство восторга втеснилось в грудь его, и мешает ему говорить, думать, даже дышать. Он сидит неподвижен, бледен, еще не может мысленно измерить своего блаженства... мысли цепенеют в голове и сливаются в одну необъятную, отрадную идею: «она любит!» Язык его онемел. Опять досадный, помешанный старик подошел с вопросом, не дурно ли ему, не нужно ли ему воздуха, fleurs d'orange, des sels...

— Нет-с, мне теперь ничего не нужно! сказал он, собравшись с силами. — Елена, — шепнул он ей: этой минутой вы выкупили бы кровную обиду. Я, я один виноват во всем; я опытнее вас, должен бы был поступить иначе, а не горячиться, как семнадцатилетний мальчик. Теперь обращайтесь со мной вдвое холоднее, будьте вдесятеро капризней: я все снесу! — Он встал.

— Куда вы?

— К барону, просить вашей руки.

— Теперь?.. Возможно ли! на нас и так обратили внимание.

— Уговорите по крайней мере вашу маменьку ехать поскорее домой.

Барона насилу оттащили от виста, а баронессу от старух. Адуев посадил их в карету и у их крыльца высадил опять, и вошел к ним.

— Отдайте мне Елену, барон: только вашего согласия недостает для моего счастья.

— Ба! что это тебе вздумалось теперь? — чего ты смотрел прежде? Отложи хоть до утра. И так ты нашу игру расстроил. А какой вистик! Я был в выигрыше. Представь: у меня был туз, король сам — третей, у адмирала...

Не откладывайте моего счастья ни на минуту! я хочу уехать с мыслью, что Елена моя.

Помилуй! я люблю тебя, как сына и давно готов, жена тоже; да что скажет Елена?

Papa! сказала она умоляющим голосом, — faites ce qu'il vous demande: je le veux bien.

Вон она что говорит! как это ты угадал ее мысли? Ну — быть так!

Отец и мать благословили дочь. — Молодые люди очутились вдвоем в той же комнате, у того же флигеля, где за несколько часов Адуев претерпел поражение; но кто старое помянет, тому глаз вон! Однако Егор Петрович помянул.

— Я так много страдал, — сказал он, взяв ее за руку, — вы так долго мучили меня, что... на этом месте, где легкомысленно оскорбили меня... О, вам так легко загладить оскорбление! — Он подвинулся ближе; она взглянула на него и улыбаясь, в смущении опустила тотчас взоры в землю; краска разлилась по лицу. У обоих сердца бились сильно, оба едва переводили дыхание. Наконец он наклонил несколько голову, хотел коснуться устами пылавшей щеки ее, но она отверну-

лась, и роскошные, благоуханные кудри осенили лицо молодого человека... обернулась опять, как будто играя; уста его еще на том же месте, еще жаждут награды; она уже не отворачивалась, а глядела на него в какой-то нерешимости, в недоумении, с улыбкой. У обоих из глаз выглядывало счастье; не долго оставались они в бездействии; невидимая электрическая нить, проведенная от взоров ко взорам, укорачивалась... они зажмурились, а уста сошлись... Он обомлел, и замирая, с трепетом, преклонил колена и осыпал пламенными поцелуями руки ее.

— Ну, на первый раз довольно! сказал барон, стоявший в дверях. — Теперь пойдемте ужинать.

Молодые люди отскочили друг от друга, как два голубя, испуганные выстрелом.

— Нет... мы... так-с, барон! пролепетал Адуев и стоял, как школьник, почесывая голову, а Елена начала рыться в нотах. — Ужинать! — плаксиво сказал он: — да неужели вам хочется ужинать?

— А как же нет? И тебе советую. Ты расстроил уж вистик, когда у адмирала... о! я этого никогда не забуду!.. да еще без ужина хочешь оставить? Слуга покорный.

Прочитав еще раз ярко написанное выражение счастья в глазах Елены, осыпав еще раз поцелуями руки ее, Адуев помчался домой — не берусь описывать, в каком положении: женихом не был, но должно полагать, что ему было приятно.

Он опять вошел в шляпе прямо в кабинет, где застал своего камердинера Елисея. Старик был все еще не в духе от «нехорошего слова», сказанного барином. Егор Петрович заметил это.

— Елисей, — сказал он: я тебя обидел сегодня. Виноват! не сердись на меня. Даю тебе честное слово, что вперед этого не будет.

Елисей сначала выпучил глаза на барина, потом вдруг повалился ему в ноги и поцеловал руку.

— Батюшка, Егор Петрович! начал он: ведь я холоп ваш; тридцать лет служил вашему батюшке, под Туречину ходил с ним, много господ видал на своем веку, а этакой диковинки не слыхивал, чтобы барин у холопа прощенья просил!

— Да разве стыдно сознаться в своей вине и стараться загладить ее? И притом ты больше не холоп! я отпускаю тебя на волю и даю пенсию.

— На волю!... За что, сударь, прогневались на меня? На что мне безродному воля? куда на старости преклоню дряхлую голову? Век жил в вашем доме; в нем хотел бы и умереть, если не откажете в куске хлеба старику. За милость благодарен; только Бог с ней!.. Я выняньчил вас тридцать лет служил покойному барину, под Туречину...

— Живи и делай что хочешь. Только не пора ли тебе отдохнуть от трудов? Служба твоя кончена. На, вот, возьми хоть это.

Он подал ему бумажник с деньгами. Елисей посмотрел на него с одной стороны, обернул на другую, покачал головой и положил на стол.

— И! батюшка Егор Петрович! да на что мне? Нужды мы, по Божьей да вашей милости, не видим: сыты, одеты, обуты; а сколько бедных без куска хлеба! Лучше пожалуйте им. От себя не отсылайте. Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам. Ну, где молодому парню за порядком смотреть! да угодить вам! Я выняньчил вас, тридцать лет служил батюшке, под Туречину с ним ходил...

— Ты честный человек, Елисей! Бог наградит тебя. — Ну, теперь послушай: Я тебе новость скажу, старый...

— Что, сударь, старый? спросил он торопливо.

— Старый мой пестун!..

— Ух! отошло от сердца! А уж я думал опять, прости Господи, старый черт скажете.

— Добрая весть! Порадуйся: я женюсь на Елене Карловне.

— Ах ты, Господи! во истину радость сказали. Привел Бог дожить до такого счастья.

Старик перекрестился со слезами на глазах, потом опять поклонился в ноги Адуеву и поцеловал его руку.

— Поздравляю, батюшка! Кабы покойный барин, батюшка ваш, да покойница барыня, матушка ваша, были живы, царство им небесное! — Старик опять набожно перекрестился и взглянул на образ. — То-то бы радости — то было! То-то бы благодарили Бога за милость! Да не привел Господь их дожить до такого счастья, а меня грешного удостоил. Поздравляю, батюшка! Побегу рассказать дворне! — Старик обтер ладонью слезу и спотыкаясь побежал из комнаты.

Адуев почти не спал ночь, а поутру, раньше обыкновенного, начал одеваться, чтобы лететь туда, куда влекло его сердце, где его ждало другое. Кончив свой туалет, он взял шляпу и вышел в переднюю. Перед крыльцом серый рысак едва стоит на месте, храпит и роет копытом снег, как будто предчувствуя нетерпение своего господина. Человек набросил на Егора Петровича шубу и отворил уже дверь, но вдруг как гриб вырос из земли, явился плешивый управитель с пребольшой кипой бумаг. Он низко поклонился и стал у порога.

— Что ты, Яков?

— Да к вам-с, с делами.

— С какими делами?

— Вы вчера наказывали ходить всякий раз к вам с докладом.

— Я наказывал?.. Что-то, брат, не помню. Он подвинулся к дверям.

— Как же, сударь! вы изволили сказать: «показывай мне каждую бумагу: я хочу сам все видеть и знать».

— Будто так и сказал?.. Да нельзя ли отложить?

— Никак нельзя-с. Вот я приготовил ответ на челобитье мужичков, что недоимки — де сроку не терпят, — тем, что черед в рекруты пришел ...

— А помню, помню! сказал Егор Петрович. — Эти ответы не годятся. Напиши, что недоимки я прощаю совсем...

— Что вы, сударь! да ведь там восемнадцать тысяч! с испугом вскричал управитель.

— Нужды нет, — спокойно отвечал Егор Петрович. Елисей с Яковом покачали головами. Сверх того, из своих отпускаю десять тысяч на помощь самым бедным; за рекрут деньги внести; одному дать тысячу рублей на свадьбу и на разживу, а другому столько же на поддержку семьи. Садовнику я сам куплю семян, а архитектору написать, чтобы дом совсем отделать к июню месяцу; я мебель и все пришлю.

Проговорив это, Адуев пошел проворно к дверям.

— Вот-с... вот-с позвольте, сударь! Еще из орловской вотчины пишут, что хлеб весь расхватали: требование большое. Не прикажете ли почать запасный? Староста пишет ... Да вот я прочту, что он пишет...

Яков вздел на нос медные очки и стал рыться в бумагах, наконец достал замаслянное письмо и откашлянувшись начал: «Желаю здравствовать многие лета милостивому нашему батюшке Егору Петровичу, а и уведомляю, что Фомка да Параська Лапчуки, да Гаршенков Фадей, да Мишка Трофимов с отцом, с Трофимом Евдокимовым, на десяти подводах...

— Полно тебе, Яков Тихоныч, людей то смешить! сказал Елисей: посмотри-ко, где Егор Петрович! — он показал ему в окно на улицу, вдоль которой мчался Адуев.

Егор Петрович, видя приготовления Якова к чтению письма, каковая операция угрожала продолжиться с добрых полчаса, ускользнул в двери и — был таков! Серый рысак по вчерашнему выбивался из сил и летел, как стрела по Невскому проспекту. «Пошел!» кричал опять поминутно Адуев. — «Эка сорви-голова! провал бы тебя взял!» опять ворчали прохожие, глядя ему вслед...

Ну, что скажешь, Елисей Петрович? Шутка! восемнадцать тысяч недоимки простил, да десять от себя в придачу дал — выходит двадцать восемь! На выкуп парней из рекрутчины что пойдет! Две тысячи им отпустить велел так ни-за-что ни про-что! — Двадцать тысяч слишком, подумай сам, в минуту махнул, что табаку понюхал! Не в покойника, нечего сказать! Человек, подумаешь!

— Что ты говоришь, Яков Петрович?

— Ей Богу, право.

Старики попотчивали друг друга табаком и разошлись.

Адуев явился к себе домой после всех гостей, названных накануне. Между ними был и Вронский, доставивший билет в коммерческий клуб.

— Хорош! сказал Адуев, — а обещал быть в клубе! Где протаскался, повеса? говори! и зачем не предупредил меня об этом бале? Я, признаюсь, такой роскоши не ожидал.

— Помилуй! отвечал тот, — не я ли целый вечер прождал тебя у дверей залы? — Отчего ты не изволил явиться? Как бы, кажется, не свидеться там? я бы уж не прозевал. — Да что тебе там особенно роскошно показалось? В твоей передней, право, не хуже.

— Помилуй! прислуга в бархате, в золоте! все блестит, везде мрамор, бронза! какое освещение! какая мебель! целая картинная галерея!... А общество! А тон! а приличие, вкус в нарядах! — Меня все с толку сбило. Хоть бы у посланника так...

— Прислуга в бархате?.. мрамор ... бронза... тон... приличие... общество? с изумлением, протяжно повторял Вронский. Помилуй, в уме ли ты? И что там за общество? придворных, что ли, ты там видел? или дипломатический корпус?

— Весь, братец! — А графиня Z.? а P.? а все денди?.. Да вот, спроси у Дружевского. И он был там. Неправда ли, Дружевский, что вчера на бале были все посланники и вся петербургская знать?

— Да, все были.

— Да на каком бале? позвольте спросить, сказал Вронский.

— На том, где были вчера с Адуевым: у неаполитанского посланника.

— Поздравляем! закричали все с хохотом: ты из одной крайности перешел в другую: бывало никто не дозовется тебя, а тут без зову пожаловал.

И молодые люди пустились хохотать и острить. Адуев призвал кучера и спросил, куда он вчера возил его.

— Да куда вы приказали: на бал, на Английскую набережную. У того дома всегда видимо-невидимо карет стоит, а в окошках огни горят, когда ни проедешь. Я и смекнул, что должно быть там.

Адуев расхохотался вместе с прочими при этом наивном объяснении, особенно когда узнал, что «помешанный» старик, пристававший к нему, был сам хозяин, неаполитанский посланник.

Поднимая первый стакан шампанского... Заметьте: я сказал не бокал; это был бы анахронизм; в обществе молодых и холостых людей шампанского из бокалов не пьют... Поднимая первый стакан шампанского, Егор Петрович предложил тост за здоровье баронессы Елены Карловны Нейман, своей невесты. Молодежь встрепенулась, шумно вскочила на стулья и хором поздравила счастливца. Дурачеств было наделано немало в тот день.

К посланнику Егор Петрович отправился с извинением, и как тот знал барона, то охотно познакомился и с ним и обещал, в благодарность за приезд его на бал, быть у него на свадьбе, на которую я приглашаю моих читательниц и читателей.

Дополнение
О трудах А. А. Мазона по изучению Гончарова

Очерки А. А. Мазона были обработаны им в книгу — «Un maitre du roman russe Ivan Gontcharov» (1812—1891) par André Mazon, docteur ès lettres, secrétaire-bibliothécaire de l'école spéciale des langues orientales vivantes. Avec portrait et fac-simile. Paris (VI-e), Librairie ancienne Honoré Champion, Edouard Champion, 1914. In 8 °, XI+473 pp.

Включая собою в постепенно развертывающуюся круговую цепь европейского умственного движения новое звено, вводя одно из явлений нашей культурной истории в сферу сочувственного европейского изучения, книга французского ученого о Гончарове обладает в то же время всеми данными для того, чтобы привлечь к ней пристальное внимание и русского читателя. В числе этих данных на первом месте — глубокое и, притом, любовное изучение того прямого, литературного, и косвенно, общекультурного материала, среди которого поставленная автором задача получила свое логически стройное и многостороннее развитие.

Трудно сказать положительно, насколько А. А. Мазон стремился соединить требования диссертации, представляемой на соискание ученой степени во Франции, с интересами русской научной литературы о Гончарове, но его книга особенно интересна именно для нас, русских: в ней творчество русского писателя рассмотрено с точки зрения наибольшего — для европейского наблюдателя — своеобразия, наибольшей типичности в индивидуальных отражениях национального духа. Сознательно проявленное стремление автора подчеркнуть это своеобразие и типичность определило собою многие особенности рассматриваемого труда — в разработке темы, в выборе отдельных черт, во многих пояснениях, рассчитанных на европейское общество. — Но то же стремление выгодно отразилось и на интересах русского читателя, которому автор

представил многие стороны творчества Гончарова, как культурного явления, в весьма любопытном и поучительном освещении.

Как можно судить по подготовительным работам нашего ученого, появившимся в печати задолго до настоящего труда, А. А. Мазон собирал и изучал биографический и литературный материал о Гончарове в течение нескольких лет. Положив в основу тщательное изучение Гончаровского текста, автор не ограничился внимательным ознакомлением с печатной литературой, но занялся разыскиванием новых, еще не бывших известными, материалов и собиранием письменных и устных сообщений и сведений, относящихся к жизни и творчеству Гончарова. Усилия автора в этом направлении увенчались значительным успехом, и он получил возможность освежить и существенно дополнить в общем небогатую Гончаровскую литературу новыми данными, осветившими многие, дотоле темные, стороны жизни и деятельности знаменитого романиста. Эти дополнения коснулись прежде всего самой неразработанной стороны Гончаровской биографии — его детства и условий раннего формирования характера, его первых литературных опытов в семейном кругу художника Н. А. Майкова. Значительно выиграла, после изыскании А. А. Мазона, полнота наших сведений о служебной деятельности Гончарова, осветились до известной степени и последние годы жизни писателя. Тщательным подбором материала, относящегося к родовой и семейной хронике Гончарова, брошен яркий луч света на все дальнейшее развитие характера Ивана Александровича.

Получив доступ в семейный архив Майковых, А. А. Мазон извлек оттуда первый беллетристический набросок Гончарова «Счастливая ошибка» с именем «Егора Адуева». Любопытную страничку в характеристику Гончарова внесли, затем опубликованные А. А. Мазоном, материалы, касающиеся со-

трудничества Гончарова в газетах. Но наиболее ценными во всех отношениях документами, которыми воспользовался автор, были, несомненно, документы, отражавшие деятельность Гончарова, как цензора: в них нашли себе выражение не одни лишь внешние факты известного периода его служебной карьеры, но — что бесконечно важнее — его внутреннее отношение к современным ему литературным течениям, к литературе в ее делом, к ее художественному достоинству и идейным тенденциям. Наряду с этим и внешняя биография Гончарова много выиграла от разысканий А. А. Мазона: в его труде впервые установлен ряд точных дат и показаний, которые навсегда послужат бесспорными вехами при биографическом повествовании.

Метод исследования А. А. Мазона находится в тесной зависимости от основной точки зрения автора на свой предмет. Эта точка зрения в существе своем не нова: она утвердилась в русской литературе в последние годы, когда сочинения Гончарова подверглись изучению в качестве автобиографического материала. «Настоящая книга имеет своею целью представить биографию Гончарова в той ясности и законченности, в какой это возможно сделать в наше время, — говорит А. А. Мазон в предисловии. — Нескольких страниц было бы несомненно достаточно, — продолжает он, — для того, чтобы исчерпать содержание этой биографии, которая, на первый взгляд, может показаться незначительной. В ней почерпнуло свое содержание и все его творчество, так как он избрал лишь самого себя, только свою личную жизнь и жизнь своих близких, пропуская как ту, так и другую сквозь призму своего воображения, но всегда в соответствии с жизненной правдой, — последнее обстоятельство ставить Гончарова на одну ступень с величайшими реалистами.

«Жизнь и творчество Гончарова переплетаются самым тесным образом — читаем мы далее, — поэтому в настоящей

книге они идут рука об руку, если не сливаются. Творчество дает возможность угадать то, чего не обнаружила долгая жизнь русского бюрократа, рутина и однообразие которой едва всколыхнулись кругосветным путешествием. В исполнительном и холодном чиновнике творчество обнаружило истинную сущность человека, характерные черты его темперамента, его способ чувствовать и мыслить, его предрассудки и идеалы, все то, чем он был и чем хотел быть; оно в то же время рисует образовавшую его среду, отпечаток которой он навсегда сохранил на себе, и пред нами раскрывается широкая, но в то же время до мельчайших подробностей вырисованная картина, дополняющая скудные данные фактической биографии писателя. Таким образом должна осуществиться вторая, поставленная нами себе задана, поскольку нам удалось ее выполнить, а именно — обнаружить личность писателя в его творчестве и в то же время осветить сущность и развитие этого творчества».

Как видит читатель, в постановке своей темы А. А. Мазон вплотную подошел к тому положению, какое занимает вопрос об изучении творчества Гончарова в русской литературе, где уже давно субъективность этого писателя поставлена вне сомнения, и его сочинения начали изучаться, как автобиографический материал. Но А. А. Мазон осторожнее, чем это делал когда-то автор настоящих строк, пользуется для своих суждений понятиями «объективного» и «субъективного». Как основной взгляд, мнение нашего ученого можно было бы формулировать таким образом: Гончаров в высшей степени субъективен в стремлении раскрыть в своем творчестве внутреннее я, но в технике его работы преобладает своеобразная способность объективировать личные переживания. С этим взглядом мы совершенно согласны. Если это так, то вопрос о том, нова или не нова такая точка зрения, представляет интерес второстепенный.

В данном случае гораздо важнее степени новизны общего взгляда А. А. Мазона на Гончарова новизна его частных разысканий; важно то обстоятельство, что субъективный или, как он называется в книге, «личный» элемент Гончаровского творчества автор обосновал объективными фактическими данными, с помощью которых ему удалось художественную автобиографию Гончарова превратить в законченную научную биографию. Необходимо при этом заметить, что на первом плане у автора — фактическая достоверность, безусловная точность дат, имен, свидетельств; каждое положение опирается на определенный источник, неизменно указываемый автором с исчерпывающей полнотой. Цитаты из Гончарова вплетаются в точное и меткое изложение А. А. Мазона, как художественная иллюстрация, как яркие краски, дающие движение и жизнь чертам удачно схваченного портрета. Вполне понятно, что автор широко пользуется при этом сочинениями Гончарова: ему приходится и почерпать из них данные для характеристики Гончарова и подтверждать словами самого писателя высказанные о нем суждения третьих лиц. В мозаике своего изложения, тщательно и красиво подобранной из цитат и фактических сопоставлений, А. А. Мазон менее всего выдвинул себя, свое право личного предположения и догадки. В этом отношении автор удержал себя от всяческих соблазнов творческого заражения, и его синтетический труд явился по истине объективнейшей книгой о субъективнейшем творчестве Гончарова[71].

[71] Извлечено из рецензии Евг. Ляцкого, помещенной в «Известиях Отделения русского языка и словесности Имп. Академий Наук, т. XIX (1914), вып. 4.

Евгений Александрович Ляцкий

Гончаров

Жизнь, личность, творчество

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru